

Лора Сегал

У ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ

проза еврейской жизни

У чужих людей
Лора Сегал

Аннотация
Лора Сегал. У чужих людей
Часть первая
Глава первая. Вена: либеральное воспитание
Глава вторая. Детский пароход
Глава третья. Ливерпуль: у миссис Левин
Глава четвертая. Иллфорд: супружеская пара
Глава пятая. Меллбридж: Алберт
Глава шестая. Оллчестер: чужак
Глава седьмая. Оллчестер:. мисс Даглас и миссис Диллон
Глава восьмая. Лондон:. Одежда, книги и никаких мужчин
Часть вторая
Глава девятая. Сосуа: Пауль и Илзе
Глава десятая. Сантьяго-де-лос-Кабальерос:. Бабуля и дедуля
Глава одиннадцатая. Сьюдад-Трухильо:. дон Индалесио Нуньес Агирре и я
Глава двенадцатая Нью-Йорк:. мой собственный дом
Коротко об авторе

Аннотация

Книга американской писательницы Лоры Сегал (1928) «У чужих людей» основана на личном опыте: в 1938 году девочку из благополучной еврейской семьи отправили на детском транспорте — «поезде спасения» — из Австрии, где стали хозяйничать нацисты, в Англию, откуда она попала в Доминиканскую Республику, затем в США.

История ее жизни у различных благодетелей, в другой среде, другой стране рассказана практически с документальной точностью, что делает это свидетельство уникальным.

Лора Сегал
У чужих людей

Посвящается моей матери Франци Картер Байю, герой моей книги («Ее первый американец»), однажды рассказал мне эпизод из своего детства, и я заметила:
— Я поняла, где заканчивается автобиография и начинается вымысел.
— В таком случае ты поняла больше, чем я, — сказал он.

Часть первая

Глава первая
Вена: либеральное воспитание

— Ты читал, Иго? — спросил как-то за ужином дядя Пауль моего отца осенью 1937 года. — Еще одна такая речь, и Австрия у Гитлера в кармане. Я наших университетских знаю: девяносто процентов из них — нацисты.

— Опять социалистическая пропаганда, — отозвался отец. — Это же всего-навсего горсточка безумцев.

Пауль, брат матери, студент-медик, жил у нас; в свои двадцать шесть лет он придерживался весьма радикальных взглядов и охотно их высказывал, рассчитывая задеть моего отца, бухгалтера сорока двух лет, и услышать от него очередную банальность.

— Чудной мы народ — евреи, — продолжал Пауль. — Сосед прямо говорит, что пойдет на нас с ружьем. а мы сидим, смотрим, как он это ружье чистит, заряжает, целит нам в голову, и твердим свое: «На самом деле он не в нас метит».

— Что же нам, по-твоему, делать? Срочно лезть в погреб всякий раз, когда в Германии какой-ни-

будь буйнопомешанный толкнет речугу?

— Собирать манатки и драпать отсюда, вот что, — отрезал Пауль.

— Ну, ясно — бежать в джунгли и лопать там кокосы, — отец повернулся к матери: — Если послушать твоего братца, Франци, то, едва в Германии какой-нибудь психопат вылезет на трибуну, нам нужно сломя голову бежать в джунгли и лопать кокосы.

— Будет война, да? — тихонько спросила я у мамы, чувствуя, что к горлу подкатила тошнота. Я уже наслышалась про Первую мировую войну. Мне часто снился один и тот же страшный сон: мы с мамой сидим в подвале и теннисными ракетками отбиваем пули, упорно летящие в длинное узкое окно.

— Нет-нет-нет, — ответила мама. — Ничего такого не будет.

Я пыталась вообразить какое-нибудь бедствие, но представить ничего не могла.

Мама уже звонила в колокольчик — значит, сейчас наша горничная Польди подаст кофе. Значит, ничего страшного не должно, не может случиться, во всяком случае, настолько страшного, что нам придется спешно укладывать вещи и бежать, решила я. И перестала слушать разгово-

ры взрослых.

Восьмого марта следующего года был мой день рожденья, мне исполнилось десять лет. А двенадцатого марта Гитлер присоединил Австрию к Германии, и мама обозвала тетю Труди коровой.

Тетя Труди, двоюродная сестра отца, и ее муж Ганс пришли к нам ужинать. Войдя в столовую, они тут же сообщили, что канцлер Шушниг[1] подал в отставку, передав власть Гитлеру. Пауль немедленно позвонил приятелю, редактору социалистической газеты; тот сказал: «Еще нет». Взрослые решили не выключать радио, ужинали молча. Внезапно музыка оборвалась, канцлер Шушниг произнес небольшую речь, завершив ее так: «А теперь хочу попрощаться с моими верными товарищами и соотечественниками, желаю всем сносного будущего». И в последний раз прозвучал гимн Австрии: «*Sie gesegnet ohne Ende, Osterriech, mein Faterland*»[2].

— А гимн-то исполняют медленнее обычного, — заметила тетя Труди. — Тебе не кажется,

---

[1] Примечания: 1

Курт Шушниг (1897–1977) — австрийский государственный и политический деятель, Федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 гг. (*Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Примечания: 2

Вечно будь благословенна, Австрия, родина моя (*нем.*) — слова австрийского гимна до аншлюса 1938 г.

Франци, что его играют медленнее?

— Скорее всего, поставили ту же пластинку, что и всегда, — ответила мама.

— Как ты можешь такое говорить, Франци?! А еще музыкантша! Ганси, Иго! Прислушайтесь! Гимн играют медленнее обычного, правда же? Вы согласны?

— Труди, глупая ты корова! — не выдержала моя мать. — Неужели тебе не понятно, что с нами произошло?

— А что произошло? — спросила я.

— Ганс, марш за пальто, — приказала тетя Труди. — Ты слышал, как она меня обозвала, да еще в присутствии ребенка?

Все повскакали с мест.

— Прости, Труди, я не сдержалась, — сказала мама. — Сегодня мы все не в себе.

Но тетя Труди уже хлопнула входной дверью.

Наутро родители чуть свет увели меня из дому, и мы стали в длиннющую очередь, выстроившуюся к дверям банка на углу нашей улицы; банк так и не открылся. По улице расхаживали молодые люди в незнакомой новехонькой военной форме, приветствуя друг друга вскинутой вперед правой рукой. Мартовское утро было ясное, солнечное. На ветру развевались новенькие яркие флаги, но

родители поспешили увести меня домой.

К началу мая Польди пришлось оставить место прислуги в нашей еврейской семье: мой отец получил извещение из банка, где проработал главным бухгалтером двенадцать лет, что через месяц он будет уволен. А неделю спустя сержант СС реквизировал нашу некрасивую, темную, с несообразно высокими потолками квартиру и всю обстановку, включая фортепьяно фирмы «Блютнер». Отец, вынужденный оставаться в городе до конца месяца, переселился на это время к давним добрым друзьям Кари и Герти Голд, в пустующую комнатку для прислуги. Мы с мамой уехали к моим любимым бабушке с дедушкой; более счастливого лета я не припомню.

Старики жили в деревне Фишаменд близ границы с Чехословакией, километрах в двадцати от Вены. В ту пору я была уверена, что свое название деревня получила в честь огромной бронзовой «рыбы на верхушке» средневековой башни, что высилась на центральной площади, наискосок от лавки моего деда. Теперь же я склонна думать, что деревню назвали просто по местоположению — там речка Фишер «кончается», то есть впадает в Дунай.

Дом был старый, огромный, толстостенный и

довольно нескладный. Первый этаж был отдан под мануфактурную лавку. Всю первую неделю я безвыходно провела в кладовой за лавкой: с увлечением разглядывала, теребила и перекатывала рулоны тканей. Тут же сидела бабушка — она шила на продажу фартуки и платья с узким лифом и широкой юбкой, пользовавшиеся спросом у местных крестьянок; в конце концов она не выдержала и велела мне пойти к деду.

Я ушла в лавку, влезла на прилавок и стала плясать на нем, покуда дед не достал откуда-то из-под прилавка и не поставил передо мной коробку, полную медалей на лентах и художественных открыток времен «Grossen Krieg»[3]. В изящных овалах были изображены усатые мужчины в фуражках и дамы, кокетливо оглядывающиеся поверх обнаженных розовых плеч. Меня, однако, больше привлекали ящики, битком набитые шнурками для ботинок, пуговицами, щетками для волос и скрипичными струнами. Однажды за ящиками с резиновыми сапогами я наткнулась на скрипку, но, сколько ни старалась, смычка в то лето я так и не нашла.

В конце концов дедушка велел мне идти играть

---

[3] Примечания: 3

«Великая война» (*нем.*), т. е. Первая мировая война.

во двор, а чтобы я не скучала в одиночестве, отправил со мной молоденькую продавщицу Митци, тем более что она все равно простаивала без дела. Сидя на залитой солнцем крыше флигеля, мы с Митци сосали маленькие кислые виноградины с толстенной лозы, огромной упругой змеей вившейся по трем стенам квадратного двора, и такой старой, что виноград на ней уже не вызревал. Мы болтали часами, вернее, болтала я — рассказывала Митци о своих планах на будущее. Я надеялась, что, когда вырасту, стану похожей на новую подружку. Митци уже исполнилось пятнадцать; у нее были белокурые волосы, чудесный цвет лица, какой бывает только у деревенских девушек, и красивые пухлые губки. Кроме Митци, у меня в Фишаменде друзей не было, пока Пауля не выгнали из университета.

В детские годы дядя Пауль был моим кумиром, хотя сам он не помнит себя в этой роли. По его словам, он дичился всех, кроме близких друзей, был крайне неуклюж и развит не по годам. Словом, типичный умник, из молодых да ранний, считавший своим долгом просвещать отсталых родителей и обличать царящие в мире глупость и обман. Дабы наказать учителей-антисемитов, Пауль проваливал экзамены, и в результате, когда

нацисты выгнали из венского университета всех студентов-евреев, за Паулем все еще числились задолженности за последний семестр обучения на медицинском факультете, и диплома он не получил.

Худенького, с пышной шевелюрой Пауля повергали в смущение престарелые дамы, восхищавшиеся его огромными фиалково-синими глазами. Какая жалость, твердили старушки, что такие глаза скрыты стеклами очков. Длинный нос остроумца придавал его лицу несколько унылый вид.

Именно Пауль, а не отец, был в детстве главным мужчиной моей жизни. Наш роман, начавшийся с моего рождения и основанный на взаимном восхищении, был необычайно счастливым. Вечерами, прежде чем выключить свет в моей спальне, Пауль, днем общавшийся со своими замечательными друзьями, художниками и почти поголовно революционерами, садился у моей кроватки и сообщал мне последние новости политической, научной и литературной жизни. В качестве дивертисмента он исполнял немецкие студенческие четырехстопные песенки, довольно сносно аккомпанируя себе на гитаре и время от времени изображая, будто смачно прихлебывает

пиво из глиняной кружки.

Или же мы разговаривали обо мне. Пауль одобрял мое увлечение рисованием и живописью, утверждая, что, в отличие от него, у меня есть явный талант художника. Я охотно демонстрировала ему свои хореографические импровизации, которые очень поощрялись в моей танцевальной школе; впрочем, полюбовавшись ими несколько часов и поблагодарив меня, он мог заявить, что с него, пожалуй, хватит, пора ему удалиться и заняться делом. Если я начинала перечить, он давал мне хорошего шлепка и глядел на меня с таким нескрываемым раздражением, что я покорно шла на поиски отца, чтобы изводить его своими капризами, но удовольствия, увы, получала куда меньше.

Лишь раз дядя совершил вероломство. Не один, а с компанией друзей он отправился в велосипедное турне по австрийскому Тиролю, а оттуда через Альпы в Италию; случилось это летом, за год до присоединения Австрии к гитлеровскому рейху. Меня не пригласили.

Всему этому Гитлер положил конец. Ни о каких прогулках по окрестностям не могло быть и речи. Приехав в Фишаменд в конце мая, Пауль с черного хода тихонько пробрался в дом и по

задней лестнице поднялся в восточное крыло, где жили мы с мамой. В его правом ухе зияла рана, кровь текла ручьем. Мама усадила его на стул и отправила меня за водой и бинтами; но смотри, чтобы бабушка ни о чем не догадалась, — строго-настрого приказала она. Однако, вернувшись, я увидела в комнате бабушку: она накладывала дяде на лицо повязку, как будто у него болел зуб, и досадливо приговаривала вполголоса:

— У тебя и твоих умников-дружков нет ни капли здравого смысла. Разве можно ввязываться в драки с нацистами!?

Пауль гладил руку матери и, ухмыляясь, поглядывал на меня.

Я поняла, что после этого происшествия Пауль будет жить с нами.

Теперь венские друзья стали навещать его в Фишаменде. Однажды на выходные приехала Лизель, она много лет считалась девушкой Пауля. О красивой, остроумной подруге сына даже бабушка отзывалась с похвалой. Волосы у Лизель были еще светлее, чем у Митци, а болтать с ней было куда интереснее, потому что она мне возражала, и о чем только мы не говорили. Когда они с Паулем, взяв бумагу и карандаши, садились во дворе за ломберный столик, я забиралась к ней на

колени. Они сочиняли для меня сказку. Героиню звали принцесса Вазелина, а героем был жеманный простолюдин Шампунь фон Рубинштейн. Записывая сказку, они умирали со смеху.

Когда Лизель уехала, бабушка сказала, что Пауль сам во всем виноват. Если бы он и его друзья не тратили время на игры в социализм и не шлялись по картинным галереям, он наверняка уже стал бы врачом. Мне не нравилось, когда Пауля ругали; в знак поддержки я решила сесть ему на колени, но он сказал, что бабушка, в общем-то, права; вид у него был подавленный.

Следом к нам приехал друг Пауля по имени Дольф. Бабушка считала, что он оказал на жизнь ее сына чрезвычайно пагубное влияние. Дольф был поэтом. Мне он казался человеком выдающимся. Необычайно высокий, он как бы стеснялся своего роста. У Дольфа была привычка чесать в затылке, отчего прядь черных волос на его макушке вставала торчком, и он казался еще выше. Опускаясь на стул, он складывался втрое — наподобие кровати-раскладушки. По настоянию Пауля он написал мне в альбом стихи:

Милое дитя,
С пеленок и до гроба

Преследуют нас ложь, и ненависть, и злоба.

От колыбели до последнего покоя

Терзает душу нам отчаянье людское.

Не лги и помогай.

Со временем познаешь смысл ученья:

Твори добро сама, а не по принужденью.

Свое произведение он сопроводил шутливым рисунком: дядя Пауль в ангельском обличье парит над моей кроваткой. Я сочла, что рисунок не соответствует возвышенному тону моего альбома, и разобиделась на Дольфа. Но он больше не обращал на меня внимания. Его равнодушие меня возбуждало. Я танцевала перед ним бесконечные хореографические импровизации. Даже научилась стоять на голове, умею до сих пор и очень горжусь этим достижением, хотя плодов оно мне ни тогда, ни потом не принесло. Позже Пауль с Дольфом пошли прогуляться по берегу Дуная и взяли меня с собой. Я шагала между ними, а они, держа меня за руки, спорили над моей головой о картинах и книгах; я же, поскольку разумения не хватало, следила за поединком лишь глазами, точно зритель на теннисном соревновании.

Наутро, сидя на крыше флигеля, я раскрыла

Митци свой новый жизненный план — стать студенткой университета. Буду гулять с умными молодыми людьми по набережным и разговаривать о живописи и поэзии, а летом ездить в длинные велосипедные турне. Митци никогда мне не возражала.

Дольф собрался вернуться в Вену, и мы с Паулем пошли провожать его на нашу маленькую железнодорожную станцию. Пауль подарил ему на прощанье книгу, Дольф тоже вручил другу книгу. Когда они развернули подарки, у каждого в руках оказались «Цветочки Св. Франциска Ассизского»[4].

На следующий день, поздно вечером — все магазины уже закрылись, — приехал мой отец. Мы собрались наверху, в угловой комнате. Помню, Пауль сидел в кресле с книгой, а бабушка раскладывала пасьянс. Они любовались новым, придуманным мною танцем, посмеиваясь над глупой песенкой, которую наигрывала моя мама. Я кружилась перед ними и вдруг увидела в дверях отца; он был такой высокий, что ему

---

[4] Примечания: 4

«Цветочки Франциска Ассизского» — собрание чудес и благочестивых примеров из жизни католического святого Франциска Ассизского (1182–1226); считается ценным памятником итальянской литературы XIV в.

пришлось пригнуть голову, чтобы не удариться о притолоку. Все, конец веселью, мелькнуло у меня в голове, и я ужаснулась самой себе. Как обычно, при виде мамы за фортепьяно он изобразил умиление и, воздев глаза к потолку, пропел:

— Ля-ля, ля-ля, ля-ляааа. Очень красиво.

— Иго! — мама опустила крышку фортепьяно и встала. — Я и не заметила, что ты вошел. Садись. Что слышно в Вене?

Тетя Труди и дядя Ганс уезжают в Англию, сообщил отец. У них есть деньги за границей. К иностранным консульствам выстроились очереди, а после антиеврейских статей в «Дер Штюрмер»[5] поднялась настоящая паника.

Но тут мама увела меня спать.

На следующий день мы обедали в кладовой — чтобы дедушке было видно, кто входит в лавку, — и отец велел мне убрать локти со стола. (Насколько я помню, отец внес свой вклад в мое воспитание: он с малолетства приучал меня сидеть за столом прямо, не опираясь на локоть; есть колбасу непременно с кусочком хлеба; и обязательно мыть руки после игр с животными.)

Затем он повернулся к дедушке и сказал, что

---

[5] Примечания: 5

«Штурмовик» (*нем.*) — нацистский еженедельник, выходивший в Германии по 1945 г.

при увольнении получил в качестве компенсации немалые деньги, которые готов вложить в дело и стать партнером тестя.

— Ya so[6], — сказал дед, почесывая усики а-ля Гитлер; во внешности этого невзрачного человечка запоминались лишь усики. — Тогда мы сможем наконец выплатить долги и поставить магазин на ноги.

Бабушка опустила вилку на стол и, широко распахнув прекрасные черные глаза, молча переводила их с зятя на мужа и обратно.

— Хочешь поставить лавку на ноги, да, Йосци? И пускай она топает из твоих рук прямиком в карманы нацистов! — с сильным венгерским акцентом сказала она. Они с дедом переехали в Вену еще детьми. Дед вполне овладел немецким, но жена так ловко передразнила его былой акцент и ошибки, что он улыбнулся. Пауль и мама рассмеялись. Отец с напускной веселостью приподнял уголки губ и сказал:

— Ха-ха, ха-ха, ха-хаааа. Очень смешно.

Мама перестала смеяться.

— Иго, прошу тебя.

— Похоже, вы сегодня носа не высовывали на

---

[6] Примечания: 6
Вот как (*нем.*).

улицу, — сказала бабушка.

Ночью на дороге у входа в лавку огромными, в человеческий рост, белыми буквами по щебню было намалевано: KAUFT NICHT BEIM JUDEN (Не покупай у евреев).

— Это проделки местных мальчишек, — сказал отец.

— Франци, твой муж почти так же глуп, как мой, — заявила бабушка.

— Mutti[7], прошу тебя! — взмолилась дочь.

— Франци, твоя мать разбирается во всем на свете почти так же толково, как твой брат Пауль, — парировал мой отец.

Мама заплакала. Она ударялась в слезы всякий раз, когда бабушка и мой отец грубили друг другу, а это, сколько я помню, происходило при каждой их встрече.

У отца был и другой способ огорчать маму: в самый неподходящий момент он вдруг заболевал. Я подозревала, что он всегда приурочивает свое недомогание к какому-нибудь событию, которого мы с мамой ждали с нетерпением, вроде дня рождения или поездки на Рождество в Фишаменд. Я приходила домой после школы, и мама открыва-

---

[7] Примечания: 7
Мамочка (*нем.*).

ла мне дверь со словами:

— Лора, солнышко, теперь ты можешь на деле доказать, что ты мне — первый друг: папу увезли в больницу.

В стылые синие сумерки мы уходили из дому и через всю Вену ехали на трамвае навещать отца. Он лежал пластом на белой больничной койке, даже без подушки под головой, уставив бледный заострившийся нос в беленый потолок.

— И когда же он вернется домой? — спрашивала я. Глаза на бескровном, осунувшемся лице матери казались особенно огромными, а темно-розовые губы разом зашершавели, будто в лихорадке.

— Не знаю, солнышко.

— Это опять из-за почки?

— Пока непонятно, отчего. Врачи проверяют, нет ли язвы. Прошу тебя, солнышко, будь добра, не задавай мне вопросов в ближайшие двадцать минут. Вот мигрень немножко отпустит, и тогда все обсудим, хорошо?

— Хорошо. А который сейчас час?

— С Лорой можно говорить как со взрослым человеком, — сказала мама моей бабушке.

Иногда мама беседовала со мной об отце. Мне это льстило, но слушать ее не хотелось, поэтому я не помню, что она мне рассказывала.

Отец всякий раз выздоравливал и возвращался домой. Странно было вновь видеть, как он стоит — такой прямой, в деловом темно-синем костюме. Мама готовила ему особую диетическую еду, давала питьевую соду, а по воскресеньям мы с ним ходили после завтрака на прогулку.

— Смотри, не корми ее мороженым, впереди обед, — наказывала мужу мама.

Но отец непременно покупал мне мороженое и по дороге домой говорил, что мы обратим свое прегрешение в шутку и посмеемся вместе с мамой. Шутка была немудрящая — мы звоним в колокольчик, дверь открывает мама и видит нас: прижав по-беличьи руки-лапки к груди, мы стоим и в притворном ужасе дрожим всем телом. Значит, мы снова ослушались, и я съела-таки порцию мороженого.

В то воскресенье после приезда отца в Фишаменд я заявила, что предпочла бы остаться дома — почитаю книжку или порисую, но мама сказала, что свежий воздух пойдет мне на пользу, а отец пообещал рассказать интересную историю.

У отцовских историй был один недостаток: все они представляли собой бесконечный перепев сказки Киплинга про борьбу мангуста Рикки-Тикки-Тави с коброй. Отцовский голос нудно гудел

над моей головой. Я шагала рядом, сочиняя в уме слегка эротичные истории. Воздух был той же температуры, что мои голые руки и ноги, и они как бы сливались воедино с окружающим миром. Помню заливные луга по берегам Дуная, которые каждой весной густо зарастают розоватыми маргаритками и желтыми лютиками, и ты невольно топчешь этот роскошный ковер. Комары в тот год были особенно крупными и свирепыми. Местные ребятишки пускали по воде плоские камешки; отец уселся на кромке высокого берега и предложил мне поиграть с ними.

И сегодня я спиной помню, как отцовская ладонь ложилась на спину справа от позвоночника, подталкивая меня идти играть с детьми. Дело в том, что я всегда горела желанием играть с ребятами, но не знала, как к ним подойти. В тот раз я двинулась было вперед — и застыла, потирая висок левой ладонью и наблюдая за их веселой забавой. Самый крупный парнишка, с мужчину ростом, обернулся и швырнул в мою сторону камешек. Приняв это за игру, я обрадовалась; остальные ребята двинулись по склону ко мне. Только тут я заметила, что они набрали в рот речной воды; я повернулась и бросилась бежать, но они все-таки опрыскали мне спину и завопи-

ли: «Еврейка!» Бредя рядом с отцом домой, я всю дорогу ревела в голос — то ли от потрясения и страха, то ли оттого, что мокрое платье непристойно облепило меня.

— У них верховодит Карл, младший брат Вилли Вебера, — сказала бабушка. — Он вожак здешнего отряда гитлерюгенда.

— Ублюдок! — в сердцах выпалил Пауль. — А я еще помогал ему связывать абзацы в сочинении! Бертольд, наш учитель, как-то целый год объяснял нам причинно-следственные связи, но Вилли Вебер и двух мыслей не способен связать.

— Вот-вот! — не выдержала бабушка. — Уделяй ты больше времени своей работе, вместо того чтобы строчить сочинения для всякой швали, ты уже был бы женат на Лизель и уехал бы из этой страны.

Пауль заметно приуныл. В то утро пришло письмо от Лизель; она сообщала, что выходит замуж и уезжает в Парагвай.

— Зато Вилли делал за меня черчение. Взаимопомощь. Чем плохо?

На следующий день, неожиданно увидев Вилли у входа в лавку, бабушка объявила:

— Ты должен нам двадцать пять шиллингов за зимнее пальто и галоши. Так я пришлю завтра

утром Митци за деньгами?

Войдя в магазинчик, она с гордостью рассказала об этой встрече, но дед заметил:

— Ты же знаешь, их картошку погубила черная гниль. Им нечем платить.

Наутро на фасаде нашего дома красной краской было намалевано «евреи» и разные ругательства. Кровавые потеки на камнях были еще свежи, когда дед вышел открыть ставни, и краску он смыл, но пятна остались. В тот раз дело тем и ограничилось; ни мы, ни они еще не сознавали, как далеко дело может зайти.

* * *

В конце августа мы впервые испытали ужасы войны. У нас уже вошло в привычку в шесть часов вечера задергивать в гостиной шторы и всей семьей усаживаться возле приемника, чтобы послушать английское радио. И то ли из-за непроглядно хмурой погоды, то ли из-за мрачного настроения взрослых, но мне в память накрепко врезалось неизменно затянутое желтовато-серыми облаками небо, нависшее над низкими деревенскими крышами.

Однажды в поселок вступил первый немецкий полк. К полудню площадь перед нашими

окнами почернела от танков, бронемашин и автомобилей с радиоустановкой. В нашем дворе по-хозяйски расположилась служба полкового казначея. Солдаты вынесли из кухни стул и прихватили ломберный столик, на котором Пауль с Лизель записывали историю про Вазелину.

По обе стороны столика поставили двух караульных в касках, и к столу за деньгами потянулась очередь немецких солдат в серо-зеленой форме. Я уселась в коридоре, что вел из магазина во двор, и наблюдала за происходящим. На коленях у меня лежал кот. В коридор заглянул отец и велел вымыть руки. Мама приказала идти наверх и играть там, пока солдаты меня не заметили. Я, однако, вовсе не боялась, что меня заметят, наоборот — досадовала, что меня не замечают. Схватив кота и вывернув ему уши, я стала затягивать у него на шее скакалку, пока он не взвыл дурным голосом.

Полковой казначей обернулся:

— Ну, зачем ты так? Ты же не хочешь замучить бедную киску до смерти, правда?

— Простите? — вежливо отозвалась я, хотя отлично расслышала, что он сказал. Просто хотела, чтобы он снова произнес «Kätzchen» — словцо с незнакомым резким уменьшительным суффиксом, на слух совсем иное, нежели ласко-

во-шутливое австрийское «Kätzerl». Несчастное животное тем временем задыхалось. Казначей встал со стула, подошел и, приговаривая «Armes kleines Kätzchen» (бедный котеночек), развязал удавку. После чего поинтересовался, умею ли я скакать через веревочку; я ответила утвердительно. Он приказал одному из караульных взять другой конец скакалки. Солдаты, стоявшие вдоль увитых виноградом стен, приняли позу «вольно». Я прыгала через веревочку и твердила стишок:

Auf der blauen Donau
Schwimmt ein Krokodill…[8]

Примерно в то же самое время Невилл Чемберлен[9] отправился в Мюнхен на встречу с Гитлером.

Ночью я проснулась, потому что под моим окном кто-то бубнил: «Эс-Ку вызывает Икс-Вэ, Эс-Ку вызывает Икс-Вэ, по шоссе номер сорок шесть передвинуться в восточном направлении на двадцать километров. Конец связи». И еще какую-то чушь в том же роде. Разбуженная ни

---

[8] Примечания: 8

По синим дунайским волнам плывет крокодил…

[9] Примечания: 9

Невилл Чемберлен (1869–1940) — премьер-министр Великобритании в 1937–1940 гг., сторонник политики умиротворения Гитлера.

свет ни заря, я села и испуганно уставилась в темноту. Непонятные фразы были явно полны скрытого смысла, я боролась с накатывавшим на меня забытьем, пытаясь удержать их в памяти; неожиданно заурчал мотор, и автомобиль умчался в ночь. Затем послышался скрежет: это вручную заводили тяжелые машины; один за другим взревели и двинулись прочь грузовики; и вдруг земля начала содрогаться, казалось, вот-вот рухнут стены, — по узким улочкам загромыхали многотонные железные танки на гусеничном ходу. Меня встревожило одно обстоятельство: свет фар на машинах, выезжавших с площади, скользил по потолку моей спальни не по направлению движения, а против него. И прежде чем нырнуть под одеяло и погрузиться в сон, я дала себе слово непременно запомнить все и пересказать Паулю.

* * *

Наступила осень, и с ней — новый учебный год; тут-то и возникла задача, казавшаяся совершенно неразрешимой.

После аннексии Австрии школьное начальство получило приказ изолировать еврейских детей. В Вене это распоряжение выполняли поэтапно. Уже

на следующее утро, сразу после молитвы, наша учительница объявила, что вместо урока поэзии состоится урок труда: будем вместе снимать про австрийские, антинемецкие плакаты, которые в последние несколько месяцев нас заставляли вешать и клеить на стенах класса.

— Учительница, скажите, пожалуйста, — пропищала маленькая девочка по имени Гретерль, — можно мне взять домой плакат, для которого я вырезала из бумаги листочки? Там еще написано «Красно-бело-красный флаг не отнимет даже враг».

— Нельзя, идиотка несчастная! — рявкнула учительница, обычно мягкая и добродушная. Она разорвала красивый плакат пополам и затолкала в мусорный мешок; в то утро ими снабдили все классы. Никто не сомневался, что мешок, набитый бумагой с выражениями пылких патриотических чувств, отправится прямиком в мусоросжигатель. К концу недели парты в нашем классе переставили; полдюжины еврейских детей были в приказном порядке отсажены в дальний конец классной комнаты; от собранных перед учителем арийских детей их отделяли два ряда пустых парт. Вскоре у нашей шестерки отверженных возник непростой вопрос, и

меня делегировали выяснить, как нам быть с приветствием «Хайль Гитлер!», которым теперь полагалось встречать учителя перед общей молитвой. Посовещавшись, мы с наставницей решили, что раз прежде во время молитвы «Отче наш» еврейские дети просто сидели молча, то и теперь не нужно нам ни произносить это приветствие, ни поднимать правую руку, хотя вставать в знак уважения надо обязательно. По-моему, мы обе испытали глубокое удовлетворение оттого, что во время общей неразберихи нам удалось решить такую мудреную задачку. Не прошло и недели, как всех учеников-евреев согнали в общую классную комнату. Нам было отлично известно, что ни один учитель не хотел работать со школьниками-евреями. Мы слышали, как отчаянно они спорили. Помню учительницу, которая пришла к нам в первое утро занятий по новой системе. У этой молодой, полной, незлобивой женщины глаза были красные. В знак приветствия мы встали; дети всегда пугаются при виде взрослого человека со следами слез на лице, и нас тоже охватил испуг. Она велела нам взять хрестоматии и читать про себя. Порывшись в партах, мы достали книжки. Открыли. Но не спускали с учительницы глаз. Она подошла к закрытому

окну, облокотилась на подоконник. Плечи у нее затряслись. Вскоре тихие сдержанные всхлипы сменились громкими, душераздирающими рыданиями. Тридцать школьников окаменели за партами. На следующей неделе маленьких арийцев из нашей школы увели, собрав в ней одних евреев, детей и учителей; так наша школа стала районной еврейской школой.

В Фишаменде с этой трудностью справиться было не так-то просто: школа там была одна, и ученица-еврейка тоже одна — я. В ту школу ходили еще моя мать и Пауль, когда дедушка с бабушкой переехали из Вены в деревню. Других учеников-евреев в школе не было, и, столкнувшись с открытой враждебностью, Пауль и мама вынуждены были действовать решительно: когда Вилли Вебер обозвал Пауля грязным жиденком и дал ему тумака, моя мать — а она старше Пауля на семь лет — дала тумака Вилли Веберу, и тем самым было достигнуто некоторое равновесие сил. Мама говорит, что с тех пор она отлично ладила с однокашниками, за исключением разве что игры под названием «Старый торговец птицами»; когда ее заводили в школьном дворе, маме неизменно выпадала роль купца-еврея, и она ударялась в слезы. Кому же захочется все время

быть старым евреем, если можно стать любой птицей, какой только вздумается?

Теперь же сегрегация была узаконена. Мы оказались в тупике, но нашли замечательный выход из положения. Мой дядя встретился со своими прежними одноклассниками, к тому времени возглавившими местное отделение нацистской партии, чего они несколько стеснялись, и предложил, поскольку у него за плечами университетский курс наук, взять на себя обязанности моего учителя. Математику мне может преподавать мой отец, игре на фортепьяно будет обучать мать, а Пауль займется остальным.

Подозреваю, что это решение убило во мне всякую склонность к систематическим занятиям, поскольку у меня создалось стойкое впечатление, будто ученость нисходит на человека в виде случайных счастливых озарений. История Лютера только подтвердила мою гипотезу. Я вдруг поняла, что события имеют свою последовательность, они уходят назад, в далекое от меня прошлое, и вперед, в будущее, когда меня уже давно не будет на свете. Помню, я была ошарашена этим блестящим открытием. Сейчас оно не поражает глубиной, но с озарениями такое случается нередко. Мы с Паулем рассматривали картины,

и он упорно ставил передо мной задачи, с которыми мой ум еще не мог справиться. Показывая репродукцию росписи «Сотворение Адама» Микеланджело, где Адам лежит на вершине холма, Пауль спросил, что я вижу. Адам тут не одет, ответила я. Верно, согласился Пауль, но что еще? Бог закутан в ткань, и его несут ангелы, сказала я. Да, но почему рука Бога протянута к Адаму, и как именно Адам поднимает руку? Пауль велел мне внимательнее вглядеться в картину и, если не найду ответа сегодня, посмотреть на нее завтра, только спокойно и бесстрастно. А мой ум, все мое существо кипело от злости и отчаяния. Жутко убеждаться, что ты ровно ничего не замечаешь там, где другому очевидно многое, но еще более жутко становится тогда, когда тебе наконец открылся смысл произведения, и ты пытаешься вспомнить, как можно было не видеть очевидного. Много позже я наткнулась на ту картину и увидела, что Адам, еще отягощенный прахом земным, из которого был создан, с усилием отрывает от тверди могучие плечи, повинуясь призывному движению единого перста Творца, и ломала голову, не в силах вспомнить, что же я упустила той осенью в Фишаменде. Еще мы читали стихи. Один день посвятили Гейне (он был

еврей, сообщил Пауль), следующий — Христиану Моргенштерну[10] (этот евреем не был, заметил Пауль), а в заключение дядя продекламировал стишок о червяке. Вот он:

Исповедь червячка
В скорлупке
Червячок сидит —
Довольно редкий вид.
И поверяет мне,
Лишь мне,
Что́ душу ему бередит.

В тот день под нашим открытым окном сторонники Гитлера устроили митинг. Под барабанный бой и звуки оркестра отряды спортсменов в белых рубашках и нацистов в коричневых рубашках вышли из-под арки фишамендской башни и безупречно ровными рядами выстроились на площади. Развевались флаги. Вскоре из громкоговорителя раздался оглушительный голос: транслировалась речь Гитлера о его недавней

[10] Примечания: 10

Христиан Моргенштерн, наст. имя Христиан Отто Йозеф Вольфганг Моргенштерн (1871–1914) — немецкий поэт, писатель, переводчик.

поездке в Рим на встречу с Дуче[11]. Когда Гитлер начал поносить евреев, мать плотно задвинула шторы, хотя близился полдень, было жарко и душно. Углядев на площади свою подружку Митци, я закричала:

— Мама, смотри, вон Митци! Она несет флаг!

Слегка раздвинув шторы, я высунулась из окна, чтобы помахать Митци, но Пауль дернул меня за руку с такой силой, что я взвыла от боли, и на минуту наши с Гитлером вопли слились в контрапунктном дуэте над площадью, заполненной внимающими людьми, однако меня тут же увели в глубь дома.

В тот же вечер пришла Митци, заявила, что у нее важное сообщение для дедушки; под этим предлогом она прямиком пошла наверх и застала всю семью в гостиной возле радиоприемника. Не прошло и часа, как в дверь постучал Вилли Вебер.

— Привет, Вилли, — сказал дядя Пауль.

— Привет, Пауль, — отозвался Вилли.

— Ну, Вилли, чего тебе от нас надо?

— Пришел взять у вас приемник, — объяснил

---

[11] Примечания: 11

Дуче — Бенито Амилькаре Андреа Муссолини (1883–1945) — итальянский политический деятель, лидер («дуче») итальянской фашистской партии.

Вилли, — пригодится в штабе партии.

— Валяй, Вилли, бери, путь открыт, — сказал Пауль. — Ты же все равно его захапаешь.

Внизу собрались несколько мужчин: они требовали, чтобы к ним вышел дед. К двери лавки уже подогнали задним ходом большой грузовик, и, когда полки были опустошены, дед подписал бумагу, на которой уже значилось, что он счастлив внести свой вклад в Фонд зимней помощи, организованный приходской церковью Фишаменда.

— Подумаешь, новость! — фыркнула бабушка, узнав о конфискации. — Ты и так двадцать лет поддерживал сельчан, всё подряд отпускал в кредит!

— Тссс! — зашипел отец; он стоял лицом к окнам, выходившим на южную сторону, и заметил, что над подоконником появились чьи-то макушки. Мы оглянулись. Над западными подоконниками тоже замаячили головы. Под окнами третьего этажа имелся небольшой навес из гофрированного железа. К навесу были приставлены лестницы, по ним залезли, расселись там деревенские парни и девушки в новеньких военных формах и просидели так всю ночь. Время от времени кто-нибудь из парней перемахивал через подоконник и входил в нашу комнату. Некото-

рые книги им не понравились, зато кое-какие пожитки еще как понравились, и парни хватали все, что можно было унести.

Назавтра магазинчик не открылся. Семья собралась за обеденным столом. Помнится, я сидела под столом, играла шнурками родных и слушала их разговоры. Было очевидно, что из Фишаменда нужно уезжать, но ехать нам было некуда. Вокруг нашего дома толпились деревенские жители, швыряли камни в окна верхних этажей, и вскоре все стекла были разбиты. Когда спустились сумерки, к нам пришли эсэсовцы и повели наших мужчин в полицейский участок — он был рядом. Мама с бабушкой отодвинули к глухой стене мою кровать, забаррикадировали ее матрацем, и я заснула, а они, высунувшись из окна, принялись ждать. Мне казалось, что ночь напролет, даже во время сна, я слышала, как они тихонько переговариваются в темноте.

В какой-то момент я проснулась и поняла, что мужчины вернулись домой. Откуда я взяла, что отца били по лицу, сшибли с носа очки, и они разбились, — не знаю. Однако эта яркая — и неизвестно на чем основанная — картина зверской жестокости до сих пор живет в моей памяти, словно я видела ее своими глазами.

В доме повсюду горел свет, доносились разнообразные звуки: топот шагов, шум выдвигаемых и задвигаемых ящиков, хлопанье дверей. В прохладной предрассветной мгле мама стала меня, полусонную, одевать.

Надо успеть на самый ранний венский поезд, сказала она, какое-то время ты побудешь у двоюродного брата Эрвина, пока мы не подыщем квартиру, а тогда съедемся и снова будем вместе.

Мы ушли со двора через заднюю калитку. Я трогала рукой каменную ограду и думала: я тебя вижу в последний раз! Но, покопавшись в душе, с разочарованием поняла, что не испытываю никаких особых чувств, кроме некоторого возбуждения, оттого что мне предстоит жить в доме Эрвина.

(Так сложилось, что мы видели Фишаменд в последний раз. Двадцать лет спустя Пауль получил в Нью-Йорке открытку от одного венского адвоката. От имени госпожи Митци К., бывшей Митци… он сообщал, что госпожа К. желает купить дом в Фишаменде, право владения которым после войны вновь принадлежит нашей семье. Госпожа К. хотела бы снова открыть в этом доме магазин. Однако сделка может состояться, только если г-н Пауль даст согласие на вычет

задолженности по налогам на собственность, копившейся с сентября 1938 г., а также стоимости необходимых ремонтных работ (в связи со сносом восточного крыла дома, разрушенного во время бомбардировки союзными войсками), равно как на вычет гонорара, причитающегося адвокату. По получении его согласия на эти вычеты остаток в сумме 4690,77 австрийских шиллингов будет перечислен ему в Соединенные Штаты. Никогда прежде я не видела Пауля в таком бешенстве. Вне себя от гнева, он, желая покончить с прошлым, все же решил принять предложение. Год спустя он получил сумму, равную примерно восьмистам долларов, которую он поделил поровну с моей матерью. Так Митци стала хозяйкой дома и магазина.)

К ночи нас всех разобрали друзья и родственники. В те дни еврейские дома и квартиры стали практически безразмерными, и люди, внезапно оставшиеся без крыши над головой, обязательно находили приют. Пауль поселился у Дольфа, который жил с матерью и сестрой Сузе; дедушка с бабушкой устроились у Иболии, старшей сестры бабушки. У Голдов в комнатке для прислуги, где раньше какое-то время ютился мой отец, теперь предстояло разместиться моим родителям, но

первым делом они повезли меня к Эрвину.

Отец Эрвина уговорил их зайти передохнуть, а мы с Эрвином, совсем еще дети, устроили в холле танцы — настоящий бал, считали мы, но тетя Густи, чей магазин корсетов и граций был утром реквизирован, нервничала и то и дело хваталась за голову. Ее муж велел нам угомониться, и Эрвин замер, не спуская глаз с отца. Никакого заключительного антраша. Я была поражена — получив такой приказ, я бы непременно завершила пляску каким-нибудь коленцем. «Неужели дядя Ойген в самом деле приходится моему отцу двоюродным братом?» — думала я. Очень уж они разные. Спортивного сложения, стройный, элегантный, дядя Ойген обладал изобретательным умом. Он поинтересовался у моего отца, что тот предпринял, чтобы уехать из Австрии. Отец сказал, что утром пойдет в американское консульство и внесет нас в список желающих эмигрировать, на что дядя Ойген заметил, что для австрийцев квота выбрана аж до 1950 года. Кроме того, в Англии живут Ганс и Труди, продолжал отец, а Карл и Герти Голд рассчитывают уехать в Панаму; если план удастся, они попытаются раздобыть там визы и для нас. Дядя Ойген обронил, что у него в Париже есть деловые партнеры; во Франции, на

его взгляд, кое-что наклевывается.

Я не раз слыхала, что голодный не может говорить ни о чем, кроме еды. В 1938 году венские евреи непрерывно толковали об одном: как выбраться из Австрии. Нам с Эрвином это страшно наскучило. Мы норовили улизнуть в его комнату и там играли в мужа с женой. (Я скажу — «Пойдем в дом», наставляла я кузена, а ты должен ответить: «Не хочу» — тогда я заплачу, а ты скажешь…).

Назавтра я пошла с Эрвином в еврейскую школу. Каждое утро мужчины исправно отправлялись из дома, но не по делам, как прежде, а на обход расположенных в Вене консульств.

Однажды в школе отменили занятия, и я пошла с папой прогуляться. Он встретил знакомого, они разговорились. Тот сказал, что по слухам дело сдвинулось с мертвой точки в швейцарском консульстве, и он идет туда, чтобы внести свое имя в список. Тем временем я приметила на угловом доме плоскую коробку, крытую мелкоячеистой сеткой; такие коробки стали появляться на разных зданиях — в них вывешивались страницы из «Дер Штюрмер». Накануне я слышала разговор тети Густи с дядей Ойгеном. Она сказала, что в очередном номере вышла статья с разоблачи-

тельными подробностями из частной жизни известных венских евреев и что жена бакалейщика сказала ей: «Представьте, фрау Лёви, я и не подозревала, что все эти знаменитости — евреи!» Взрослые хохотали так громко и долго, что я решила: это наверняка одна из тех шуток, до которых у меня еще нос не дорос.

Я подобралась поближе и сквозь сетку увидела рисунок: старик с безобразно вывернутыми губами; рядом, на другом рисунке, заплывшая жиром тетка неприлично широко расставила толстые ноги. Пока я размышляла, что все это значит, отец оттащил меня от непонятных рисунков. Застигнутая за явно недостойным занятием, я смущенно пискнула:

— Куда мы идем?

— В консульство Швейцарии, — ответил он. — Внесем свои фамилии в список.

Когда мы дошли до консульства, очередь уже змеилась по улице. Женщина впереди нас сказала, что у нее есть *шанс* уехать в Гонконг уже послезавтра, но, если появится малейшая возможность эмигрировать в Швейцарию, она, пожалуй, готова подождать еще неделю; в ответ шесть человек, не сговариваясь, хором воскликнули:

— Чего вы дожидаетесь?!

Дальше посыпались рассказы про знакомых, решивших помедлить еще денек, и про то, что с ними случилось.

В часы, свободные от тягостного ожидания в приемных посольств и консульств, все бегали по разным открывшимся повсюду курсам. Евреи с университетскими дипломами поспешно овладевали ремеслами, чтобы прокормить себя и родных в странах, языка которых они не знают. Мой отец, разработавший для своего банка систему бухгалтерского учета, стал учиться машинному вязанию и кожевенному делу. Из года в год мы потом натыкались в чемоданах на убогие кошельки и бумажники. Мама научилась готовить на большое количество людей. Кроме того, они с Паулем кончили курсы массажа и, навещая меня в доме Эрвина, упражнялись на мне.

* * *

Десятого ноября еврей Гриншпан[12] убил в Париже какого-то мелкого деятеля нацистской

---

[12] Примечания: 12

9 ноября 1938 г. Гершель Гриншпан, польский еврей немецкого происхождения, убил в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата, после чего в ночь на 10 ноября (получившую название «Хрустальной ночи») немецкие штурмовики организовали массовые погромы евреев в Германии и части Австрии.

партии, приехавшего с дипломатической миссией. Днем новость долетела до Вены, занятия в школе отменили, а нам велели идти домой задворками. Родители Эрвина не отходили от радиоприемника. К вечеру в дверь позвонили; на пороге стояли пожилой сосед из квартиры напротив, его жена и гигантских размеров сервант красного дерева, который им велели перетащить в нашу квартиру. Опершись на лестничные перила, за происходящим наблюдали двое нацистов в форме. Они приказали пошевеливаться, сервант — это только начало. В ту ночь они вынудили пять еврейских семей, живших в том же многоквартирном доме, переехать со своими пожитками в нашу семикомнатную квартиру на пятом этаже. Вскоре ее стало не узнать: обычные предметы обстановки громоздились в весьма непривычных положениях. Поверх гардеробов торчали ножки сложенных туда стульев. Стол покоился на кровати, а между его ножек высились стопки книг и фарфора, настольные лампы. Жена пожилого соседа сидела на стуле и, тоненько подвывая, плакала горючими слезами. Нацисты решили поразвлечься. Обнаружив сетевой выключатель, они принялись вырубать во всем доме свет, один раз на целых полчаса, а потом на

короткие промежутки времени — то включат, то выключат. В это время пришел брат тети Густи в надежде отсидеться у нее, потому что в его собственной квартире уже хозяйничали нацисты, но у входа его задержали и увели. Тетя Густи стояла на пороге и плакала. Всю ночь было слышно, как бухает перетаскиваемая по лестнице тяжеленная барочная мебель, как скрипит под ней в холле кафельный пол. Я села и заревела в голос от тоски по маме.

К концу следующей недели квартира Эрвина, в которой теперь теснилось пять семейств, начала походить на трущобу. Постель дяди Ойгена стояла неубранной, при каждом звонке в дверь он нырял под одеяло. Нам с Эрвином было велено на любые расспросы отвечать, что у дяди Ойгена *инфлюэнца* и высокая температура, хотя он на наших глазах целыми днями бродил по квартире в шелковой пижаме, а вечером они с Эрвином играли в шахматы. Дядя утверждал, что Эрвин выйдет в чемпионы.

В один прекрасный день родители Эрвина принялись укладывать вещи. Они уезжали во Францию. Пришла мама и стала собирать меня. Мы с Эрвином дали друг другу слово больше ни с кем никогда не играть в мужа и жену. Эрвин

пообещал, что построит аэроплан и прилетит меня навестить.

(В 1946 году, когда я жила в Лондоне, а Эрвин в Париже, мы какое-то время переписывались, но потом он с матерью уехал в Бразилию, и связь оборвалась. Год назад я встретилась с тетей Густи: она приехала в Нью-Йорк повидаться с сестрой. Она поведала мне странную историю. Благодаря деловым связям Ойгена его семья жила в Париже прекрасно, отнюдь не так, как беженцы, рассказывала тетя. Но потом французы интернировали всех мужчин, владевших немецким. Тетя выхлопотала себе и Эрвину разрешение навестить дядю Ойгена в лагере. Без пиджака, в одной рубашке, он сидел за длиннющим столом вместе с сотнями других узников. Небритый, сильно исхудавший, выглядел он, тем не менее, здоровым. Эрвин все время держал мать за руки. Ладошки у него были ледяные, вспоминала тетя Густи, и он потом ни разу даже словом не обмолвился о посещении лагеря. Для них обоих эта тема стала запретной, и, когда французские власти передали успешно наступавшим нацистским войскам лагеря интернированных, всех евреев отправили в Аушвиц. Тетя Густи так и не поняла, доходит ли до сына смысл происходящего. Глубоко огорченная черст-

востью Эрвина, она отдалилась от него. Уже после войны тетя Густи обнаружила в бумажнике сына вырезанную из газеты фотографию оставшегося в живых пленника концлагеря — это был сущий скелет с голым, без единой волосинки, зубастым черепом и огромными глазами. Если напрячь воображение, можно предположить, что он напоминает дядю Ойгена. Эрвин обошел с этой фотографией немало послевоенных учреждений, надеясь отыскать фамилию погибшего отца в первых путаных списках выживших.)

Когда Эрвин вместе с родителями уехал из Австрии, наша семья, помнится, обосновалась в двух комнатках где-то на задворках Вены, там нас навещали Пауль и бабушка с дедушкой.

— Теперь Пауль надумал ехать в Палестину, — сообщила бабушка. — Пауль — фермер! Вы можете себе такое представить? Да едва он ступит в комнату, как все лампы валятся на пол. Если бы ты не отлынивал от занятий, Пауль, то сейчас был бы уже дипломированным врачом. Или если занялся бы языками, как настойчиво советовал профессор Гляцер…

— Ага, отпетый нацист еще в ту пору, — прервал ее Пауль.

— Сколько раз он мне говорил: «Фрау Штайнер,

у вашего Пауля просто-таки талант к языкам»…

— Сомневаюсь, что человечеству необходим еще один лингвист, — отбивался Пауль. — А вот стареющий студент-медик определенно пригодится.

Бабушка запрокинула голову и расхохоталась.

— А вдруг из меня выйдет прекрасный фермер… — Пауль притянул меня к своему стулу. — Утром я зашел в Jüdische Kultus Gemeinde (Совет еврейской общины) — записаться на курс по основам ведения сельского хозяйства на одной из учебных ферм. Между прочим, вы слышали, что ночью в синагогу подбросили зажигательную бомбу? Когда я пришел туда, синагога еще дымилась. Меня и еще одиннадцать человек попросили остаться и за небольшую плату убрать обгоревшие обломки.

— Поздравляю! — сказала бабушка. — В свои двадцать семь Пауль впервые заработал деньги, и как? Разборкой мусора! Сколько же ты получил?

Помедлив, Пауль буркнул:

— Три шиллинга.

— Сколько-сколько?! И их, небось, потерял?

— Там был один парнишка… — запинаясь, рассказывал Пауль. — Малорослый такой, нос красный, сопливый… И он вдруг говорит, даже

если мне дадут палестинскую визу, что толку? У меня и чемодана-то нет.

Бабушка обратила на Пауля прекрасные черные глаза, всегда готовые вспыхнуть гневом:

— И ты отдал ему эти три шиллинга?

— Мамочка, на разрушении нацистами синагоги *наживаться негоже.*

— Негоже наживаться на нацистах?! Это еще почему? А им, значит, гоже захапать магазин твоих родителей и выгнать твоего зятя с работы…

— Но, мамуля, я именно об этом и толкую.

— Женись! — отрезала бабушка. — Найди себе жену, пусть она о тебе заботится. У меня больше нет сил.

Она заплакала.

Пауль присел на подлокотник материнского кресла и стал гладить ее по голове.

— Мамочка, да я хоть завтра начну поиски, но ты пойми: мои шансы найти женщину по душе, которой и *я* придусь по душе, ничтожно малы.

На этот раз бабушка не засмеялась. Махнув рукой, она отвернулась от сына.

В начале декабря прошел слух о том, что якобы разрабатывается смелый план: отправить детей на транспортном судне в Англию. Мой отец повел меня в еврейскую общину, штаб-квартира

которой переехала в разоренную синагогу. По обгорелому залу бродили, как мне показалось, тысячи детей и родителей, многие вставали в очередь на галерее, где в Великие праздники обычно сидели женщины в шляпах и черных платьях. Отец принялся обходить со мной членов совета общины и каждого спрашивал, как найти невесту младшего сына моей двоюродной бабушки Иболии, — она здесь работает, втолковывал он. В итоге моя фамилия попала-таки в заветный список под номером сто пятьдесят два.

В трамвае, по дороге домой, отец взял меня за руку.

— Итак, ты едешь в Англию, — сказал он.

— Совсем одна? — спросила я. Отчетливо помню странное ощущение внезапной пустоты во всем теле. Но в словах «едешь в Англию» слышались отвага и надежда.

— Не совсем, — ответил отец. — Вместе с тобой поедут еще шестьсот детей.

— И когда я уеду?

— В четверг. Послезавтра.

У меня похолодело под ложечкой — там, где образовалась пустота.

Глава вторая
Детский пароход

На место сбора дети должны были явиться в четверг, десятого декабря 1938 года, к девяти часам вечера.

— Возьми себе мой лучший ремень из крокодиловой кожи, — предложил отец; ему хотелось подарить мне что-нибудь на прощанье.

— Иго! К чему ей твой ремень?! — сказала мама. — И потом, нас предупредили: дети могут взять с собой лишь самое необходимое. Им же придется самим таскать свой багаж. Ну-ка, возьми чемодан. — скомандовала она мне. — Сможешь его поднять?

Скособочившись, я приподняла тяжеленный чемодан:

— Могу.

— Еще надо собрать ей еды, чтобы хватило до Англии, — сказала мама. — Что же дать, чтобы за два дня не протухло?

Щеки у нее горели. Весь тот день ее лицо было багровым, словно мама пылала в лихорадке, но при этом она, как всегда, деловито сновала по

дому, говорила, как обычно, даже шутила. Будем делать вид, что сегодня — первый день месяца, предложила она. До того как отец лишился работы, первого числа каждого месяца был день получки, и в этот день мне разрешали выбрать на ужин какое-нибудь особенное блюдо, но при этом пообещать, что до конца месяца буду есть, что дают. Но у меня словно отшибло аппетит. Ничего не хочу, заявила я.

— Я говорю не про сегодняшний ужин. Я про то, что ты возьмешь с собой, — уточнила мама. Мне было ясно, что она очень хочет снабдить меня в дорогу чем-то вкусненьким. Желая угодить маме, я стала перебирать в уме, что бы такое попросить.

— Может, Knackwurst[13]? — предложила я; в ту минуту я даже не могла точно вспомнить, что это за колбаса.

— Только обязательно с хлебом, — вставил отец.

— Knackwurst хочешь, да? — переспросила мама. — Сейчас сбегаю и куплю.

Но тут раздался звонок в дверь.

Весь день к нам беспрерывно шли друзья дома,

---

[13] Примечания: 13
Копченая колбаса (*нем.*).

тети, дяди, двоюродные братья и сестры, которым хотелось попрощаться со мной, и все несли какой-нибудь подарок — конфеты, засахаренные фрукты, финики, кислые леденцы, шоколадки, которые в нашей семье называли «кошачьими язычками», домашнее печенье и знаменитый венский Захер-торт. Пришла даже тетя Грета, хотя она и разобиделась на моих родителей за то, что им удалось-таки внести меня в список отъезжающих, а ее двойняшки по-прежнему оставались в Вене.

Отец пустился в объяснения:

— Пойми, это всего лишь пробная эвакуация. Организаторы даже не уверены, что удастся пересечь границу Германии. А Лора попала туда только потому, что невеста Карла — член совета общины, и она нам помогла. Ни о чем еще я даже заикнуться не мог.

— Разумеется. С какой стати просить о спасении еще чьих-то детей? — заметила тетя Грета. — Но, может быть, Лора, приехав в Англию, решится замолвить слово за своих сестричек Илзе и Эрику, которым, в отличие от нее, пришлось остаться в Вене. Может быть, ей удастся найти какого-нибудь щедрого человека, который оплатит их переезд.

— Я уже дал Лоре список людей, с которыми надо связаться по прибытии в Англию, — сказал отец. — К примеру, родственники Франци давно обосновались в Америке, возможно, они нас поддержат хотя бы на первых порах. Напишешь им, хорошо, Лора? В Париже — Ойген с Густи, у них много знакомых в деловых кругах, а в Лондоне сейчас Ганс и Труди…

— Которую я обозвала коровой, — вставила мама.

— Есть в Лондоне одно семейство, не исключено, что они нам тоже родня; правда, фамилия у них пишется ГРОССМАНЫ, а наша — ГРОЗМАНН. Кроме того, там работает Еврейский комитет по делам беженцев. Ты им тоже напишешь, да, Лора?

Я стояла в кольце взволнованных родственников и важно кивала головой, уверяя, что напишу всем родным и знакомым, расскажу англичанам о том, что творится в Австрии, и найду желающих оплатить переезд моих родителей, бабушки с дедушкой и прочей родни.

— Н-да, — обронила тетя Грета, — ничего не скажешь, язык у нее хорошо подвешен!

Она еще сердилась, но все же обняла меня, расцеловала и горько заплакала.

(В 1946 году, уже в Лондоне, я встретила Эрику, ее взяли няней в одну английскую семью. Эрика рассказала, что Илзе нелегально добралась до Палестины и работает в кибуце. Они пытались найти кого-нибудь, кто оплатил бы переезд матери из Австрии, но в начале 1940 года тетю Грету арестовали в ее собственной прихожей и отправили в Польшу.)

Тетя Грета ушла в восьмом часу, папа уже начал нервничать; пора выходить, сказал он, но мама вспомнила про колбасу, накинула пальто и крикнула:

— Я мигом!

Отец преградил ей путь:

— Ты с ума сошла? Она же опоздает на поезд!

— Но ей хочется Knackwurst!

— Ты знаешь, который час?! Что, если тебя арестуют, едва ты выйдешь из дому?

Никогда прежде я не слышала, чтобы родители так орали друг на друга.

— Не надо мне никакой колбасы, — твердила я, но они даже ухом не вели.

— Она очень любит Knackwurst, — и, захлебываясь слезами, мама прошмыгнула мимо массивного медлительного мужа и выбежала из квартиры.

Отец стоял у окна; меня он по-прежнему не замечал. Зашел в ванную. Вышел, потом открыл входную дверь, выглянул. Посмотрел на часы.

Прибежала мама. Она раскраснелась, ее лицо победно сияло. Все в порядке, никто ее даже не заметил. Она купила целую палку колбасы и заставила продавца дать ей не один, а два бумажных пакета.

— Иди, посмотри, куда я ее кладу, — позвала она меня. — В рюкзак, между бутербродами и тортом.

— Ради Бога, пошли наконец, — взмолился отец.

Мы двинулись пешком по мосту Штефани. Я шагала между родителями, они держали меня за руки. Обращаясь к маме, отец сказал, что утром пойдет в китайское консульство.

— Папа, — окликнула я отца. — Папа, посмотри же!

Мама тем временем говорила папе:

— Грета обмолвилась про отъезд в Голландию.

Я потянула маму за руку:

— Погляди, какая луна.

Под нами, в черных водах Дуная, дрожала белая луна, рядом — тысяча ярких огоньков от фонарей на мосту.

— Голландия слишком близко, но, если успею, зайду — наведу справки. Однако первым делом поеду в китайское консульство.

Они продолжали переговариваться над моей головой. Мне стало обидно. Они строят планы на завтра, а завтра меня уже с ними не будет. Очевидно, они прекрасно обойдутся без меня. Я рассердилась, выдернула руки и зашагала отдельно, сама по себе.

Мы сели на трамвай. Через проход от нас, между родителями, сидела еврейская девочка с рюкзаком и чемоданом. Я старалась поймать ее взгляд, в надежде завести новую подружку, но она горько плакала и не обращала на меня никакого внимания.

— А вот я не плачу, как та девочка.

— Ты молодчина, — сказала мама, — ты у нас очень храбрая. Я тобой горжусь.

На самом деле меня терзали дурные предчувствия; уж лучше бы я тоже заплакала, мелькнула мысль.

* * *

Место сбора назначили на окраине Вены, позади железнодорожного вокзала. Среди сотен детей, топтавшихся на огромном темном пустыре, я

безуспешно высматривала девочку, плакавшую в трамвае; а может, я ее просто не узнала. Вдоль проволочной ограды стояли члены Еврейского комитета, каждый держал в руках длинный шест с картонкой, подсвечивая ее электрическим фонариком. На картонках были написаны цифры. Какой-то человек подошел ко мне, проверил мои документы и подвел к группе детей, столпившихся вокруг одного шеста, на котором значились цифры: «150–199». Он повесил мне на шею картонку на обувном шнурке — номер 152, заметила я, и прицепил бумажки с тем же номером к моему чемодану и рюкзаку.

Помню, я паясничала и болтала без умолку. А в голове была одна мысль: я еду в Англию. Справа, на границе света и тьмы, сгрудились родители, там стояли мои мама с папой. Отца помню смутно, может быть, потому что его голова возвышалась над кругом света. Помню только его теплое пальто рядом с маминой черной шубкой из шкуры пони, но когда я смотрела на них, видела только мучительно сморщенное, пылающее, как в лихорадке, лицо мамы, тонувшее в пышном лисьем воротнике, ее застывшую улыбку.

Нас построили по номерам в длинную колонну, в каждом ряду по четыре человека. Рюкзак

висел у меня за плечами. Когда пришла пора прощальных поцелуев, поднялась суета, строй сбился; помню, отец нагнулся ко мне, мамина пылающая щека обожгла лицо. Колонна вдруг двинулась, я не успела толком подхватить чемодан, и он норовил выскользнуть из руки, больно хлопая меня по ногам. В смятении я покосилась направо и увидела, что рядом шагает мама. Она перехватила у меня чемодан и пошла сбоку, улыбаясь, будто нам весело, и это такая шутка. Один из членов комитета, наблюдавший за колонной, взял у мамы чемодан, сверил номер на нем с тем, что висел у меня на шее, и вручил чемодан мне. «Ну же, шагай», — торопили шедшие сзади ребята. Мы вошли в огромные двери. Я посмотрела направо, но мамы нигде не было видно. Волоком и рывками я протащила чемодан через вокзал, кое-как спустила его по ступенькам лестницы и дотянула по платформе до поезда.

* * *

В нашем вагоне обнаружилась руководительница, молодая женщина, хрупкая и вежливая. Она ходила по коридору, заглядывала в купе и просила нас угомониться.

— Когда же мы поедем? — неслось со всех сто-

рон.

— Очень скоро, — отвечала она. — Ложитесь-ка лучше спать. Уже половина одиннадцатого.

Поезд, однако, не трогался. Я заметила на платформе невесту дяди Карла, она заглядывала в окна вагонов. Помню, я — специально для нее — встала на голову, и мне показалось, что это она стоит вверх ногами. Она улыбнулась, что-то проговорила, но я не услышала. В ответ я пошевелила пальцами ног.

Поезд тронулся лишь за полночь. В наше купе посадили восемь девочек, но растянуться на полках могли только четверо. Я была самой маленькой из всех. Мне досталось место у окна; помню, что я, изогнув шею, уткнулась в самый угол и зажмурилась, прикрывая глаза то локтем, то рукой от яркого света электрической лампочки в коридоре. Ребячья болтовня постепенно стихла, слышался лишь перестук вагонных колес. Я и не заметила, как заснула; разбудил меня луч фонаря, бивший прямо в лицо. За кружком света смутно, как на фотонегативе, темнело лицо незнакомой девочки. Пора и кому-нибудь другому дать поспать, заявила она. Я медлила, одеревеневшее тело послушалось не сразу, но в нагретый уголок уже кто-то скользнул. Разбудившая меня девочка

оказалась очень хорошенькой. Она предложила сесть рядом с ней на ее чемодан. Девочка мне очень понравилась. Подражая ей, я уперлась локтями в колени, подбородком в ладони и замерла. Надо же, мелькнула мысль, ведь это *я* сижу тут без сна и смотрю на спящих детей. На моих глазах тьма за окном сменилась невиданно прекрасной синевой, потом синева поблекла и вдруг разом мертвенно побелела. А лампочки в коридоре по-прежнему испускали непривычный оранжевый свет. Пытаясь укрыться от него, спящие сутулили плечи. Из соседнего купе доносился шепот. Кто-то громко рассмеялся, на весельчака сразу зашикали. В моем купе одна девочка вдруг села, удивленно огляделась и через мгновение, не закрывая глаз, снова заснула.

Сидящая рядом на чемодане девочка спросила, не хочу ли я сходить в туалет умыться. Я побрела по коридору, заглядывая по дороге в купе; всюду крепко спали. В туалете над раковиной был прикреплен стеклянный шар. Стоило его повернуть, из него прыскала зеленая струйка. Возле унитаза педаль, если наступить на нее ногой, дно унитаза открывалось, и в отверстие было видно, как под вагоном несется назад земля. Я развлекалась так до тех пор, пока в дверь не забарабанили — пора

было уступить место другим.

Когда я вернулась в купе, там уже никто не спал. Все болтали. Многие достали припасы. В такую рань завтракать бутербродом с копченой колбасой не хотелось, да и жевать его долго, поэтому я ограничилась засахаренной грушей, тремя шоколадными «кошачьими язычками» и куском торта. Девочка постарше сообщила, что ночью мы пересекли границу Австрии и едем по Германии. Я выглянула в окно, готовясь возненавидеть все подряд, но, кроме полей и коров, ничего не попадалось на глаза. Может быть, мы все еще в Австрии? — предположила я. Ответ на этот вопрос был для меня важен: я вела счет странам, в которых успела побывать: родилась в Австрии, на каникулы ездила в Венгрию и еще в Чехословакию — навещать родню. Стало быть, побывала уже в трех странах, а Германия станет четвертой. Ежу ясно, что это Германия, заявила взрослая девочка, чем сильно меня озадачила.

Разгоралось утро, шум в вагоне нарастал. Казалось, все кругом разом запрыгали. В соседнем купе рослая бойкая девочка завела общую игру. Я зашла к ним, отыскала свободное местечко, но, отчаявшись разобраться в правилах, уговорила девчушку рядом со мной сыграть в крестики-

нолики на бумажном пакете из-под завтрака. В разгар игры выяснилось, что утро позади, настала пора обеда, надо расходиться по купе. Я взяла с девчушки честное слово, что после еды она никуда не пойдет и мы сыграем еще, но сама в то купе уже больше не заглянула.

В поезде стало жутко жарко. Ребята отупело жевали в полной тишине. Я откусила кусок колбасы и почувствовала, что проглотить ее не смогу. Ладно, съем на ужин, решила я. Бутерброды совсем зачерствели, я пообедала горсточкой фиников, закусила «кошачьими язычками», а потом принялась сосать леденцы. Снова стал слышен стук колес, потонувший было в утреннем гомоне и суете; под него я и заснула.

Когда я открыла глаза, день уже клонился к вечеру. Вот соня, подосадовала я, сколько всего пропустила. Теперь уж буду смотреть в оба. Напротив меня сидела маленькая девочка, на коленях она держала чемодан; я уставилась на нее. Курносый профиль малышки четко вырисовывался на фоне посеревшего окна. Я так долго разглядывала ее, что мне стало казаться, будто я знаю ее всю жизнь. Но она словно воды в рот набрала, и я снова заснула.

Проснувшись, поискала глазами ту малышку,

но опознать ее не сумела. Внимательно оглядела всех девочек. Ни одна не держала на коленях чемодан. В купе опять загорелся свет, и к окну подступила тьма. Я вновь заснула.

Внезапно я встрепенулась, сон как рукой сняло: поезд подкатил к перрону и стал. Рослая девочка объяснила, что мы доехали до границы и теперь нацисты будут решать, что с нами делать. Она велела нам сидеть тихо, как мыши. Снаружи послышался топот многочисленных ног. Под фонарями замелькали люди в военной форме. Они вошли в головной вагон. Я замерла — от напряжения даже голова затряслась, и колени свело судорогой. Прошло полчаса, час. Мы чувствовали, что они уже в нашем вагоне, казалось, вагон даже просел под ними. Вот, топают по коридору, останавливаются у каждой двери. Наконец один стал на пороге нашего купе. В глазах зарябило от множества пуговиц на его кителе. Из-за его плеча выглядывала молодая женщина, ведавшая нашим вагоном. Нацист знаком приказал одной из девочек следовать за ним, она повиновалась. Молодая женщина обернулась и велела нам не волноваться: из каждого вагона немцы выводят по ребенку — проверить документы и убедиться в отсутствии контрабанды.

Когда девочка вернулась и села, мы дружно уставились на нее. Никто не спросил, что с нею было, а она ничего не рассказывала. Вагон качнуло: значит, нацисты вышли. Двери захлопнулись. Поезд тронулся. Кто-то радостно крикнул: «Нас выпустили!» Теснясь в дверях купе, все высыпали в коридор. Кругом крики, веселый смех. Раньше у нас были одни девочки, а тут вдруг обнаружился мальчик… еще один… третий. Десятки мальчишек. Они, словно фокусники, повытаскивали невесть откуда шапки — бойскаутские, запрещенные, — и водрузили себе на головы. Потом отвернули лацканы курточек, а там — всевозможные значки: бело-синие сионистские, круглые скаутские, австрийские Kruckenkreuz[14]. Сразу стало весело и шумно, на душе потеплело, и я подосадовала, что у меня нет ни одного значка. Ребята запели незнакомые песни, слов я не знала, но подпевала все равно: «Тра-ля-ля-ля». Кто-то сжал мне ладонями голову, я обняла кого-то за талию, кто-то — меня, наши голоса слились.

Через несколько минут поезд стал: мы приехали в Голландию. На ярко освещенном перроне толпились люди. Они протягивали в окна бу-

[14] Примечания: 14

Австрийский значок с изображением «Железного креста», ставшего символом партии «Отечественный фронт».

мажные стаканы с чаем, глянцевитые красные яблоки, шоколадки и конфеты; этим я и поужинала. Поезд тронулся, оставив на платформе колонну из ста детей, которые ехали именно в Голландию (через два года немецкая армия войдет в Голландию, и они попадут в лапы нацистов): впереди четырехлетние малыши, сзади — самые взрослые ребята. Они махали нам. Стоя у открытых окон, мы тоже махали в ответ, во всех вагонах скандировали: «Да здравствует королева Вильгельмина!»

Веселье в вагоне продолжилось, но у меня слипались глаза. Кто-то потряс меня за плечо.

— Нам скоро выходить, — услышала я, но не могла стряхнуть дремоту.

Мне снова водрузили на спину рюкзак, сунули в руку чемодан. Потом кто-то спустил меня вместе с чемоданом на платформу, и я, дрожа от холода, осталась стоять в темноте. Помню мелькнувшую в голове мысль: вот я и в Голландии, это уже пятая страна, но ничего не было видно, и я усомнилась: а идет ли такое знакомство в счет?

* * *

На пароходе я легла на узкую, застеленную белыми простынями койку, но сон как рукой сняло.

Чистенькая каюта была в полном моем распоряжении. Я аккуратнейшим образом сложила платье, чулки и, следуя наказам оставшейся в Австрии мамы, даже почистила зубы; вот бы она порадовалась!.. В каюту вошел чернокожий великан с дымящейся чашкой в руках и вставил ее в металлическое кольцо, привинченное к столику у кровати.

— Этот кофе мне? — спросила я: пусть знает, что я говорю по-английски.

— Это чай, — ответил он.

— Коричневый чай? — удивилась я.

— В Англии пьют чай с молоком, — объяснил он.

Я судорожно соображала, о чем бы еще поговорить, чтобы он задержался в моей каюте, и наконец спросила, как он думает — не начнется ли у меня морская болезнь. Нет, ответил он, главное — лечь в постель и постараться сразу заснуть, а утром проснешься уже на другом берегу пролива.

— Давай, засыпай, да побыстрее, — сказал он и выключил свет.

Оставшись одна, я села на кровати и стала молить Бога уберечь меня от морской болезни, а моих родителей от ареста, потом легла и проснулась

лась уже утром на английском берегу пролива; пароход стоял у причала. Много лет меня потом мучил вопрос: можно ли всерьез считать это путешествие океанским плаванием? Ведь все прошло как бы без моего ведома.

Процедура оформления бумаг тянулась до обеда. Мы ждали в просторной, слишком жарко натопленной курительной комнате с малиновыми обоями и шторами. Маленькие столики и стулья оказались невероятно тяжелыми, и, несмотря на все усилия, покачаться на них мы не смогли. На завтрак доедали остатки взятой с собой еды. Хлеб в бутербродах так зачерствел, что пришлось отправить его в мусорную корзину, от *Knackwurst* шел странный запашок; тем не менее, вспомнив бабушкино присловье «выбросить всегда успеется», я сунула колбасу обратно в пакет.

На палубу поднялись газетчики. Утро напролет они бродили среди нас, фотографировали, ослепляя ярким светом вспышки. Мне очень хотелось привлечь их внимание; я стала демонстративно заглядывать в пустой пакет из-под бутербродов — мол, бедная маленькая беженка подбирает последние крошки. Ни один даже головы не повернул в мою сторону. Тогда я изобразила тоску по дому: подняла глаза к небу и словно забылась

в мечтах. Ноль внимания. Я весело запрыгала; потом положила голову на стол и сделала вид, что заснула. Наконец, я забыла про репортеров. Мне стало скучно. В тягостном ожидании мы не находили себе места.

Утро подходило к концу, когда выкликнули мой номер. Меня привели в комнату, где за длинным столом сидело пять-шесть англичанок, перед каждой высилась стопка документов. На одной из анкет я увидела свое имя, к ней даже была прикреплена моя фотография. Я обрадовалась. Меня направляли от одной дамы к другой, третьей; мне это даже нравилось. Англичанки, ласково улыбаясь, расспрашивали меня и наконец объявили, что оформление завершено, я могу идти.

В коридоре я замешкалась: куда же идти? С парохода почти все уже, видимо, сошли. Я поднялась по лесенке, отворила какую-то дверь и оказалась на открытой мокрой палубе. Огромное низкое небо пологом мельчайшей, похожей на влажную мглу мороси неприметно сливалось с землей. С палубы на причал тянулись широкие дощатые сходни. Вокруг никого, указаний ждать было неоткуда, и я зашагала на берег.

Итак, вот она, английская земля, у меня под ногами, думала я; земля была самая обыкновенная,

только мокрая. Неподалеку рабочий складывал бревна в штабель. Не спуская с него глаз, я застыла на месте. Но тут кто-то взял меня за руку — мужчина или женщина, не разглядеть, — и привел в помещение таких необъятных размеров, что три-четыре ребенка на другом его конце казались карликами, даже звук их шагов замирал под высоченными сводами. Мне велели отыскать свой багаж: я пошла вдоль бесконечных рядов чемоданов и рюкзаков. Было ясно, что найти в этом море свои вещи просто нереально. Спустя недолгое время я шлепнулась на первый попавшийся чемодан и заплакала.

Ко мне подошел кто-то из взрослых, взял за руку и, следуя номерам на вещах, подвел прямо к моим пожиткам под номером 152, а потом показал, как пройти в зал ожидания. Там было очень тепло и толклось множество детей. Вокруг щелкали фотокамеры. Я оттащила чемодан от стены, в полудреме села на него и, видимо, заснула.

Мне кажется, в те дни и в следующие несколько недель я пребывала в возбуждении и одновременно в сонном забытьи. Менялись пейзажи и лица, но все мы были заняты одним — ожиданием. На причале мы просидели в ожидании много часов. Потом в памяти опять всплывает железнодорож-

ный вагон, очередная станция, платформы — мы строимся в колонну по четыре в ряд, фотографы щелкают камерами. К концу дня прибываем в Доверкорт[15]. У вокзала стоял целый караван из двухэтажных автобусов: они должны были отвезти нас в летний лагерь для сезонных рабочих, где нам предстояло жить, пока комитет по делам беженцев не пристроит нас в приемные семьи. Увидев автобусы, я очнулась от забытья. Надо же, двухэтажные! Таких я еще никогда не видела. Вот она, настоящая примета английской жизни. Помнится, я попросилась наверх. Мне разрешили. Я вскарабкалась на второй этаж и с переднего сиденья первой разглядела в густых зимних сумерках наш лагерь, походивший на крохотный чистенький городок на берегу океана. Мы въехали в ворота; помню, я пожалела, что в небе не блеснул ни единый закатный лучик, вообще — ничего такого, что можно было бы счесть важным знамением нашей новой жизни.

Наш караван остановился перед громадным зданием из стекла и железа, мы вышли из автобусов. Внутри здание напоминало большой опустелый вокзал. Прихватив свои вещи, мы сели

---

[15] Примечания: 15
Доверкорт — городок в графстве Эссекс.

за длинные столы, перед которыми возвышался помост. На него поднялся маленький, необычайно лобастый человек с мегафоном в руках. Он представился начальником лагеря, после чего стал вызывать нас по номерам и делить на группы по четыре в каждой — трое малышей и один подросток, который будет старшим по группе. Потом он велел нам отнести вещи в специально отведенный дом и сразу же вернуться обратно — на ужин.

Лагерь представлял собой городок в две сотни одинаковых деревянных однокомнатных домиков, расположенных по обе стороны дорожек, пересекавшихся под прямым углом. Справа дорожки упирались в черную океанскую гладь, тянувшуюся до горизонта — оттуда мы и приехали. А за спиной у нас была Англия.

В нашем домике занавешенные шторами маленькие окошки выходили на крошечную веранду. Очень мило, решили мы и с воплями и визгом стали выбирать себе кровати. Наша старшая, худая девочка лет четырнадцати-пятнадцати, зажав нос, спросила, чем это так жутко воняет.

— Ой! — взвизгнули остальные. — И правда, жутко воняет! Чем это?

Я сразу поняла, что это протухла моя колбаса, и перепугалась. Словно карманный воришка, которому отрезали путь к спасению, я решила смешаться с толпой. Я тоже зажала нос и принялась демонстративно заглядывать во все углы, на чем свет стоит ругая безмозглую грязнулю, по вине которой наше жилище так ужасно просмердело. Прекрасный повод отвести душу! Я даже почти забыла, из-за кого, собственно, разгорелся весь сыр-бор.

— Ладно, успокоились! — приказала старшая. — Пошли ужинать.

Я сказала, что неважно себя чувствую и есть не хочу; лучше останусь дома и лягу спать. Как только соседки ушли, я вытащила из рюкзака бумажный пакет и принялась искать укромный уголок, куда можно было бы запихать колбасу, чтобы она не отравляла воздух. Почему-то мне казалось, что я найду, куда ее спрятать. Домишко наш не отапливался, в нем стало очень холодно. Я сняла туфли и легла под одеяло, положив голову на прохладную маленькую подушечку. Снова встала. Может, взяться за письмо с просьбой помочь моим родителям эмигрировать, подумала я, но вместо этого опустилась за кроватью на колени и, облокотившись на подоконник, выглянула

в окошко. В той стороне, где находился зал, небо было озарено светом. Я пожалела, что не пошла вместе со всеми ужинать. Пока я размышляла, не надеть ли мне туфли и не пойти ли навстречу соседкам, на подходе к домику раздались их голоса, и я вспомнила про колбасу. До меня дошло, что мне понадобится немало времени, чтобы с ней разделаться, а с веранды уже доносились шаги. Я запихнула Knackwurst ногой в угол под моей кроватью и, с трудом переводя дух, нырнула в постель.

Но девчонки не дали мне возможности забыть про колбасу. Старшая — а ее кровать была рядом с моей, — заявила:

— Не иначе как тут кто-то обделался!

Я принялась мурлыкать себе под нос песенку, показывая, что ко мне это обвинение не относится, а одна из малышек спросила, не болит ли у меня живот, ведь я так жутко ною. Старшая захихикала. В конце концов все заснули.

Ночью сильно похолодало: на восточное побережье Англии пришла небывало суровая зима 1938 года. К утру вода в нашей раковине превратилась в ледяную глыбу. Кран же лишь бессильно шипел. Умываться было невозможно, и мы, вопреки материнским наставлениям, отправились

завтракать с нечищеными зубами без малейших угрызений совести.

От ледяного ветра, дувшего с моря, перехватывало дыхание. Но мы, нагнув головы, упрямо шли навстречу свирепым порывам. Предполагалось, что столовой будут пользоваться только летом. За завтраком мы наблюдали, как в щели между стеклянными панелями и железным каркасом крыши залетают и плавно опускаются снежинки. Снег посеребрил наши волосы и плечи, несколько мгновений белел на горячей овсяной каше, копченой селедке и другой чужой, непривычной еде. За столом шептались, что одна девочка отморозила себе пальцы на ногах. Этот слух всех заворожил. Нам казалось вполне естественным, что погода здесь тоже ненормальная, под стать всей нашей новой жизни. (Пока мы жили в лагере, все ложились спать в чулках и перчатках, а днем не снимали пальто и шапок.)

За завтраком я думала только о протухшей колбасе. Во что бы то ни стало надо от нее отделаться, но незаметно, тайком. Сосредоточиться на этой задаче было трудно, я то и дело отвлекалась, однако колбаса под кроватью не выходила у меня из головы, угрызения совести не давали покоя.

Я нервничала, торопливо глотала кашу, наде-

ясь вернуться в домик раньше соседок, но, когда завтрак окончился, нам пришлось остаться и слушать начальника лагеря. Он перечислил в мегафон правила лагерного распорядка: выходить на берег моря запрещено, положено регулярно писать письма родителям, а сейчас все должны остаться в зале, потому что приедут дамы из комитета помощи беженцам, чтобы отобрать детей, которых отправят в семьи в разных уголках страны. А к их приезду все разучат танец, который называется «хора»[16], заключил он.

Столы сложили и унесли. Раздалось пронзительное гортанное пение. Начальник лагеря вышел на середину зала, поставил в кружок несколько детей и приказал:

— Ну, пляшите!

Согнув ноги в коленях, он несколько раз подпрыгнул, надеясь расшевелить танцоров. Оглядев зал, он засеменил от одной группки детей к другой:

— Ну-ка, все вместе! Покажем англичанам, как мы умеем плясать!

Никто не шевельнулся. Начальник лагеря утер

---

[16] Примечания: 16

Хора — хороводный танец, предположительно возникший на Балканах и через Молдавию и Одессу попавший в Израиль, где хору танцуют на всех праздниках.

взмокший лоб. Скинул пиджак и закатал рукава рубашки. Из-под рукавов показались руки, густо заросшие, точно мехом, волосами. Я всей душой жаждала ему помочь. И сама пошла бы плясать, если бы знала как; к тому же я сомневалась, что под словом «все» он имел в виду и меня.

Я подошла к группе ребят — они смотрели, как рабочие устанавливают две дополнительные печки, большие, черные, с широкими черными трубами в форме перевернутой буквы «Г». Через эти трубы дым будет уходить наружу. Когда печки разожгли, от них пошел сильный жар, и мы, толкая друг друга, все утро топтались возле их горячих черных боков, однако в зале теплее не стало.

Тем временем начальник лагеря отыскал среди старших детей танцоров, умевших плясать хору. Они стали в круг и положили руки на плечи друг другу. Я поискала глазами начальника лагеря; он успел надеть пиджак и теперь стоял перед группой дам в меховых манто — кланялся и усердно кивал головой. Затем повел их по залу. Время от времени они останавливались, чтобы побеседовать с кем-нибудь из детей. Я не сводила с дам глаз. Вот бы попросить их помочь моим родителям и двойняшкам выбраться из Австрии.

Дамы подходили все ближе. Кровь бросилась мне в лицо: я же не знаю, как с ними полагается разговаривать. От смятения все поплыло перед глазами, хотя умом я понимала: вот же они, передо мной, и направляются к выходу. Идут осматривать кухню. Начальник лагеря открыл перед ними дверь.

Не вполне осознавая, что делаю, я вышла на морозный воздух и зашагала вокруг дома к кухне. Снег уже перестал. Одна дверь отворилась, из нее вышел человек в длинном белом фартуке и с ведром в руке. От ведра валил пар. Насвистывая мотив хоры, мужчина выплеснул содержимое ведра в бак для помоев. Потом помахал мне рукой, вошел в здание кухни и закрыл за собой дверь. Над помойным баком все еще вился пар.

В ту минуту я поняла, куда девать колбасу. Но от одной мысли, что я готова выбросить на помойку продукт, за которым мама побежала только потому, что я ей наврала, будто мне страшно хочется этой колбасы, грудь пронзила острая боль, причем именно там, где, по моим предположениям, находится сердце. Я даже застыла на месте, пораженная тем, как сильно может болеть нутро. Плача от боли и злясь на нее, я двинулась к нашему домику; при этом я

отчетливо видела себя как бы со стороны: вот она я, в подбитом ватой пальтишке и варежках на продетой в рукава тесемке, иду и реву. Мои светло-каштановые волосы упрямо курчавятся. Нечего удивляться, что фотографы не стали меня снимать. Внезапно я поняла, что боль прошла. Наверно, я как-то неправильно плакала, а может, только притворялась плачущей; и я перестала реветь, хотя какое-то время еще всхлипывала.

Колбасу я решила зарыть; для этого обошла домик сзади и, подобрав деревяшку, принялась раскапывать снег, но земля под ним промерзла и не поддавалась. Я упорно скребла ее, долбила каблуками; наконец выдрала несколько грязных пучков заледеневшей травы и огляделась. Ветер стих, вокруг ни звука, но мороз только крепчал. И тут я заметила что-то невероятное: посреди лужайки, на заснеженном полукруге (наверно, летом там была клумба) торчал длинный худосочный розовый куст, а на нем — один-единственный ярко-красный бутон, увенчанный комом свежевыпавшего снега, напоминавшим сдвинутую набекрень кепку. Это зрелище поразило меня до глубины души. В ту пору мне во всем виделись символы; розы и прочее в том же духе волновали меня как знаки судьбы. В письме

к проживающим в Лондоне дяде Гансу и тете Труди я непременно напишу, что оставшиеся в Австрии евреи похожи на розы, брошенные замерзать на морозе нацистской оккупации. Они погибают от стужи, напишу я. Все сходится идеально! Как верно и как грустно? «А ведь ей всего лишь десять лет!» — восхитятся они. Я обежала домик и взлетела по ступенькам на веранду. Вывалила содержимое рюкзачка на одеяло и принялась лихорадочно искать ручку, бумагу и составленный отцом список адресов; ровно с той же скоростью росла и кустилась моя метафора. Мне не терпелось сесть за письмо. Нужные слова сами приходили на ум: «Если добрые люди вроде вас не сорвут и не увезут эти розы, то нацисты срежут их под корень». Прямо в пальто и варежках я прыгнула на постель и, почти не чувствуя, что у меня окоченели уши, самозабвенно принялась строчить свое послание.

За оконным стеклом возникло исхудалое лицо нашей старшей. Она открыла дверь и вошла в комнату, Все уже сидят и обедают, сказала она, а ее отправили искать меня. Говорила она раздраженно, как взрослая. Мне очень хотелось ей понравиться. Я принялась болтать, как заведенная. Шагая рядом с ней в столовую, я разглаголь-

ствовала про письмо, которое пишу лондонским родственникам, чтобы они раздобыли визу для моих родителей, а сама искоса наблюдала, какое впечатление мои речи производят на старшую. Лицо у нее посинело, прищуренные глаза воспалились от ветра. Рот растянут в ухмылке — непонятно, то ли от холода, то ли она надо мной насмехается. Я решила никогда больше с ней не разговаривать.

К моему удивлению, она заговорила сама. Сказала, что в Вене начались новые преследования евреев. В продовольственные магазины им вход воспрещен, на улице нельзя появляться ни днем, ни ночью, их выволакивают из квартир, заталкивают в кузова и телеги и куда-то увозят. Она очень боится за маму. Не волнуйся, успокоила я ее, евреев там столько, что до ее мамы у них, наверно, просто руки не дойдут.

После обеда начальник лагеря, вооружившись мегафоном, обратился к нам с речью. Ходят слухи о новых погромах в Вене, начал он, но официальными сведениями он не располагает, поэтому не стоит верить слухам и волноваться попусту. А теперь объявляется минуту молчания, сказал он, можно помолиться за оставшихся на родине близких. Зашаркали ноги, заскрипели

пятьсот стульев. Все встали, и повисла такая оглушительная тишина, что маленькая собачонка, принадлежавшая кому-то из поваров, не выдержала и издала долгий, полный ужаса вой. Стоявшие напротив меня ребята изо всех сил старались сохранить приличествующее случаю серьезное выражение, но где там! По залу пробежал смешок. Я чувствовала, что расплываюсь в улыбке, смех рвется из горла, и ужасалась: наверняка грех моей веселости обернется для родителей той самой карой, которую мне следовало отвести от них молитвой.

Я попросила у кого-то карандаш, села у стены на лавку и стала писать домой. Чтобы цензура письмо пропустила, я использовала код собственного изобретения. «Вот некоторые *вопросы*, — писала я, — на которые вы должны ответить *немедленно*. Что вы сегодня ели на обед? Утром хорошо прогулялись? Вы живете по прежнему адресу? Вам мои *вопросы* понятны? ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НЕМЕДЛЕННО». Мне очень хотелось показать письмо, только не ребенку, а взрослому, который смог бы оценить его по достоинству.

Начальник лагеря все еще стоял на сцене и беседовал с какими-то людьми. Я подошла к нему и спросила:

— Скажите, пожалуйста, сколько времени идет почта до Вены?

— Около двух дней, — ответил он.

Я объяснила, что пишу письмо родителям, хочу выяснить, все ли у них в порядке.

— Ну и молодец, — бросил он, заметив поверх моей головы появившуюся в зале новую группу дам в меховых манто.

Мне было совершенно ясно: он ждет, что я отойду, и он сможет направиться к ним; но я гнула свое:

— Письмо у меня шифрованное.

— Вот и хорошо, — с этими словами он взял меня за плечо и не грубо, но твердо отодвинул в сторону. — Ну-ка, позволь.

Он уверенно зашагал к дамам, кланяясь и приветливо кивая головой, а я смотрела ему в спину. Он даже не знает, как меня зовут, подумала я, развернулась и без понуканий сошла со сцены, но еще несколько часов ощущала плечом его жесткую руку.

Я вернулась на лавку возле стены. За окном едва заметно смеркалось — зимой в Англии вечереет рано, чуть ли не с обеда; наверно, опять похолодало. Не снимая варежек, я сунула руки в карманы, как можно глубже. Не давала по-

коя мысль: нужно написать еще одно письмо с просьбой о помощи; вдруг, если я его прямо сейчас напишу и отправлю, оно поможет спасти родителей? В зале уже зажгли свет, а я все сидела и представляла, как нацисты являются в нашу квартиру и арестовывают отца; этими страшными картинками я пыталась подтолкнуть себя к активным действиям, но сама не верила в свои фантазии. Усилием воли представила, как родителей заталкивают в повозку, но не ощутила ни малейшего волнения. Тут я запаниковала и вообразила, что маму уже увезли и она умерла; потом — что я сама тоже умерла, и меня закопали в землю; но и это не помогло прошибить охватившее меня безразличие. Впервые за много дней я ощущала блаженство, в пальто мне было тепло; я повеселела и уставилась на какую-то девчушку: вот она встает в хоровод, и ее маленькие ножки ловко выделывают нужные коленца. Музыка мне уже запомнилась, и я стала мысленно подпевать.

К лавке подошла дама в меховом манто и обратилась ко мне:

— А тебе не хочется поплясать с ребятами?

— Нет, — отрезала я: о том, чтобы вылезти из теплого пальто, и помыслить было невозможно.

— Ну-ка, давай, пошли плясать, — настаивала дама.

— Я не умею, — буркнула я, глядя на черное платье под ее распахнувшейся шубкой. А про себя решила, что, если она позовет меня в еще раз, я все-таки пойду.

— Ничего, научишься, — сказала дама, но мне почудилось, что ее тону не хватает решительности; подожду, пусть пригласит, как надо, подумала я. Дама повернулась и отошла. А я до вечера просидела на лавке — все ждала, что она опять ко мне подойдет.

Вечером нас стали развлекать. Мы расселись по рядам. Начальник лагеря вышел на сцену и принялся разучивать с нами английские песни: «Десять зеленых бутылок»[17], «Правь, Британия»[18] и «Бумпс-а-дейзи»[19]. Потом он вывел на сцену здоровенного мужчину в накидке. Богатырь сбросил накидку и остался в коротеньких атласных трусах фиолетового цвета. Розовый,

---

[17] Примечания: 17

Популярная детская песенка.

[18] Примечания: 18

Английская патриотическая песня, написана на стихи Джеймса Томсона (музыка Томаса Ана) в 1740 г.

[19] Примечания: 19

Детская песенка, помогающая выучить английский алфавит.

мускулистый, почти голый, он, по-видимому, не чувствовал холода. Сначала поиграл бицепсами, потом стал напрягать то правую, то левую мышцу диафрагмы и поочередно шевелить пальцами ног. Голова у него была маленькая и совершенно круглая, точно грецкий орех. На сцену снова вышел начальник лагеря и поблагодарил здоровяка, а нам сказал, что атлет не говорит по-немецки, о чем очень сожалеет, но он специально приехал из Лондона, чтобы нас позабавить. Здоровяк молчал, лишь добродушно улыбался, но я точно знала, что он и не подозревает о моем присутствии в зале.

В заключение вечера начальник лагеря объявил, что наутро мы останемся после завтрака в зале, потому что к нам приедет мэр города, и мы должны встретить его достойно. Эту встречу будут передавать по Би-би-си. Он попросил поднять руки тех детей, кто говорит по-английски: их представят мэру. Я подняла руку, ошеломленная открывающейся передо мной перспективой. Я смогу рассказать мэру про розу в снегу и попрошу его помочь моим родителям. Поздно вечером, уже лежа в постели, я спросила нашу старшую, как по-английски «растущий», но она тоже не знала. Зато сообщила, что в лагерь вот-вот прибудет оче-

редная группа еврейских детей из Германии. Из ее слов я поняла, что для нас это будет сущим бедствием, потому что немецкие евреи говорят как немцы, уверены, что они все знают, и наша лагерная жизнь пойдет под откос. Я очень удивилась. Дома я слышала, что всезнайки — это польские евреи, это они ведут себя шумно и бесцеремонно и портят репутацию *настоящих*, австрийских, евреев. Я спросила старшую, как сказать по-английски «срывать», например, «срывать цветы».

— Откуда я знаю? — отмахнулась она.

В ту ночь я долго не могла уснуть, меня снедал ужас: чем тщательней я обдумывала свою приветственную речь, тем все меньше английских слов могла вспомнить. Но чем быстрее таяло мое желание выступить перед мэром, тем острее я понимала, что выступить необходимо: ведь если родителям не удастся уехать из Австрии, виновата буду я и только я. В конце концов я, наверно, заснула, потому что очнулась в жуткой панике: мне привиделось, что мою тухлую колбасу отыскали и около нее собралась целая толпа. Немного успокоившись, я наклонилась и в полной тьме стала шарить под кроватью. Вот он, бумажный пакет. Я схватила его и принялась запихивать на дно рюкзака; мне казалось, что хруст и шорох

плотной бумаги разносится по всему лагерю.

Наутро, после завтрака, мы построились и много часов простояли в ожидании мэра. Он прислал сообщение, что задерживается. Я оставила всякие попытки подготовить речь. Вот встречусь с ним лицом к лицу, и нужные слова придут сами, уверяла я себя, зевая и переминаясь с ноги на ногу. Вдруг мне живо привиделось, что я произношу перед мэром свое сочинение о розе. Он изумленно смотрит на меня. Спрашивает, как меня зовут. Приглашает пожить у него, в его доме.

Посреди мечтаний я бросила взгляд на сцену и неожиданно увидела там каких-то мужчин, беседовавших с начальником лагеря. Возможно, один из них — мэр, подумала я. К примеру, этот, седой, в плаще. Седой мужчина был явно простужен, он то и дело сморкался, не забывая хлопать начальника лагеря по плечу всякий раз, когда тот хлопал по плечу его самого. А может быть, мэр — другой, вон тот, с микрофоном, от которого тянется длинный провод. Начальник лагеря заговорил в микрофон, потом простуженный сказал что-то по-английски. Я не могла сосредоточиться и ничего не поняла. Затем мимо меня гуськом прошла длинная вереница ребят. Куда это они? — подумала я; не может же быть, что все

они говорят по-английски и сейчас их знакомят с мэром; тогда ведь и я тоже должна идти с ними. Я не понимала, что происходит, но мне было все равно. Потом, когда и мужчины, и те дети ушли, я опять села на лавку у стены; и так и не поняла, приезжал к нам тогда мэр или нет.

* * *

Судя по всему, возможности моей памяти ограничены. Последующие дни слились воедино, я даже не помню, сколько их прошло. Нас пытались как-то занять. Помню, в разных углах зала шли уроки английского. Помню конкурс рисунков, который я то ли выиграла, то ли считала, что выиграла, сама толком не знаю. Мелодия хоры стала страшно популярной. Мы ее мурлыкали по утрам, одеваясь к завтраку, за окном ее насвистывали те, кто шея мимо нашего домика. Если ребятам, прибежавшим в столовую, хотелось согреться, они пускались в пляс под ту же мелодию. В лагере я прожила, наверно, неделю или чуть больше.

Однажды вечером меня и самую младшую из моих соседок по комнате отправили спать, и мы обнаружили, что в нашем домике хозяйничают четыре рослых мальчика. Они швыряли наши вещи с веранды прямо в снег. Уцепившись за

балясины перил, мы с девчушкой наблюдали за происходящим; прямо перед нашими глазами топтались мальчишеские ноги в длинных шерстяных носках и коротких штанах, а между носками и штанами белели мосластые колени. Что за прелесть, подумала я. И когда нам решительно и безапелляционно заявили, что домик теперь не наш, а мы можем топать отсюда и выяснять у начальства, где нам жить, я пришла в восхищение. Мальчишки ушли в дом, громко хлопнув дверью.

— Это те самые, из Германии, — сказала девчушка и заплакала, но меня вдруг захлестнула волна счастья: подумать только, в нашем насквозь знакомом доме теперь мальчики! Лагерь мне сразу представился в новом свете — полным девочек и мальчиков из Австрии, Германии и даже из Польши. Я с неприязнью смотрела на девчушку: сидя рядом на своем чемодане, она захлебывалась рыданиями. Как же она мешала мне любить всех вокруг!

Не знаю, сколько мы просидели в снегу возле бывшего нашего дома. В конце концов кто-то, проходя мимо, обратил на нас внимание. Девчушка все еще ревела, хотя и без прежнего энтузиазма. Прохожий спросил, что тут стряслось, а узнав,

сильно огорчился, повел нас к лагерному начальству, и недоразумение быстро разрешилось. Оказывается, нас, прибывших из Австрии в числе первых, предполагалось перевезти в другой лагерь, но лишь на следующий день. Выходит, те немцы этот план нарушили. Нас с девчушкой уложили спать в узенькой комнатке с откидными кроватями. Мы с жаром принялись честить нахальных немцев, сильно возбудились и проболтали полночи. Рассказали друг другу много всякой всячины и очень подружились.

* * *

О втором лагере помню только, что он был совсем не похож на первый: в первом дома были деревянные, а во втором оштукатуренные; актовый зал находился в кирпичном здании. Все необычно, не так, как надо, но привыкнуть к новому месту я не успела, потому что опять пришлось переселяться.

Как-то вечером, когда я, пристроившись у печки, строчила письмо родителям, ко мне вдруг подошли две англичанки. Одна, с блокнотом в руках, спросила вторую:

— Может, эту?

— Давай эту, — откликнулась вторая.

Обе заулыбались, спросили, как меня зовут и сколько мне лет. Я ответила. Они похвалили мой английский. Я просияла от радости. «Ты ортодоксальная еврейка?» — спросили они. «Да», — сказала я. Они были явно довольны моим ответом и спросили, не хочу ли я поехать в Ливерпуль, где меня примет чудесная ортодоксальная семья. Я с восторгом согласилась, и мы все расплылись в улыбках. Я спросила дам, не подыщут ли они добрых людей, готовых оплатить переезд из Австрии моим родителям. Дамы молча переглянулись. Одна погладила меня по голове и сказала:

— Там будет видно.

Тогда я осмелела и продолжила: хорошо бы найти желающих помочь деньгами бабушке с дедушкой, а еще сестричкам Эрике и Илзе, — ведь им не удалось попасть на поезд, который вывез детей из Австрии. Улыбки на лицах собеседниц застыли.

— Это мы обсудим позже, — заключили они.

* * *

В конце письма я сообщила родителям, что уезжаю в Ливерпуль, буду там жить в чудесной ортодоксальной семье, и приписала: «Объясните,

пожалуйста, что значит „ортодоксальный“».

Наутро чуть свет подъехали машины, чтобы отвезти двадцать девочек на вокзал. Целый день наш поезд шел на север. И целый день валил снег. Я мысленно сочиняла очередное письмо к потенциальным благодетелям, в котором сравнивала заваленные снегом придорожные кустики с закутанными в белые шали согбенными стариками-крестьянами; одна беда: никак не получалось перекинуть мостик к евреям и нацистам. Вдобавок мне не давала покоя мысль, что, пока я смотрю в окно купе, самое интересное происходит как раз по другую сторону, и я поминутно сновала в коридор и обратно. Спустя какое-то время девочки постарше не выдержали, недовольно зацокали языками и попросили меня хотя бы минутку посидеть спокойно.

— А мне нужно выйти, — заявила я и вышла, после чего уже не решалась вернуться. Стояла в коридоре у окна, пока не заныли ноги, потом отправилась в уборную и там не столько мыла руки, сколько развлекалась с водой и мылом. Наконец, сочтя, что отсутствовала достаточно долго, я направилась к своему купе и замерла в дверях как вкопанная. На моем месте стоял мой рюкзак, из него был извлечен драный бумажный пакет, и

у всех на виду лежала страшная улика — тухлая колбаса, скукожившаяся, гадкая, обгрызенная с одного конца. Вонь гнили уже не била в нос, теперь в воздухе висел густой удушливый запах плесени. В купе стояла одна из тех англичанок и, брезгливо наморщив носик, не сводила с колбасы глаз. А все семь девочек уставились на меня. Я умерла на месте, утонула в омуте стыда и позора. Темные воды сомкнулись над моей головой, в ушах стоял стук и грохот; я едва расслышала голосок одной из самых младших девочек:

— И она ведь даже не кошерная!

— Выбросьте ее на станции, во время пересадки на другой поезд, — посоветовала англичанка.

Помертвев от прилюдного позора, я прошла на свое место. Спустя некоторое время я, однако, заметила, что на меня уже никто не смотрит; вскоре в купе заглянула англичанка — удостовериться, все ли в порядке, — и мило улыбнулась мне. Но я все еще не решалась тронуться с места, хотя теперь мне действительно нужно было в туалет.

На станции я бросила колбасу в большой мусорный бак. После чего громко заревела от горя, не замечая собравшихся вокруг детей, тупо таращившихся на меня. Сквозь шум в ушах донесся голос одной из англичанок:

— Ну-ну, успокойся. Уже все хорошо.

Вид у обеих дам был испуганный и расстроенный.

— Больше не будешь огорчаться, да? — неуверенно повторяли они.

Глава третья
Ливерпуль: у миссис Левин

В Ливерпуль мы прибыли к вечеру. Нас встречали члены Комитета помощи беженцам, у вокзала уже стояли наготове машины, на них нас привезли к большому дому.

Помню, все двери там были распахнуты настежь. В комнатах и коридорах горел свет, всюду сновало множество людей. На лестничной площадке громоздились наши рюкзаки и чемоданы. Какие-то женщины сняли с нас пальтишки, шапки, перчатки и сложили их на кровати. Кто-то спросил, не надо ли мне в туалет; в туалет очень даже хотелось, но останавливала мысль, что я не найду дороги назад; к тому же я понятия не имела, где туалет находится. Слишком все это сложно. «Нет, не надо», — сказала я.

В просторной комнате стоял длинный стол, устланный белой скатертью, словно на праздник. В дальнем углу я увидела в стене квадратное отверстие, там горел огонь. Я подошла и стала перед ним. Оказавшийся рядом высокий господин глянул на меня. Я сказала, что первый раз

вижу, чтобы огонь горел в стене, и сообщила, что у нас в Вене топят печки. Он в ответ похвалил мой английский, и мы немного поболтали, пока не подошла дама из Комитета. Она повела меня к моему месту за столом. Видимо, это был первый день Хануки. Зажгли свечи. Все стоя запели незнакомую мне песню. Потом сели за длинный стол. На него поставили вазы с кексами и раздали нам по тарелочке с кубиком цветного желе; такого угощения я еще не видела: стоило тронуть желе пальцем, и оно потом долго колыхалось.

Одна дама из Комитета пошла вокруг стола со списком фамилий в руке; вместе с еще какой-то дамой она остановилась возле моего стула и сказала:

— Вот славная девочка.

Готовая пустить в ход все свое обаяние, я обернулась. Прямо передо мной вздымалась громадная, колючая на вид шуба. Из нее сквозь очки на меня недовольно взирала незнакомая старуха. Я испугалась. Из-под шляпы, волос и очков едва виднелось серое неопрятное личико. Я-то воображала, что если уж меня выберет какая-нибудь семья, то это будут люди необычные и очень красивые. Я жестом дала понять той даме со списком, что хочу пойти к кому-нибудь другому,

но она ничего не заметила, так была поглощена разговором со старухой в шубе.

— Сколько ей лет? — спросила старуха. — Понимаете, мы хотели бы взять ребенка лет десяти — девочку самостоятельную, но еще не совсем взрослую, чтобы ее можно было научить хорошим манерам.

Они беседовали поверх моей головы, а я смотрела и думала: надо внимательно вслушаться в их разговор, тогда я пойму, о чем речь, но почему-то ежеминутно отвлекалась, а когда снова прислушивалась, не могла понять, придется мне ехать к этой старухе или нет. Я даже не была уверена, что разговор все еще идет обо мне, и от отчаяния громко сказала:

— А мне не десять лет. Мне десять с половиной. Почти одиннадцать.

Обе явно удивились. Старуха в шубе робко улыбнулась, и у меня отлегло от сердца. Она спросила, где мои вещи, взяла меня за руку, и мы пошли в спальню за моим пальто. Какой-то парень отнес мои вещи в одну из стоявших на заснеженной улице машин и сел за руль. Старуха направилась к заднему сиденью и велела мне следовать за ней. Когда машина тронулась, я, помнится, на миг запаниковала, обернулась и

глянула в заднее окно — не видно ли деятельниц Комитета. Знают ли они, что меня куда-то увозят? Сумеют ли мои родители выяснить, где я теперь буду жить? Но страхи мои длились недолго. Мое детство не давало повода подозревать взрослых в дурных намерениях. Мне кажется, я пребывала в твердой уверенности, что могу найти подход к любому взрослому. Едва мы расположились в машине, я принялась рассказывать старухе, что учила английский в школе и дома, и вообще училась очень хорошо. На заднем сиденье было темновато, и я не могла определить, произвели ли мои рассказы должное впечатление на эту флегматичную, закутанную в шубу тетку.

— А еще я умею делать фигуры на льду и танцевать на пальчиках.

Она что-то пробормотала сидевшему впереди молодому человеку, но я не разобрала слов. Меня смаривал сон, трудно было подыскивать новые темы для разговора на английском. Решив, что с беседой можно и подождать, я закрыла глаза.

* * *

Внезапно меня разбудили и велели встать; вокруг было темно, холод пробирал до костей. Хотелось одного: побыстрее снова уснуть, и я

закрыла глаза, но меня повели через сад к открытой двери, за которой горел свет. В доме были люди, позади них я заметила горничную в черном платье, белом переднике и белом чепце; она смотрела на меня во все глаза. С меня опять сняли пальто. В дальнем конце комнаты у камина сидел старик в очках. Он выдвинул из-под кресла скамеечку для ног, чтобы я села у огня, рядом с большой немецкой овчаркой, которую, сказали мне, зовут Барри. Другая горничная, тоже в форменном платье, принесла мне чашку чая с молоком — точно таким нас поили на корабле, и он мне жутко не понравился. Чай слишком горячий, сказала я, а мне очень хочется спать. Но мне объяснили, что прежде нужно принять ванну, и позвали горничную. Ее зовут Энни, сообщили мне, она меня помоет; я засмущалась и сказала, что дома всегда мылась сама. Энни повела меня наверх в ванную комнату, пустила воду и, закрыв дверь, оставила одну. Мне так хотелось спать, что я решила просто постоять в ванне, делая вид, что моюсь, но сидеть в воде оказалось куда приятнее.

Потом кто-то, по-моему, одна из хозяйских дочерей, повела меня выше, в мою комнату. Отчетливо помню застывшее меж балясинами

перил лицо горничной, наблюдавшей за мной, а когда я уже легла в постель, но свет еще не выключили, в полуоткрытой двери мелькнула другая голова в белой наколке. Так у них пять горничных! — поразилась я. У нас никогда не бывало больше одной прислуги зараз. И я снова крепко заснула.

Проснулась я от яркого света дня; стоявшая у двери горничная, глядя на меня, сказала:

— Праставать.

Не отрывая головы от подушки, я молча разглядывала ее. Она стояла очень прямо, пятки вместе, носки врозь, руки вдоль тела. На ней было яркосинее полотняное платье, поверх — белый передник, такой длинный, что свешивался ниже подола платья. Это была крупная, крепко сбитая девушка с черными волосами. Между налитыми румяными щеками торчал невероятно курносый нос.

— Простите? — сказала я, поскольку ничего не поняла.

— Праставать, — повторила она и вышла из комнаты.

Может быть, следует встать с постели, подумала я, но продолжала лежа осматривать просторную, светлую, довольно холодную комнату. Кто-то

уже принес мой чемодан и рюкзак и водрузил их на комод. В этой новой, чужой обстановке они казались особенно знакомыми и привычными. Я быстро встала и оделась. Должна ли я спуститься вниз? Может, будет нелепо с моей стороны вдруг, ни с того ни с сего, взять и заявиться к этим чужакам? Я решила прихватить с собой блокнот и ручку. Просто войду и скажу: «Мне надо написать письмо маме», и они станут одобрительно говорить друг другу: «До чего славная девочка. Как она любит родителей!»

С гулко бьющимся сердцем я вышла на площадку лестницы. Дверь напротив была приоткрыта. Я увидела зеркало, в нем отражался тщательно прибранный туалетный столик. Под рамку зеркала было засунуто множество фотографий, на подзеркальнике лежала подушечка для булавок в форме сердца, рядом — гребень и щетка для волос. Затаив дыхание, я легонько толкнула дверь и увидела угол кровати под зеленым атласным покрывалом. Мне очень хотелось заглянуть в комнату, но пугала мертвая тишина в доме, и я попятилась. Интересно, куда все делись, подумала я. Перегнувшись через перила, я увидела покрытую зеленым ковром лестничную площадку, на нее выходило несколько дверей, но они

были закрыты. Наверно, все пять горничных наводят там чистоту, решила я и стала медленно спускаться на площадку с зеленым ковром, потом ниже, на первый этаж. За одной из дверей слышались голоса; приникнув к матовому стеклу, я попыталась рассмотреть, что там, внутри, но ничего не разглядела. А вот сидевшие в комнате люди, очевидно, увидели за стеклом мой силуэт, потому что из-за двери раздался голос:

— Входи. Ну, входи же.

Я вошла и оказалась в теплой, уютной комнате; это была просторная кухня, похожая, скорее, на гостиную. Посреди стоял большой стол, в очаге весело пылали дрова. Пес Барри лежал перед огнем, положив передние лапы на латунную решетку, у окна сидела толстая женщина и шила.

— Иди сюда. Садись, — распорядилась она. — Энни подаст тебе завтрак.

— Мне надо написать родителям, куда меня привезли, — сказала я.

— Но прежде можно и позавтракать.

Вошла горничная в синем полотняном платье с подносом, на котором было вареное яйцо и чай с тостами. Она пододвинула мой стул к столу и намазала хлеб маслом. Я с огорчением наблюдала, как она льет мне в чай молоко. Потом подняла

глаза. Нос у горничной был до того курносый, что я заглянула в темную глубь ее кругленьких ноздрей. Она мне вроде бы подмигнула, ноя не была в этом уверена и, уставившись в тарелку, принялась за еду, лишь изредка косясь по сторонам. Все это время я ждала, что с минуты на минуту на втором этаже распахнутся двери, и оттуда разом появятся все обитатели. Но в доме было тихо. Потрескивали дрова в очаге. Толстая дама ни на миг не прерывала шитья. Собака почесывалась, барабаня задней лапой по каминной решетке. В подсобке гремела кастрюлями горничная. Когда я доела свой завтрак, она подошла и убрала за мной посуду.

Я осталась за столом и с удовольствием принялась строчить письмо домой. Описала, как накануне вечером нас привезли в какое-то здание; как там меня выбрала уродливая старуха, а я страшно не хотела с ней ехать. Все это походило на рынок рабов, написала я, очень довольная удачным сравнением. «Я буду жить у очень богатых людей, — писала я. — У них целых пять горничных. Здесь сидит толстая дама и шьет. Она велела мне называть ее тетя Эсси, но я не хочу. По-моему, она совсем не похожа на тетю, жутко толстая». Было очень забавно писать маме про

человека, который сидит рядом, так близко, что можно дотянуться рукой. Я возбудилась, кровь бросилась в голову; мне вдруг помстилось, что это та самая старуха в шубе — и в то же время не она. Совсем другая женщина. Но тоже пожилая, грузная, в просторном хлопчатобумажном платье и очках. Может, все же та самая, а может, и нет. Я исподтишка поглядывала на нее. Вдруг она резко подняла голову. Вид у нее был виноватый. Я поспешно склонилась к своему посланию; написала, что нашла шоколадку, которую мама спрятала на самом дне чемодана. Потом печатными буквами приписала, что люблю их обоих и что мне очень важно выяснить, что означает слово «праставать».

Когда конверт с адресом уже был запечатан, миссис Левин дала мне марку и велела отыскать Энни: она пойдет отправить мое письмо.

Я нашла Энни в парадной гостиной, где она разжигала камин. Языки пламени со свирепым шипением рвались в дымоход. Присев на скамеечку для ног, я уставилась на огонь. Захотелось плакать. Я уперлась локтями в коленки, обхватила ладонями голову и дала волю тоске по дому. Она накрыла меня с головой, точно одеяло. Я не заметила, как горничная вышла из гости-

ной, не видела, что происходит вокруг. Наконец очнулась, словно отходя от наркоза; комната показалась незнакомой, зато голова была ясная, а от тоски не осталось и следа. Я с любопытством огляделась.

В комнате было тихо. По другую сторону очага сидел старик. Глазки за толстыми стеклами очков беспрестанно мигали, он за мной наблюдал. Я его сразу узнала: это же тот самый старик, который накануне вечером отдал мне свою скамеечку для ног. Наверно, он так и сидит тут с тех пор, подумала я, хладнокровно и неустанно наблюдает за мной под треск горящих в камине дров. Старик поманил меня согнутым пальцем. Я послушно встала и подошла Сбоку был виден левый, окруженный морщинами крошечный глаз, и он же — многократно увеличенный толстенной линзой очков и при этом смотревший словно из дальней дали. Старикан выудил из кошелька серебряный шестипенсовик. Протягивая его мне, он подмигнул: помалкивай, мол, это наш с тобой секрет. Я, как опытный заговорщик, кивнула. Меня душил смех, я даже испугалась этого и быстренько села, надеясь снова предаться тоске.

В тот день я изобрела и освоила один прием: оказалось, что если сесть перед очагом на

низенькую скамеечку для ног и, свернувшись калачиком, глядеть на огонь до рези в глазах, то грудь заломит от сильной, непроглядно темной боли; и тогда по моему желанию к горлу подступают слезы, а я могу либо заплакать, либо удержаться. Я знала, что к вечеру дом вновь наполнится людьми, и они будут шепотом обсуждать меня, но я не обернусь, чтобы не нарушить это шаткое равновесие.

* * *

Левины наверняка изрядно натерпелись от меня за ту первую неделю.

— Выпей-ка чаю, предлагала мне миссис Левин. — Тебе сразу станет лучше. Энни, ступай, принеси ей чашечку горячего чайку.

Я отрицательно мотала головой, говорила, что не люблю чай.

— Не любит чай… — повторяла миссис Левин и расплывалась в ободряющей улыбке: — А не сходить ли тебе погулять? Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Хочешь пробежаться по парку вместе с тетей Эсси?

Не хочется мне гулять, отвечала я. Холодно.

— Я знаю, чего ей хочется, — говорила миссис Левин, глядя на Энни. — Ей хочется с кем-нибудь

поиграть. Пойду позвоню миссис Розен, у них тоже живет маленькая беженка; пусть придет к нам играть. То-то будет славно, правда? — обратилась она ко мне. — Тебе же хочется поиграть с хорошей девочкой, верно?

Нет, отвечала я, мне и так очень весело, и ни с какими детьми играть не хочется. А про себя старалась придумать, что бы такое взрослое сказать миссис Левин, лишь бы она продолжила беседу со мной.

— Пожалуйста, скажите, сколько времени идет письмо из Вены в Англию?

— Дня два-три, — с застывшей на лице улыбкой отвечала миссис Левин, с охами и стонами поднимаясь с колен. Тучной старухе трудно было водить беседы со мной, когда я забивалась под обеденный стол и наотрез отказывалась вылезать.

— С утра она уже третий раз задает мне этот вопрос, объявила миссис Левин, выпрямившись во весь рост и глядя на меня сверху вниз.

Думаю, ее пугало мое поведение: спасая беженку от гонений, она привезла ее к себе домой, а девчонка дерзит ей, не сводя с благодетельницы угрюмых пристальных глаз. Я видела, каким взглядом она обменялась с Энни поверх моей

головы, беспомощно разводя руками и уныло поджав губы.

На следующий день, стоя у окна, я увидела, что к нашей входной двери идет высокая нескладная сухопарая женщина, держа за руку упитанную девочку. Рыжие волосы маленькой гостьи прикрывала белая кроличья шапка, завязанная под подбородком. В руках толстушка сжимала красную лакированную сумочку.

Миссис Левин пошла открывать дверь, а я в большом возбуждении заняла наблюдательный пост у двери гостиной. Обе женщины принялись стаскивать с девочки теплое пальтишко, а она стояла, как столб, только переложила сумочку из левой руки в правую, когда левую высвобождали из рукава и стягивали перчатку, а потом та же процедура повторилась с правой рукой.

Затем миссис Левин позвала меня, велела провести гостью в столовую и там с ней играть, а Энни тем временем принесет нам чаю.

Девочка застыла перед камином, глядя прямо перед собой и сжимая в руке сумочку. Я сразу поняла, что мне попалась редкостная простофиля, значит, ею можно будет командовать. Недолго думая, я стала расспрашивать ее о главном; у взрослых задавать такие вопросы при первом

знакомстве не принято, и важная информация остается лежать под спудом любезностей.

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Хелена Рубичек.

Она не поинтересовалась, как зовут меня, я сама назвалась и спросила, сколько ей лет.

— Семь.

— А мне десять, — объявила я и добавила, что мой отец работает в банке. — А твой?

Хелена сказала, что ее отец выпускал газету, но теперь ничем не занимается. Я сообщила, что мой папа тоже больше не работает в банке. Впервые за долгое время разговор шел на немецком. Это было настолько легко и приятно, что я рассказала еще и про маму: она играет на пианино, — и про дедушку с бабушкой, и про их дом.

— Я знаю одну игру. Давай угадывать, чьи родители приедут раньше, твои или мои, — предложила я.

— Мои приезжают в следующем месяце, — сказала она.

— Спорим, мои приедут раньше твоих! — выпалила я и спросила, что у нее в сумочке, но Хелена лишь молча склонила голову набок, отчего пухлая щека мешочком легла ей на плечо.

— Ну и ладно. Давай дальше играть, — сказа-

ла я. Мне живо вспомнились наши с Эрвином забавы, очень хотелось так же развлечься. — В дочки-матери будешь?

— Да.

— Отлично. Я знаю, где мы будем играть. — Взяв Хелену за руку, я подвела ее к обеденному столу и заставила лезть под него, потом заползла сама, и мы сели на корточки. — Тут нас не увидят, — заверила я, с удовольствием оглядывая огороженный ножками стульев мирок под столешницей, такой симпатичный и уютный. — Нам здесь будет хорошо. Тебе удобно?

— Да, — ответила Хелена.

— Ну и хорошо, давай играть. Я буду мама. А ты — маленькая дочка. Ты должна плакать, а я буду тебя утешать. Положи сумочку на пол, она же тебе мешает. — Глядя прямо перед собой, Хелена лишь молча склонила голову набок. Я не настаивала. — Ладно, как хочешь. Ну же! — от нетерпения и возбуждения я даже не могла усидеть на месте, ведь я точно знала, что от нее требуется, чтобы я могла сыграть заветную роль. — Плачь!

Однако Хелена по-прежнему сидела как истукан; казалось, она с каждой секундой становится все толще и флегматичнее. Наверно, потому, что ей неудобно, решила я, вдобавок ей мешает

зажатая в руке сумочка.

— Положи ее вон туда, — распорядилась я.

— Нет, — проронила Хелена.

— Как только мы кончим играть, ты ее заберешь. Ну, пожалуйста, — наседала я. — Давай, я сама положу.

Едва я протянула руку за сумочкой, Хелена, к моему изумлению, вцепилась в нее мертвой хваткой.

— Отпусти! — Я потянула сумочку к себе. — Ну, пожалуйста!

Я взглянула на Хелену и обомлела: ее лицо побагровело и до неузнаваемости исказилось. Щеки надулись, глаза превратились в щелочки, на месте рта разверзлась круглая черная дырка, из нее вырвался устрашающий вопль. Стало ясно: Хелена плачет всерьез, не понарошку.

Дверь распахнулась, в столовую вбежали миссис Левин и миссис Розен. Я выползла из-под стола, принялась их уверять, что всего лишь хотела, чтобы моей новой подружке было удобно играть. Ухватив девочку за запястье, миссис Розен стала тянуть ее из-под стола, но вытянуть этот пухлый, монотонно орущий шар было не так-то просто.

— Ну-ну, хватит, — приговаривала миссис

Розен. — Перестань плакать. Прекрати, пожалуйста.

— Девочка пришла к нам в гости, зачем тебе понадобилось затевать с малышкой ссору? — обратилась ко мне миссис Левин. — Вести себя надо, как положено юной хозяйке.

— Но я же просила, говорила «пожалуйста», — оправдывалась я.

— С ней ни разу ничего подобного не было, — поверх моей головы сказала миссис Розен и снова попросила ревущую Хелену: — Ради Бога, перестань! Дома от нее слова не услышишь. Мне даже не по себе становится. Я и мужу призналась: хорошо, говорю, что через месяц приезжают ее родители, а то я уже ума не приложу, что с ней делать; она меня страшно нервирует. Муж только смеется. Ничего, говорит, она постепенно освоится. Он всегда хотел детей. Приносит ей игрушки, шутит с ней, веселится. Сумочку эту подарил. Но он возвращается домой поздно, я с ней целыми днями одна; она встанет где-нибудь как вкопанная, а я в толк не возьму, что ей нужно; даже не знаю, понимает ли она, когда я к ней обращаюсь… От всего этого я просто места себе не нахожу.

Я завороженно смотрела на миссис Розен: ее левая щека беспрестанно дергалась независимо

от остального тела.

Тут заговорила миссис Левин, и я, затаив дыхание, жадно ловила каждое слово — еще бы, речь-то шла обо мне.

— Наша очень даже разговорчива, — сказала миссис Левин и погладила меня по голове. — Когда я прошу ее вылезти из-под стола и посидеть с нами, она заявляет, что под столом ей лучше. У нее на все есть ответ. — Миссис Левин наклонилась к Хелене, ревевшей уже без прежнего азарта, скорее, по инерции, и предложила: — Давай-ка выльем по чашечке хорошего чаю. С кексом. Ступай, позови Энни, — приказала она мне.

Вскоре явилась Энни с подносом в руках. Она расстелила скатерть, разлила по чашкам чай и поставила перед Хеленой тарелочку, на которой громоздилась целая куча кекса. Я молча наблюдала, сгорая от нетерпения: скорей бы залезть назад под стол, в наш крошечный, но восхитительно уютный домик, и чтобы рядом сидела Хелена. Но толстушка сосредоточенно и неспешно отправляла в рот кусок за куском. Возле тарелки лежала ее сумочка. Когда она доела все до последней крошки, Энни подложила ей еще кекса. После чего миссис Розен принесла Хеленино пальтишко и объявила, что им пора уходить.

— Попрощайся с малышкой, — уже у парадной двери скомандовала миссис Левин.

— До свиданья, — выдавила я и уже вслед Хелене спросила по-немецки: — Еще придешь?

Тем временем миссис Розен вела ее к воротам с таким видом, будто держит в руке что-то хрупкое, но малоприятное; Хелена ни разу не обернулась.

Я спросила миссис Левин, можно ли ей прийти к нам еще разок.

— Странная ты девочка! — сказала она. — Сначала затеваешь ссору, а потом хочешь, чтобы гостья опять пришла.

И все же разрешила вновь позвать к нам Хелену.

— Когда она придет? — спросила я.

— Не исключено, что в следующее воскресенье, — ответила миссис Левин.

И тут случилось непредвиденное: я почувствовал а, как что-то горячее побежало по чулкам, и поняла, что описалась. Я заметила, что миссис Левин изумленно воззрилась на мокрый коврик под моими ногами, но все же подумала: «Может, она смотрит не на меня. Может, на пса: он скребется в дверь».

— Смотрите, Барри скребется в дверь, — сказала я. — Значит, к нам кто-то идет.

Уголок рта у миссис Левин приподнялся, и она скомандовала:

— Ну-ка, бегом наверх, в ванную. Энни! Быстро сюда и захвати тряпку.

Поднимаясь по лестнице, я услышала, как она что-то сказала вошедшей в дом дочери Саре. Что именно, я в тот момент не поняла; тем не менее, ее слова застряли в моей памяти, и вечером, когда я уже была в постели, до меня дошло, что именно сказала миссис Левин: «Я же тебе говорила, там детей воспитывают совсем не так, как у нас в Англии». На что Сара возразила: «Ой, мама, откуда тебе вообще знать, что и как *„там“* делают! И про воспитание детей тоже».

Ее слова я истолковала так: очевидно, когда я рассказывала миссис Левин, почему в моем табеле всегда были только отличные оценки, она ничего не поняла. Надо будет объяснить ей, что я всегда была первой ученицей. И вставить ту историю про невольничий рынок. Завтра же напишу папе, спрошу, как это сказать по-английски. Я лежала и прикидывала, чем бы таким умным удивить миссис Левин. Воображала, что назову миссис Левин тетей Эсси, и мы обе растрогаемся… Но наутро, когда я спустилась вниз, миссис Левин уже сидела над шитьем, и я поняла, что у меня

не повернется язык назвать ее «тетя Эсси»: при свете дня, нос к носу с нею это звучало бы нелепо. Но ведь и «миссис Левин» уже не годилось, потому что она велела называть ее «тетя Эсси». Я наблюдала за ней, надеясь, что с минуты на минуту, прежде чем я с ней поздороваюсь, она поднимет голову. Бедняжка действительно ненароком подняла глаза, намереваясь поворошить угли в очаге, и вздрогнула от неожиданности, обнаружив, что является объектом пристального наблюдения.

— Господи Боже, с чего это ты на меня уставилась?! — вскрикнула она, но тут же взяла себя в руки, хотя успокоилась не сразу. — Почитала бы книжку или пошла бы погулять. Энни, своди-ка ее в парк, побегайте там, — предложила она служанке, которая ухитрялась появляться на месте событий в самую нужную минуту. — Ну-ну, не надо кукситься. Не с чего тебе плакать, — с ноткой отчаяния в голосе обратилась она ко мне. — Я вовсе не хотела на тебя кричать. Пожалуйста, успокойся.

— В Вене евреям не разрешается гулять в парке, — вырвалось у меня.

Мои слова мгновенно подействовали на миссис Левин самым удивительным образом. Она нагну-

лась и привлекла меня к себе. Я успела заметить, что она вспыхнула и на глаза навернулись слезы — слезы сочувствия. Я была приятно поражена. Прижатая к незнакомой внушительной груди, я оцепенела; мне было неловко в объятиях миссис Левин, и я попыталась высвободиться под благовидным предлогом: мне нужно пойти написать письмо отцу, спросить его кое о чем, объяснила я.

Остаток дня я, тем не менее, провела в печали: миссис Левин так горячо обнимала меня, а я не испытала от ее объятий ни малейшей радости. Я ломала голову, придумывая способы завести с ней разговор без какого-либо обращения, но в нужный момент ничего путного на ум не приходило. Я не осмеливалась даже посмотреть ей в лицо — вдруг она решит, что я ее разглядываю. В ее присутствии я чувствовала себя все более неуверенно; наконец, дошло до того, что стоило миссис Левин войти к вечеру в гостиную, как я вскакивала с места и устремлялась к двери. Не сомневаюсь, что мое поведение удручало ее.

— Ладно, — сказала она однажды, — иди лучше спать.

И тут я снова описалась.

Сколько я молила Бога, чтобы этот позор больше

не повторился! Помню, как пыталась заключить сделку с судьбой: «Если я с закрытыми глазами поднимусь наверх в мою комнату, то не описаюсь больше никогда», — уверяла я себя, но дни шли, а позор повторялся все чаще.

Однажды субботним утром я получила первое письмо от родителей. На конверте был адрес лагеря в Доверкорте, потом письмо перенаправили в другой лагерь и, наконец, с помощью Ливерпульского комитета по делам беженцев его доставили нам.

Днем в гости пришла Хелена. Мне не терпелось отвести ее в столовую. Затворив дверь, я сказала:

— Я знаю одну игру. Полезли под стол!

— Нет, — ответила Хелена.

— Ладно. Можем остаться и здесь. Будем играть в «угадайку». Угадай, через сколько дней ты получишь письмо от родителей. Сначала ты угадываешь, потом я, и кто получит письмо позже, тот проиграет. Ну, давай. Угадывай.

Хелена молча смотрела прямо перед собой.

— Ну же, — не выдержала я. — Угадай, сколько дней до письма.

— Три, — сказала Хелена.

— Хорошо, ты говоришь — три, — повторила я. — Теперь моя очередь, мне надо подумать.

По моим подсчетам, письмо, которое я утром бросила в почтовый ящик на углу нашей улицы, за два-три дня дойдет до Вены, пускай даже за четыре; родители напишут ответ на следующий день или через день — добавим еще четыре дня, всего получается восемь, плюс еще четыре дня на обратный путь, в Англию; итого двенадцать, для верности прибавлю еще два дня; всего выходит четырнадцать.

— Я скажу: четырнадцать дней. А теперь полезли под стол.

Но Хелена наотрез отказалась лезть под стол и заревела. Прибежала миссис Левин, поругала меня, потом Энни принесла нам чаю, после чего миссис Розен увела Хелену домой.

А с ближайшего понедельника двадцать беженцев, которых жители Ливерпуля разобрали по домам, начали ходить в еврейскую школу, и я там встречалась с Хеленой каждый день.

В четверг я пришла в школу, сияя от счастья, и объявила, что мне пришло письмо. Причем за пять дней, а не за четырнадцать, как загадала я, значит, девять — в мою пользу.

На следующий день в перемену мы встретились в школьном дворе, и Хелена сказала, что она тоже выиграла, потому что получила письмо.

— Ничего ты не выиграла. Это я победила, — заявила я. — Ты сказала «три дня», а письмо шло шесть, значит, ты три дня проиграла, поняла?

Но Хелена не поняла. Она смотрела прямо перед собой.

— Давай сыграем заново, — предложила я. — Сегодня я отправила письмо, мне надо подумать.

На этот раз я так старательно думала, что у меня вышел двадцать один день.

— Через двадцать один день, — радостно подытожила я расчеты. — Теперь твоя очередь. Угадывай.

— Через два дня, — сказала Хелена. Она так и не поняла смысла игры, хотя мы играли в нее уже несколько недель.

Тем временем события обернулись как нельзя лучше. Я написала родителям про мою новую подружку Хелену Рубичек, упомянув, что ее мама с папой собираются приехать в Англию. Про Антона Рубичека — он был журналист — мои родители знали, они с ним связались и договорились, что он привезет мне подарок от них, например, коробку конфет; одним словом, сюрприз. А в довершение всех чудес мои родители собрались зайти в субботу к родителям Хелены в то самое время, когда Хелена придет ко мне.

У меня разыгралось любопытство. Я попросила Хелену подробно описать комнату, где они будут пить кофе, — тогда я точнее представлю себе обстановку и как они там сидят… Но Хелена не умела описывать что бы то ни было, и я сама мысленно нарисовала всю картину. Но следующее письмо из дому эту картину разрушило. По-видимому, ни в какой такой комнате мои родители вообще не сидели. В письмо была вложена запечатанная записка на имя миссис Левин, и миссис Левин прочитала ее дочерям. Все они сильно разволновались; миссис Левин позвонила миссис Розен, разговор у них был долгий. А у меня перед глазами возникла другая картина: мои родители стоят у двери в квартиру родителей Хелены; дверь заперта, заклеена лентой и опечатана официальной печатью. Соседи сказали, что утром супругов Рубичек куда-то увезли.

Я встревожилась не на шутку. Стала представлять себе, что делают родители, где они сейчас, в ту самую минуту, когда я о них думаю, а потом стараюсь вообразить, что они сейчас совсем в другом месте и заняты совершенно другим. От напряжения у меня закружилась голова, я подошла к миссис Левин и сказала, что меня тошнит. Она дала мне лекарство, меня вырвало, и сразу стало

легче. Я села за стол и написала письмо домой.

Наутро, по дороге в школу, я опустила его в почтовый ящик. На перемене, разыскав Хелену, я сказала:

— На этот раз, думаю, письмо придет через тридцать дней.

— Я больше не играю, — сказала Хелена.

Меня охватил ужас: было страшно представить грядущие недели, если не разделить их на обозримые периоды времени, в конце которых тебя ждет письмо, — вроде кусочка шоколада, который мама всегда клала в мою тарелку, под слой рисового пудинга. Но сначала надо было съесть этот пудинг, ложку за ложкой, и мама каждый раз говорила, сколько ложек.

— Нет, играешь, — заявила я. И, видя, что Хелена уже укладывает пухлую щеку на плечо, поспешно спросила: — Ты что, не хочешь играть?! Я тебе объясню, как выиграть. Загадай двадцать дней, тогда приготовишься ждать долго, и вдруг — сюрприз, приходит письмо, поняла?

— Я больше получать письма не буду, — сказала Хелена.

— Может, и получишь, — заверила я, хотя видела, что Хелена уперлась и ее не переубедить.

Вернувшись домой после уроков, я села за

стол: папа взял с меня обещание написать автобиографию, чтобы англичане узнали, что с нами происходило при Гитлере. Но, начав, я сразу почувствовала, что текст у меня вяловат. Значит, надо оживить события, сгустить краски. Я с азартом расписывала «жуткую ночь» после добровольной отставки Шушнига, ни словом не упомянув, как мама, в нарушение всех правил приличия, нагрубила тогда тете Труди. На следующее утро, продолжала я, «под ветром, точно духи зла, развевались красные флаги, а я, стиснув руки и не веря собственным глазам, застыла в ужасе, поскольку уже имела кое-какое представление о милых немцах» (фразу «Die lieblichen Deutschen» я слышала от мамы). «В безоблачной синеве сияло солнце. Но кому оно светило, нам или нашим врагам? Или тем счастливым жителям дальних стран, которые, конечно же, придут нам на помощь?» Я показала автобиографию Саре.

В то время Саре было, наверно, лет пятнадцать. Безусловно, самая умная, волевая, наделенная живым воображением, она играла в семействе Левин роль Элизабет Беннет[20]. Окружающие ее постоянно раздражали; угрозами и стропти-

[20] Примечания: 20

Элизабет Беннет — героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813).

востью она пыталась добиться от подкаблучника-отца большей самостоятельности, от матери — расширения ее кругозора, а от пятерых сестер — большего здравомыслия и утонченности. Во всем, что касалось английской жизни, она была для меня непререкаемым авторитетом. Моя книга стала нашим общим делом. Сара поддерживала меня, убеждала, что необходимо довести начатое до конца; она планировала помочь мне с переводом автобиографии на английский язык и даже с ее изданием. Общими усилиями мы вознамерились разоблачить Адольфа Гитлера перед всем миром.

По ночам я грезила о Саре, а днем моим прибежищем была уютная кухня, где правила Энни. Мне нравилось наблюдать за ней, когда она в своем опрятном полотняном платье и длинном фартуке деловито сновала туда-сюда, подобно доброй сестрице из сказки, которую я когда-то смотрела в детском театре вместе с папой. Глаза у Энни всегда были скромно потуплены, зато круглые дырочки ноздрей нахально таращились на окружающий мир. Я придумала одну игру: кралась за ней по пятам, стараясь изловчиться и заглянуть ей внос.

Энни никогда не заставляла меня допивать

тошнотворный чай с молоком и не требовала, как миссис Левин, чтобы я перестала хандрить и занялась чем-нибудь полезным. Когда я по привычке вела себя за столом так, как принято в Вене, она не делала мне замечаний и, в отличие от Сары, не поправляла, если я по незнанию вместо английского слова употребляла немецкое. По большей части Энни слушала меня вполуха, поэтому я болтала с ней весьма непринужденно.

— Энни, тебе нравится миссис Левин? — бывало, спрашивала я.

— Да, — отвечала Энни, — миссис Левин очень хорошая женщина.

— Мне она тоже нравится, — говорила я. — Сначала не понравилась, а теперь нравится.

После чего я принималась обсуждать хозяйских дочек, спрашивая Энни, которую из них она считает самой хорошенькой. И тут же сама признавалась, что, по-моему, Сара — красавица. Она мне нравилась больше всех, остальных я по-прежнему путала. Знала только, что их шестеро. Мне понадобилось несколько недель, чтобы разобраться, кто в какой комнате живет, кто из них уже замужем и лишь приезжает навестить родню. Я не решалась вступать с ними в разговор, потому что перевирала их имена и не узнавала

в лицо.

— А вот дядя Рубен — хороший, — говорила я, удивляясь, что вспомнила его имя; точно так же я всякий раз удивлялась, если, войдя в какую-нибудь комнату, обнаруживала там старика. Домочадцы, преимущественно женского пола, обыкновенно забывали о дяде Рубене, вспоминая про него, лишь когда наступало время очередной трапезы и надо было его покормить или когда у него воспалялись глаза и надо было капать в них капли. А у меня, когда я изредка вспоминала о нем, неизменно теплело на душе.

— Он добрый, — говорила я. — Каждое воскресенье дарит мне шестипенсовик. Дядя Рубен мне очень нравится.

— Верно, — подтверждала Энни, — мистер Левин очень хороший человек.

Я любила разговаривать с Энни. Если, подмигнув, она начинала меня смешить и я писала в трусы, то нагло ахала:

— Ты только посмотри, Энни, что натворил дурачок Барри!

— Уж этот мне пес, — отзывалась Энни, — никакого сладу с ним не стало.

И шла за тряпкой, чтобы подтереть лужу.

Но однажды Барри, видимо, застудился и в са-

мом деле налил лужу. Я внимательно наблюдала это зрелище, после чего ликующе крикнула:

— Эй, Энни, представляешь? Барри-то напрудил! За диваном в гостиной, иди погляди.

— Опять этот пес, мисс Сара. Видите, я же вам говорила, с ним час от часу не легче.

— Барри, ко мне, — приказала Сара и, ухватив собаку за ошейник, посмотрела мне в глаза: — Лора, эту лужу действительно Барри налил?

— Ну да, он, конечно; за диван же никто, кроме Барри, не пролезет, — без тени притворства выпалила я, ведь это была чистая правда.

— Что ж, пора отучить его от таких безобразий, ты согласна? Он живет у нас очень давно. Видимо, пришла пора его наказать. Подай мне поводок.

Я стояла и смотрела, как она стегает пса — не очень сильно и не слишком долго, но тот вытянул перед собой лапы, поднял голову и трижды пронзительно взвизгнул, а потом удрал в кухню.

Спустя некоторое время из гостиной донеслись незнакомые голоса: значит, кто-то к нам пришел. Но войти я не решилась. В кухне никого, кроме Барри, не было; встречаться с ним мне не хотелось, и я пошла наверх — искать Энни.

На площадке, застеленной зеленым ковром, никого. Все двери плотно закрыты. Я стояла, при-

слушиваясь и размышляя о пяти горничных в фартуках и наколках. Этих горничных я не видела больше ни разу, но упорно ждала встречи. (Мысль о том, что в доме нет никакой другой горничной, кроме моей любимой Энни, наверняка приходила мне в голову, но склонность к фантазиям переросла у меня в привычку. Только теперь, когда я пишу эти строки, до меня дошло, что в мою первую ночь в доме миссис Левин любопытная Энни пять раз заглядывала к маленькой беженке. Только теперь тетя Эсси сливается, наконец, с некрасивой старухой в шубе. Сейчас мне совершенно ясен смысл слова «праставать», с которым Энни будила меня по утрам и которого мой отец не нашел ни в одном словаре.)

На самом верху, возле двери в мою комнату, я увидела веник и совок для мусора. Энни была в комнате, но уборкой не занималась. Она стояла возле моего туалетного столика и ела мой шоколад. Я услышала легкий шорох: это она не спеша нащупывала пальцем очередную конфету в коробке, которую мама подложила мне в чемодан. Наблюдая, как Энни достает шоколадку и кладет в рот, я не смела дохнуть из страха, что она обернется и поймет, что я все видела. Сердце в груди гулко колотилось, я на цыпочках

отступила от двери. Как же теперь смотреть ей в лицо? И что сказать при встрече? Я крадучись спустилась вниз.

Из гостиной послышался счастливый ребячий визг. Я открыла дверь и, поколебавшись, вошла. Одна из замужних дочерей приехала навестить родителей. Ее сынишка весело кружил по комнате.

— А вот и Лора, — сказала миссис Левин. — Смотри, Лора, кто приехал с тобой поиграть. Наш Бобби.

Она подхватила малыша, стала его тискать и обнимать, приговаривая, что готова его съесть.

— Ой, мама! — недовольно воскликнула Сара. — Ты его испортишь.

— Познакомься с девочкой, Бобби, — сказала миссис Левин. — Дай ей ручку.

Но Бобби вырвался из бабушкиных объятий, проскользнул мимо матери с тетей Сарой и возобновил свое увлекательное кружение, сопровождая его звуками, напоминавшими рев самолета. На меня он даже не взглянул.

У малыша Бобби были бездонные глаза жителя гетто — казалось, в них отражается вся история мелких торгашей и неисправимых мечтателей. А щечки нежные, пухлые. В жизни не видела

ребенка чудеснее, думала я. Меня тянуло к нему, как магнитом.

Оказалось, не только меня, но и его дедушку. Дядя Рубен усердно манил малыша крючковатым пальцем, протягивая серебряный шиллинг. Бобби на бегу схватил монету, словно эстафетную палочку, и помчался дальше; он и не заметил, что дедушка подмигнул ему и заговорщически приложил к губам палец.

— Ну-ка, скажи дедушке спасибо и подойди ко мне, — скомандовала его мать. — Иди сюда, слышишь? Я уберу твой шиллинг в кошелек, а то ты его потеряешь. Возьми его за руку и веди сюда. — обратилась она ко мне.

Я с готовностью протянула Бобби руку, но он увернулся и с воплем понесся дальше. Я побежала было за ним, но тут же почувствовала, что выгляжу нелепо, и замерла на месте: он-то маленький, а мне так бегать уже не годится. Хотелось просто стоять и по-взрослому, с улыбкой, наблюдать за малышом, но как это делается, я не знала. Застеснявшись, я терла висок и жалела, что рядом нет скамеечки для ног, на которой можно было бы свернуться клубочком. Скамеечка стояла по другую сторону камина, а о том, чтобы идти к ней на виду у всех, невозможно было даже помыслить.

Тем временем речь зашла обо мне.

— Ее основные занятия — либо писать письма домой, либо просто болтаться без толку, — жаловалась замужней дочке миссис Левин. — Я ей втолковываю, что нужно найти себе дело. Надо радоваться тому, что она живет у нас, но она даже и не пытается.

— Мама, оставь ее в покое, — сказала Сара.

— Да радуюсь я, радуюсь, — вставила я.

— Тогда чего ж ты целыми днями хандришь? — спросила миссис Левин, глядя на меня сквозь очки.

— Я не хандрю, — возразила я. На самом деле я не очень-то понимала значение слова «хандрить». Прожив в доме первые несколько дней, я разучилась плакать, как только мне вздумается, а теперь желание лить слезы вообще пропало. Часто, когда мы с Энни давились от смеха в кухне, меня внезапно охватывал ужас: какая же я, выходит, бессердечная, веселюсь себе, а про родителей за несколько часов и не вспомнила. Поначалу я даже бегала к зеркалу, чтобы понять, какой меня видит миссис Левин.

— Хандришь постоянно, — сказала она.

Маленький Бобби, обожавший быть центром внимания, приник к бабушкиным коленям и

стал тыкать шиллингом ей в подбородок:

— Баба, смотри, что у меня есть! Баба-а-а-а!

— Я не хандрю, — повторила я. — Просто мне нравится сидеть у огня.

— На все готов ответ, — проронила миссис Левин. — В жизни не видела такой спорщицы. Думаешь, мне удается выпроводить ее на улицу подышать воздухом?

— Баба, смотри! — требовал Бобби. — Смотри, что я умею!

Он откинул голову назад и положил шиллинг себе на лоб.

— Ах, ты, бубеле[21]! — воскликнула миссис Левин и, сжав его лицо, поцеловала в губы.

— Я пойду, — сказала я. — Прогуляюсь немножко.

— Прямо сейчас? — удивилась миссис Левин. — С Энни, что ли?

Я вспомнила про Энни и шоколад и залилась краской. Но выхода не было, я сказала «да». И почти обрадовалась: я была зла на Энни.

Не буду с ней разговаривать, решила я. Мы вошли в парк. Я уже точно знала, что Энни плохая, и в знак разлада вынула у нее руку. Время от време-

---

[21] Примечания: 21
Здесь: золотко мое (*идиш*).

ни я со смятением и страхом поглядывала на эту новую Энни, воровавшую у меня конфеты, но она шагала себе рядом, расправив плечи и вздернув нос. Я принялась пинать ногами мелкие камешки; Энни хранила молчание. Освободившаяся рука мне почему-то мешала. Я сунула ее в карман, но там ей было как-то неловко, и я ее вынула. Спустя недолгое время я протянула руку Энни, она взяла и стала размахивать нашими руками в такт шагам. Я помогала ей махать еще выше.

— Знаешь, там, откуда я приехала, евреям не разрешают гулять в парках, — сказала я, ожидая бурной реакции.

— Надо же, — проронила Энни, не сбавляя шага.

— А знаешь, что я хочу сделать с моими деньгами? Я их коплю на то время, когда сюда приедут мои родители.

— Сколько у тебя набралось? — спросила Энни.

— Три шиллинга. Каждое воскресенье дядя Рубен дарит мне шестипенсовик. Бобби он дает целый шиллинг, а Бобби ему даже спасибо не говорит, — противным голосом добавила я. — Бурлившая в груди злость искала выхода. На Энни ее обрушить не удалось, и я нашла другую, более подходящую мишень. — Балованный маль-

чишка. Только и умеет, что кружить по комнате и шуметь. Он еще совсем маленький, да, Энни? Наверняка даже понятия не имеет, что делать с деньгами.

— Уж что-что, а денежки всегда пригодятся, — невозмутимо заметила Энни.

В тот же вечер Энни постучала в дверь моей спальни. «Можно войти?» — спросила она и стала у порога. Непривычно нарядная, в темно-синем форменном платье с красным воротничком и шляпке с красной лентой, она казалась незнакомой.

Я была рада-радешенька, что она пришла ко мне в таком шикарном туалете.

— Куда это ты разоделась? — спросила я, чтобы завести разговор.

— Сегодня собрание нашей Армии спасения[22], — объяснила Энни. — Сначала играет оркестр, мы поем гимны и другие священные песнопения, а потом собираем деньги на еду бедным людям и несем им Слово Божие.

Я слушала с умным видом. Никогда прежде Энни не говорила со мной такими длинными фразами. Я была польщена. Она даже подошла и

---

[22] Примечания: 22

Армия спасения — религиозная благотворительная организация; основана в 1665 г.

присела на краешек кровати.

— Правда, я еще не решила, идти на собрание или нет, потому что у меня нет денег на пожертвование. Ума не приложу, как тут быть.

Энни опустила глаза на свои безукоризненно начищенные туфли и рукой в черной перчатке смахнула с них пыль.

На ней еще и черные чулки, рассеянно отметила я. В голове закопошилась необычная мысль, до того ошеломительная, что у меня перед глазами все поплыло. Чувствуя, что заливаюсь краской, я сказала:

— Если хочешь, я тебе немножко дам в долг.

— Нет-нет, — запротестовала Энни. — Ни за что не возьму. Разве можно брать взаймы у тебя?! Хотя ты, что и говорить, золотая девочка; а я с получки верну тебе всё, до последнего пенни… Дай, если можешь, полкроны[23].

Столь огромная сумма ужаснула меня. Конечно, дружба дороже денег, но я очень ценила те шесть серебряных монеток, что накопились у меня за прожитые в этом доме недели. Взяв пять шестипенсовиков, я по одному опускала их в протянутую ладонь. Энни достала черный кошелек,

---

[23] Примечания: 23

Полкроны — монета в 2 шиллинга и 6 пенсов, имевшая хождение в Британии до 1970 г.

ссыпала туда монеты и защелкнула замочек.

Затем она спросила, не хочу ли я заглянуть в ее комнату. Я опять вспыхнула от удовольствия: она относится ко мне так, будто я уже взрослая. Мне страшно хотелось зайти к Энни, но именно поэтому я отказалась и тут же об этом пожалела, особенно когда она вышла и ее каблучки застучали по ступенькам лестницы.

* * *

Помнится, ровно следующим утром, спустившись вниз, я увидела миссис Левин; так же, как в мое самое первое утро в этом доме, она сидела у окна и шила синее платье. Для меня. Сгорая от стыда, я вспомнила, как она мне сразу не понравилась и что я писала о ней маме. На меня вдруг нахлынула волна любви к миссис Левин. Я буду любить ее, старую и некрасивую, всю мою жизнь, с восторгом решила я, даже если больше никто не станет ее любить. О чем бы мне завести разговор, начав его со слов «тетя Эсси», судорожно соображала я, но миссис Левин заговорила первой:

— Это ты, Лора? Подойди сюда, ты мне нужна.

Она не подняла головы, и по голосу я поняла, что случилась какая-то неприятность. Я оглянулась: в дальнем углу сумрачной гостиной тихонько

хлопотала Энни, и у меня отлегло от сердца.

— Мне надо с тобой поговорить, — начала миссис Левин. — Я слышала, ты тут жалуешься на нас посторонним людям, мы, мол, обделяем тебя карманными деньгами. Я очень огорчилась. Мне кажется, с твоей стороны это черная неблагодарность.

— Я этого не говорила, — неуверенно выдавила я, пытаясь припомнить, кому я могла такое ляпнуть. — Никогда.

— Я страшно расстроилась, — повторила миссис Левин. — Мы все для тебя делаем, и когда я узнаю, что, по твоим словам, дядя Рубен дает Бобби больше денег, чем тебе, меня это очень огорчает. Вдобавок, ты всех критикуешь: и внук-то мой избалован, и кто-то из членов нашей семьи тебе нравится, а другой не нравится… Так не поступают, когда живут в чужом доме.

Кровь оглушительно стучала у меня в висках, мысли путались. Она обвиняла меня в словах, которые казались мне чужими, не моими; совесть грызла меня за совсем другие прегрешения. Хотелось уйти и хорошенько все обдумать, но я понимала, что уходить нельзя, надо терпеть, пусть миссис Левин бранит меня, сколько считает нужным.

Ее рука с иголкой заметно дрожала.

— Я и не жду благодарности, — продолжала она. — Но ты сама видишь, я сижу и шью тебе платье; могла бы хоть сказать «спасибо, тетя Эсси», а ты даже не замечаешь, что люди для тебя делают.

— Нет, замечаю, — возразила я. — Правда, замечаю.

Но обида нашептывала свое: «Раз она не понимает, что я ее люблю, я ей этого и не скажу».

Миссис Левин, однако, еще до конца не выговорилась. Она была задета за живое.

— Сколько раз я просила тебя называть меня тетя Эсси! Ты этого даже не помнишь, зато к деду всегда обращаешься «дядя Рубен», а потом ходишь и всем рассказываешь, что он тебе мало дает на карманные расходы, хотя я-то знаю: он дает столько, сколько может.

Миссис Левин смолкла, продолжая возбужденно орудовать иглой.

Я дрожала всем телом. Бросила взгляд на Энни в надежде, что она вот-вот вмешается и объяснит миссис Левин, что произошла ошибка, но Энни стояла спиной ко мне и упорно обметала одну и ту же полку. Я выбежала из гостиной, стремглав взлетела по лестнице к себе и бросилась

на кровать, надеясь выплакаться вволю; но из груди вырвалось несколько всхлипов, а глаза остались сухими. В самом деле, почему малышу Бобби достается вдвое больше денег, чем мне? Я даже удивилась, что раньше об этом не подумала. И разозлилась. Решила, что не пойду вечером ужинать, утром завтракать и вообще больше не выйду. Останусь в своей комнате и умру с голоду. Я попыталась всплакнуть, но слезы не шли. Может, что-то со мной не так? Я принялась фантазировать: вот я сокрушенно рыдаю, тут в комнату входит Сара, видит, как я горюю, тихонько спрашивает, что случилось, а я не могу вымолвить ни слова — душат слезы. Сладко защемило сердце — я представила, как Сара расплачется от жалости.

Оторвав голову от подушки, я прислушалась: кто-то шел вверх по лестнице. Может быть, меня ищет миссис Левин? Я затаила дыхание, но шаги стихли этажом ниже. Открылась дверь, потом закрылась. Я услышала, как на втором этаже спустили воду и кто-то зашагал по лестнице вниз. Затем брякнул входной колокольчик; наверно, дядя Рубен пришел из лавки, а может, вернулась Сара. Скоро все соберутся. Сядут за стол без меня.

Не написать ли письмо маме? — подумала я, но не двинулась с кровати. Слишком много на-

копилось такого, чего я не могла ей рассказать. Меня никто не любит; эта мысль потрясла меня. Я не сомневалась: узнай моя мама, что есть люди, которые не считают меня безупречно хорошей, прелестной девочкой, она бы этого не вынесла. В комнате стало темно и холодно. Меня томила скука. А ведь когда Энни отправится спать, ей придется подняться на мой этаж, сообразила я. Может, она заглянет ко мне. А если пригласит меня к себе, я пойду. Интересно, долго еще ждать?

Немного погодя я вышла из своей спальни и села на верхнюю ступеньку лестницы. Потом спустилась на крытую зеленым ковром площадку и постояла там. Затем пошла еще ниже, на первый этаж. Все наверняка уже пришли домой, из гостиной доносились голоса, но я не знала, стоит ли мне туда входить. Наверно, миссис Левин опять жалуется на меня. Я стала у двери и навострила уши: что же они там обсуждают? Но мой силуэт был виден сквозь матовое стекло двери, и миссис Левин крикнула:

— Ладно, входи уж. Нечего подслушивать за дверью.

Я вошла, сгорая от смущения. Миссис Левин перекусила нитку, которой наметывала платье, и спросила у Энни, есть ли у нас время примерить

его до ужина. Я по-прежнему ждала, что вот-вот разразится катастрофа, но миссис Левин только спросила:

— Значит, ты хочешь, чтобы малышка Хелена пришла к тебе играть?

Нет, ответила я, с Хеленой я больше не вожусь, но у меня есть новая подружка, ее зовут Рената.

— Так пригласи ее к нам в воскресенье на чай, — сказала миссис Левин.

* * *

Рената была на два месяца старше меня. Она туго стягивала лентой волосы, носила очки и не уступала мне в сообразительности. Когда я научила ее играть в угадайку про родительские письма, она разок проиграла, а потом стала придумывать самые причудливые и оригинальные препоны, мешавшие почте доставлять ей письма, и мне приходилось сильно напрягать воображение, чтобы перещеголять ее в изобретательности. Если ее письма шли немыслимо дальним путем, вокруг земного шара, то я вынуждена была отправлять их на луну и обратно. В результате игра потеряла смысл и уже не доставляла удовольствия. Тогда Рената придумала другое развлечение: предсказывать время приезда на-

ших родителей.

— По-моему, через два года, — говорила я.

— Через пять лет, — предполагала в ответ Рената.

— Ладно, — говорила я, — тогда мои — через шесть лет.

— Твой ответ не считается, — протестовала она, — ты уже сказала свой вариант.

— А мне все равно, — заявляла я. — Зато я знаю один секрет.

— Какой?

И я рассказала ей, что случайно подслушала разговор миссис Левин со старшей дочерью: по ее словам, миссис Розен призналась, что не представляет, как ей быть с Хеленой, ведь ее родители погибли.

— Ой, значит, она теперь сирота, — сделала вывод Рената.

Так мы с ней секретничали, и я спросила, не хочет ли она стать моей лучшей подружкой вместо Хелены; Рената сразу согласилась.

Тем не менее, я с любопытством посматривала на Хелену, ведь она стала сиротой. Глядя прямо перед собой, она неподвижно стояла посреди школьного двора, по-прежнему одетая в теплое пальтишко и заячью шапку, с завязками под

подбородком. По ее виду никак нельзя было предположить, что у нее умерли родители. Я попыталась себе представить, что мои родители тоже умерли, но едва я начинала думать про отца, как тут же мысленно видела его высоко над землей, на чем-то вроде телеграфного столба; смешно болтая руками и ногами, извиваясь всем телом, он силится освободиться от пут и спуститься на землю. Означает ли это, что он умер? — думала я и пыталась вообразить, как он все же сходит со столба, но картинка все время расплывалась, и я переключалась на маму, но — вжик, и вот она уже тоже на столбе и не может спуститься, пока я от нее не отвлекусь. До выходных я непрестанно боролась с собой, заставляя себя не думать о родителях, чтобы они по-прежнему твердо стояли на земле. Миссис Левин заметила, что со мной творится неладное — то я трясу головой, то пересаживаюсь со стула на стул, то ныряю под стол, и забеспокоилась всерьез.

— Ради всего святого, — говорила она, — неужели ты не можешь хотя бы минутку посидеть спокойно? Никогда не видела такого егозливого ребенка.

В субботу ко мне пришла Рената. Я повела ее в столовую, и мы стали играть в дочки-матери. За-

лезли под обеденный стол, огородив свое уютное гнездышко частоколом из ножек придвинутых к столу стульев. Рената заявила, что она будет матерью, а я — дочкой. Мне рисовалась обратная картина, но Рената сразу стала командовать мной, хотя я сама мечтала верховодить в нашей игре. Вдобавок она тараторила чересчур быстро и двигалась чересчур резко… Словом, все пошло не так, как надо, и я пожалела, что нет со мной под столом Хелены — та беспрекословно меня слушалась.

Прошло несколько месяцев. Мы с Ренатой играли в разные игры и крепко сдружились. В конце концов я выиграла у нее полтора года. Чтобы избавить меня от мучительно долгого ожидания и, не дай Бог, горького разочарования, взрослые сговорились помалкивать о том, что в день моего рождения к нам собрались приехать мои родители.

Наступил март, и однажды меня прямо с урока вызвали к директору. У него сидела миссис Левин, и оба они очень по-доброму смотрели на меня. Миссис Левин велела мне идти за пальто. Дома тебя ждет сюрприз, сказала она.

— Родители приехали! — выпалила я.

— Ничего себе, — удивилась миссис Левин. —

Неужели ты не рада, чудачка ты этакая?

— Конечно, рада, — ответила я, хотя на самом деле была поглощена совершенно новым чувством внезапного освобождения: грудь расправилась, голова прояснела, с плеч свалился тяжкий груз, который, надо понимать, все время давил на меня, а я об этом и не подозревала. Такое же чувство испытываешь, когда проходит наконец приступ тошноты или мучительная судорога и тело заново ощущает свою силу. Я стояла, упиваясь покоем, и дышала полной грудью.

— С детьми никогда не поймешь, — говорила директору миссис Левин. — Она ведь только и делает, что хандрит да пишет письма домой, а сейчас вроде даже и не рада.

— Я очень рада, — возразила я и принялась прыгать на месте, хотя больше всего мне хотелось спокойно наслаждаться чувством невероятного облегчения. Но нельзя же было позволить миссис Левин даже думать, что новость не обрадовала и не взволнована меня; пока мы ехали на такси домой, пришлось всю дорогу прыгать на сиденье.

А дома, в гостиной, перед камином сидели мои мама с папой. Я обнимала их, улыбалась во весь рот и снова обнимала. Затем повела наверх, в мою комнату, потом с гордостью представила их

хозяевам, с неменьшей гордостью демонстрировала родителям свои дружеские отношения с семейством Левин, а позже на мой день рожденья стали собираться дети и дарить мне подарки. Захлопали хлопушки. Каждый ребенок получил яркий бумажный колпак и тарелку с угощеньем: крошечными пирожными и фруктовым желе. Я скакала и прыгала, бегала и болтала без умолку, но ни на секунду не забывала, что здесь, совсем рядом, — мама. И не верила этому счастью. Она же, словно влюбленная девушка, не сводила с меня глаз, они казались особенно огромными от непролитых страдальческих слез и от внезапного счастья видеть меня.

Потом пришли соседи — посмотреть на родителей маленькой беженки. Женщины говорили с мамой на идише. Она с улыбкой пыталась втолковать им на своем убогом школьном английском, что не знает идиша, но те ей не верили и, для пущей доходчивости, начинали говорить громче. Она просила помощи у отца, главного языковеда в нашей семье, но он ошеломленно молчал. Я силюсь вспомнить, проявил ли он себя как-то в доме Левинов, и явственно вижу, как он сидит в одном и том же кресле, вставая, как только встает жена, и если открывает рот, то лишь для того,

чтобы повторить ее слова. Стоило мне подойти к нему и поцеловать, как у него мучительно кривилось лицо и он начинал плакать.

Вечером, когда все ушли, мама открыла чемодан. Она привезла из дома кое-какие мои вещички, в том числе куклу Герду. Во лбу у куклы зияла дырка: на германской границе таможенники, искавшие контрабанду, проткнули ей голову. Отдельная коробка конфет предназначалась моей маленькой подружке Хелене Рубичек.

— А-а, ей, — протянула я. — Она теперь даже в школу не ходит.

— Это верно, — вставила миссис Левин. — Миссис Розен уже не могла держать ее у себя. Девочка сейчас у других людей.

— И где она? — спросила я, недовольно хмурясь, потому что у меня перед глазами мгновенно возникла картинка: малышка Хелена беспомощно дергается на столбе между небом и землей.

— Сейчас не припомню, — ответила миссис Левин, — кажется, ее отправили в другой город.

И я выкинула Хелену из головы.

* * *

Мои родители прожили у Левинов три дня, а на четвертое утро уехали на юг, где их ждала первая

работа в английском доме. Мистер Левин отвез их на вокзал. Помню, как они, уже в пальто, стояли у входной двери.

— Иди же, попрощайся как следует с папой и мамой, — позвала меня миссис Левин, но я как сидела на ступеньке посреди лестницы, так и не двинулась с места. Я не соображала, что делать с собой: обвив рукой перила, мотала головой в разные стороны.

В Ливерпуле я прожила до лета. Мне кажется, что в эмоциональном плане после приезда родителей жить в доме Левинов мне стало гораздо легче. Я мало что могу вспомнить.

Энни напрочь забыла про полкроны, которые получила от меня взаймы. Я внимательно наблюдала за ней. Она непринужденно и беспечно болтала со мной, весело смеялась, а о том, что должна мне два шиллинга и шесть пенсов, явно и думать забыла. Напомнить ей у меня не хватало духу, но я не переставала надеяться, что однажды она вспомнит про долг и вернет деньги. В моем сознании эта надежда навсегда слилась с образом Энни, наряду с забавно вздернутым носом и теплой хваткой ладонью, которая мотала моей рукой во время наших прогулок по парку. Энни мне нравилась, несмотря ни на что.

Я по-прежнему любила миссис Левин, когда она смотрела не на меня. Но я уже не надеялась с ней сблизиться. Она обращалась ко мне с одними теми же словами, а я отвечала одним и тем же тоном; в нашем общении было что-то ритуальное. Если я праздно сидела у камина, она обыкновенно говорила:

— Неужели тебе не хочется написать письмо родителям?

— Что-то настроения нет, — отвечала я.

— Боже мой, — сетовала она, — в жизни не видела, чтобы ребенок готов был целыми днями валандаться без дела.

— Я не валандаюсь без дела, — возражала я. — Я смотрю на огонь.

— На все готов ответ, — сетовала миссис Левин, и тут вступала Сара:

— Перестань, мама. Оставь ее в покое.

Размышления о Саре я откладывала до позднего вечера и, только уже нырнув в постель, давала волю воображению: придумывала самые невероятные ситуации, обращенные ко мне речи Сары, собственные поражающие глубиной соображения и возбуждалась настолько, что не могла заснуть. В конце концов из эпизодов моей жизни в разных семьях сложилась многосерийная сага,

которую я пронесла сквозь годы. В этом сериале появлялись новые действующие лица, но главной героиней неизменно была бледная девочка с длинными темными волосами и скорбным взглядом. Она часто плакала, людей сторонилась, предпочитая страдать в одиночестве. Я досадовала на себя за то, что днем я совсем другая: всегда стремлюсь туда, где люди, но так и не отучилась подслушивать под дверью, — а вдруг там говорят обо мне? Прежде чем войти в комнату, необходимо было собраться с духом, заготовить какой-нибудь ничтожный предлог или умную фразу, — как будто если просто откроешь дверь и войдешь, наверняка попадешь в дурацкое положение.

Глава четвертая
Иллфорд: супружеская пара

Уже в отрочестве тетя Труди и дядя Ганс показали мне письмо про розу, увенчанную снежной шапочкой, которое я послала им из лагеря в Доверкорте. Я смутилась: значит, они клюнули на мои пропагандистские приемчики. Выяснилось, что они разослали копии письма в комитеты помощи беженцам, и оно так тронуло одно семейство по фамилии Уиллоби, что они решили оплатить моим родителям въезд в Англию по так называемой супружеской визе. (Словами «супружеская пара» условно обозначались муж с женой, которых нанимали в качестве дворецкого и кухарки. В ту пору только виза для прислуги предоставлялась иностранцам без малейшей проволочки, поскольку Англия нуждалась в пополнении стремительно сокращавшегося обслуживающего класса. По стране тогда ходил анекдот про молодую женщину из богатой венской семьи, прибывшую по такой визе в английский дом, владельцев которого она считала своими спасителями. Наутро юная дама, наки-

нув на себя синий крепдешиновый пеньюар с кисточками, спустилась в столовую в половине одиннадцатого, ожидая, что ей подадут завтрак.)

Мое представление о первых месяцах пребывания родителей в Англии сложилось из маминых писем мне в Ливерпуль и ее же рассказов в последующие годы. На юг они ехали целый день. Мистер Уиллоби встретил их в Меллбридже и с вокзала повез в Иллфорд-Виллидж (в графстве Кент). День клонился к вечеру. Небо в той части Англии необъятное. Округлые холмы полого вздымаются. Едва заметные верховые тропы, а также изгороди между полями тонко к любовно, подобно карандашу Сезанна, очерчивают контур владения со всеми его неожиданными извивами. Там и сям виднеются купы старых-престарых вязов. Машина ехала проселочными дорогами. По обеим сторонам тянулись изгороди из лещины. За голыми стволами привольно раскинулась земля. Мама была очарована приютившей ее страной. Свернув в распахнутые ворота, машина покатила по усыпанной гравием дорожке к красивому, благородных пропорций дому, обогнула его, и мистер Уиллоби высадил моих родителей у двери черного хода.

Миссис Уиллоби — она ожидала их на кухне

— была очень любезна. Вы, наверно, устали с дороги, сказала она, вам надо отдохнуть. Она велела отцу принести вещи и по вымощенному каменными плитами коридору подвела их к узенькой деревянной лестнице для прислуги; одолев два пролета, они очутились в спаленке под самой крышей. Двери в спаленке не было. Ничего, сказала миссис Уиллоби, завтра Грозманн повесит занавеску. Кусок ткани она найдет, а пока что нужно просто отдыхать, сегодня и думать нечего о работе, но если позже миссис Грозманн вдруг захочет спуститься вниз, миссис Уиллоби покажет ей, где стоит расхожая посуда и в каких чашках подавать хозяйке чай по утрам. Миссис Уиллоби любит, чтобы его приносили на подносе ровно в семь. Но сейчас не стоит ни о чем беспокоиться, надо разобрать вещи и устроиться на новом месте, как дома. Мама запротестовала: она сейчас же пойдет в кухню вместе с миссис Уиллоби.

Из-за хозяйского плеча она заглядывала в шкафы с посудой, в кладовки, в чуланчики с метлами и вениками, в посудомоечную и буфетную, где полки ломились от еды. Может быть, миссис Грозманн проголодалась и не прочь слегка перекусить на ночь? — спросила миссис Уиллоби.

Она оставит для них яйцо на кухонном столе. Ну, и раз уж они сюда пришли, она готова показать миссис Грозманн парадную часть дома. Они опять прошли по каменным плитам коридора, миссис Уиллоби отворила затянутую зеленым сукном дверь, и они оказались в зале, где пол был покрыт ковром. Это библиотека, сказала миссис Уиллоби. Какая чудесная комната, восхитилась моя мать и добавила, что у нее есть одна просьба: может быть, миссис Уиллоби посоветует ей какую-нибудь книгу, чтобы она побыстрее овладела английским языком? Нет ли у миссис Уиллоби «Саги о Форсайтах»? Мама читала ее по-немецки, и благодаря знанию сюжета ей будет легче воспринимать английский текст. Нравятся ли миссис Уиллоби книги Голсуорси? Не знаю, есть ли у нас эта книжка, сказала миссис Уиллоби; однако позже мама сама отыскала роман на полках, и ей разрешили его взять, при условии что, прочитав, она сразу поставит его на место.

— Это наша гостиная.

— Ах, рояль! — вырвалось у моей матери. — «Бехштейн», нет?

И она рассказала миссис Уиллоби, что дома у нее было пианино «Блютнер», но его забрали нацисты; а музыке она училась в Венской ака-

демии.

— Неужели? — отозвалась миссис Уиллоби. — В таком случае, когда никого не будет дома, обязательно заходите сюда и играйте в свое удовольствие.

Мама была разочарована. Ей хотелось намекнуть англичанке, что она тоже была состоятельной дамой, жила в хорошо обставленной квартире, а у ее мужа имелся свой Herrenzimmer[24].

— Мой муж работал бухгалтером, — сообщила мама, — как и ваш супруг, нет?

— Вот как? — отозвалась миссис Уиллоби. — Мистер Уиллоби, знаете ли, государственный служащий.

— А мистер Грозманн работал в банке, — парировала моя мать. — Основным… Как это называется?.. *Шеф*-бухгалтером.

— Главным бухгалтером? — подсказала миссис Уиллоби.

— Да, главным бухгалтером. И он… как сказать?.. organiziert?

— Организовал? — снова подсказала миссис Уиллоби.

— Да. Организовал всю систему бухгалтеров.

---

[24] Примечания: 24
Кабинет (*нем.*).

— А-а? — вопросительно пропела миссис Уиллоби. После чего вручила моей матери листок — собственноручно составленную инструкцию, которую следовало повесить на внутренней стороне кухонной двери. Это был список комнат и дней недели, в которые прислуге полагалось проводить уборку поочередно в каждой комнате. Моя мать искренне поблагодарила миссис Уиллоби. У нее самой такой системы никогда не было, но она будет очень стараться, чтобы угодить миссис Уиллоби. Еще раз поблагодарив миссис Уиллоби за визу и работу, она попросила запастись терпением.

За работу в Иллфорд-хаусе моим родителям положили жалованье: фунт в неделю на двоих. Точнее, за фунт в неделю наняли мою мать, но с оговоркой, что отцу разрешается жить и питаться в доме, за это на него возлагаются обязанности дворецкого и — по мере надобности — подсобного рабочего. Как всем английским слугам, им полагались выходные: полдня по четвергам и полдня в каждое второе воскресенье месяца.

В первый вечер по приезде в Иллфорд, уже улегшись спать, отец в темноте окликнул маму:

— Франци?.. Я тут подумал. Помнишь коридорчик за кухней, в котором мы устроили комнатку

для прислуги?

Мама признается, что в ту минуту остро ощутила. как они с мужем близки: ведь она тоже пыталась припомнить, на каком матрасе спала бедняжка Польди. По ее словам, для того чтобы умоститься на выданных им матрасах, требовалась немалая сноровка. Нужно было раздвинуть в стороны комья слежавшейся ваты, лечь в образовавшуюся ложбину и не шевелиться.

Ночью мама так нервничала, так хотела поскорее взяться за работу, что уже к шести часам утра побежала вниз. И в растерянности стала посреди огромной пустой кухни, не зная, с чего начать. В доме было тихо. За что первым делом бралась по утрам Польди? — подумала мама. Перед глазами явственно всплыла одна-единственная картинка: Польди держит половую щетку на длинной ручке — подметает пол! Мама начала открывать подряд дверцы в поисках чулана для веников и щеток, но вспомнила про утренний чай. Поднос уже попадался ей на глаза, но где? Продолжая рыскать по кухне, она вдруг задумалась: положено ли вносить чай прямо в спальню миссис Уиллоби? Вдруг она застанет в постели обоих супругов? Тут до нее дошло, что, раз она должна приготовить чай, ей понадобится кипяток, а для этого нужно

разжечь топившуюся углем плиту. А на часах уже половина седьмого. С той минуты в течение многих лет моя мать больше ни разу не попадала впросак, она всегда точно знала, где лежит все необходимое для работы.

Я получила письмо, в котором мама забавно описывала то первое утро в доме Уиллоби. Поднос с чаем был доставлен ровно в семь. Миссис Уиллоби выпила чашку, приказала маме подать на завтрак болтунью и повернулась на бок; лежавший рядом мистер Уиллоби даже не проснулся. Мама надеялась, что муж объяснит ей смысл загадочного слова «болтунья», но он сам его не знал и отправился в библиотеку за словарем. Не теряя времени, мама помчалась наверх, распаковала книги и нашла-таки том миссис Битон «Английская кулинария». Завтрак припоздал, но миссис Уиллоби ничуть не рассердилась.

Все очень добры к нам, писала мать. Мистер Уиллоби необычайно вежлив. Он расспрашивает нас о Вене. Сам он работает бухгалтером в каком-то правительственном учреждении и каждый день после завтрака отправляется в Лондон. Помимо него и миссис Уиллоби, в доме живут две их дочери. Старшая, мисс Элизабет, работает в одном из лондонских музеев и с утра пораньше

уезжает на поезде в столицу. Мама приносит ей чай наверх, в комнату для занятий, и мисс Элизабет поджаривает себе на маленькой керосинке тосты. Когда за окнами еще темень и весь дом спит, особенно приятно вдыхать запахи жареного хлеба, чая и керосина, писала мама. Мисс Элизабет очень мила и приветлива, но говорит мало. Младшую дочку зовут Джоанн. Она, как и ее мать, проводит время дома. Еще есть сын, Стивен, но он учится в частной школе-интернате.

Мама писала, что уже беседовала с миссис Уиллоби о моих бабушке с дедушкой, просила помочь им перебраться в Англию. Миссис Уиллоби часто напоминает маме ее собственную мать. Это странно, потому что миссис Уиллоби — очень худая, с ярко-синими глазами — совсем не похожа на бабушку. Мама рассказывала миссис Уиллоби обо мне, и сегодня утром, писала она, миссис Уиллоби объявила, что в летние каникулы я могу приехать и провести с родителями две недели. Как только папа отдохнет и спустится вниз, писала мама, она уговорит его известить об этом миссис Левин, только я не должна показывать виду, что мне не терпится от них улизнуть.

А сейчас, писала мама, надо закругляться и браться за стряпню: скоро обед. Она намерена

приятно удивить хозяев своим Apfelstrudel[25]. И жалеет, что нет возможности испечь его для меня. А в конце приписка: я тебя очень люблю, мы с папой живем надеждой, что еще придет день, когда мы втроем снова будем вместе.

Карьера отца в качестве дворецкого длилась всего-навсего три дня. Утром он должен был первым делом навести лоск в парадном холле, но мама признается, что, вытерев пыль в столовой, разведя огонь в камине и накрыв завтрак, она украдкой спешила в холл, чтобы стереть с красных плиток пола излишки мастики. В тот вечер, когда отец впервые подавал хозяевам ужин, он так долго не выходил из столовой, что мама даже заглянула в дверь — уж не стряслось ли что с ним? Мистер и миссис Уиллоби сидели на противоположных концах стола, между ними друг против друга сидели дочери. Повернув головы, все четверо взирали на моего отца, а он, с накрытым крышкой блюдом отварной капусты и болтавшейся на руке белой салфеткой, застыл возле стола столбом.

— Прошу вас, Грозманн, еще разок; подавайте слева.

---

[25] Примечания: 25
Яблочный штрудель (*нем.*).

Выражение на отцовском лице было такое, словно он некоторое время назад отключился и уже ничего не воспринимает. Мама на цыпочках вернулась в кухню и там горько заплакала от жалости — до того нелепо он выглядел.

Два дня спустя в доме был званый ужин, ждали гостей; мама спросила, не разрешит ли ей миссис Уиллоби прислуживать за столом вместо мужа. Она надеется осилить эту науку довольно быстро. Хотя миссис Уиллоби была обескуражена неспособностью отца усвоить приличествующие дворецкому манеры, она все же заколебалась:

— Я плохо представляю себе, как вы, в кухонном фартуке, появитесь в столовой…

Мама помчалась наверх и надела элегантное черное шерстяное платье классического покроя, сшитое на заказ зимой, за несколько месяцев до прихода Гитлера.

— Слушайте, — удивилась миссис Уиллоби, — это же совсем другое дело. В этом платье вы просто отлично выглядите! Сейчас найду вам наколку и передник. Да, по-моему, очень мило.

— Это наша миссис Грозманн, — представила ее гостям миссис Уиллоби. — Она приехала из Вены.

Гости приветливо кивали маме, она улыбалась

и аккуратно ставила перед каждым тарелку с супом, поднося ее исключительно слева. Со своими обязанностями она справилась прекрасно, все были довольны.

Отца разжаловали из дворецкого в садовники, хотя в садоводстве он разбирался еще хуже. Человек городской, он с нежностью относился к любому растению и в огороде ковырялся с овощами в силу своего разумения.

Прошло несколько недель, и мама научилась исподволь сопротивляться хозяйскому диктату. Однажды вечером миссис Уиллоби заметила, что прислуга вошла в столовую без белой наколки и передника. Забыла, оправдывалась мама, и второе блюдо подавала в полной форме. На следующий день она опять забыла эти аксессуары. Миссис Уиллоби глянула на нее, но ничего не сказала. После этого случая мама прислуживала за столом в своем элегантном черном платье, и о наколке с передником речь больше не заходила.

Еще одна забота не давала маме покоя. Ей понадобилось несколько дней, чтобы выразить свою мысль по-английски. Как-то утром миссис Уиллоби осталась после завтрака за обеденным столом писать меню на день. Мама подошла к ней и спросила: раз к ней здесь обращаются «мис-

сис Грозманн», нельзя ли к ее мужу обращаться «мистер Грозманн»? Миссис Уиллоби подняла на нее ярко-синие глаза и, минутку поразмышляв, сказала: она такой возможности не видит, поскольку в Англии принято обращаться к кухарке «миссис», а вот слуг мужского пола всегда называют просто по фамилии. Таков обычай, и она не представляет, как можно его вдруг взять и изменить.

Ошеломленная отказом, мама молча смотрела в окно; там, в ярком свете теплого апрельского утра, мистер Уиллоби и мой отец бок о бок прогуливались между цветочных клумб. Она видела их со спины. Мистер Уиллоби, в деловом костюме и котелке, уже собрался ехать на работу. Мой отец был выше хозяина на две головы. Мама подумала, что, несмотря на сутулость, он отлично смотрится в твидовых брюках-гольф. Пройдя дорожку почти до конца, мужчины наклонились полюбоваться рядком молоденьких гиацинтов и развернулись к дому. Мама увидела, что на муже зеленый фартук садовника.

В будни, когда дома оставались только миссис Уиллоби и мисс Джоанн, они обедали в гостиной; мама приносила им еду на подносах, потом убирала посуду, вымывала кухню, и до вечернего чая

в ее распоряжении оставалось полтора часа. Мама говорит, что каждое утро она прикидывала, на что их потратить. Ей хотелось написать письма мне и родителям; еще надо было без проволочки отправить просьбу о содействии им в Комитет по делам беженцев; хотелось принять ванну, прогуляться на свежем воздухе, заняться английским языком. К ночи, после бесконечной готовки, прислуживания за столом и вечерней уборки, уже ни на что не хватало сил. Ей бы поспать часок, но отец в это время шел наверх полежать, а ей больше всего необходимо было остаться одной. Она сидела за кухонным столом, ощущая, как свободные минуты ускользают безвозвратно. То и дело поглядывала на часы и высчитывала, сколько у нее осталось, прежде чем придет время готовить поднос с чаем. Как-то днем в кухню вошла мисс Джоанн, за ней по полу тянулись следы с травой и сеном для лошадей; девушка бросила грязную блузку в посудную раковину и удалилась, оставив обе двери нараспашку. Почувствовав сквозняк, мама поднялась и захлопнула двери. Потом ей стало стыдно. Она вспомнила, как еще в родительском доме ее раздражали злобные служанки, готовые лезть в бутылку из-за следов на вымытом полу. Вспомнила, что своим

хозяевам она обязана жизнью. Мама подошла к раковине, выстирала и накрахмалила блузку; потом, сердясь на себя за холопство, направилась к буфету, достала лучшую хозяйскую фарфоровую чашку знаменитой фирмы «Минтон» и заварила себе крепкий кофе по-венски. Поднесла к губам чашку с изящно рифленым краешком и оробела: ведь в любой момент могла войти миссис Уиллоби и застать ее на месте преступления. В то же время ей почему-то этого даже хотелось. Хотелось утвердиться в глазах хозяйки.

Она все яснее понимала, что миссис Уиллоби о многом даже не догадывается.

— Почему вы не сели в Австрии на пароход и не поплыли прямиком в Англию? — спросила однажды миссис Уиллоби. — Зачем надо было добираться таким неудобным путем?

В ту минуту на кухню зашел мой отец, но он лишь удивленно воззрился на хозяйку дома.

— Только представьте, нам пришлось ждать вас с Грозманном почти три месяца! — возмущенно добавила миссис Уиллоби.

Мама попыталась ей объяснить, что происходит с евреями в Австрии и Германии.

Миссис Уиллоби сочувственно зацокала языком.

— Невероятно, — промолвила она, рассеянно отводя взгляд. — Просто не верится.

Она предпочитала не знать того, о чем рассказывала моя мама. Вдобавок ей приходилось активно помогать кухарке, подсказывая нужные английские слова. Это наверняка было весьма утомительно.

У моей матери имелось и другое оружие — смех, в могущество которого она твердо верит до сих пор. Смеется она охотно, от души, буквально до слез. Благодаря неиссякаемому запасу уморительных гримас и жестов она всегда слыла в нашем семействе первейшей комедианткой, ее дядья и двоюродные братья с сестрами в один голос твердили, что у Франци пропадает дар смешить людей. Она замечательно каламбурит, при этом сама бурно радуется тонкой игре слов и не меньше — зубодробительной насмешке. Естественно, ей очень хотелось продемонстрировать миссис Уиллоби свое веселое мастерство, но для этого нужно было переводить свои шутки на английский язык. Если на лице миссис Уиллоби появлялось озадаченное выражение, мама начинала долго и старательно растолковывать сказанное. Озадаченность на лице миссис Уиллоби сменялась усталостью.

Однажды миссис Уиллоби сказала, что, по ее мнению, миссис Грозманн было бы полезно познакомиться с кое-какими англичанами. Мама удивилась и обрадовалась. Миссис Уиллоби сообщила, что она уже пригласила на чай кухарку викария — ведь в следующее воскресенье у обеих кухарок будет выходной.

День выдался очень дождливый. Ровно в четыре часа миссис Магуайр, вся в черном, уже стояла у задней двери. Кухарка викария оказалась дородной пожилой, весьма почтенной на вид женщиной. Она позволила отцу взять ее пальто и галоши, но шляпу снимать не стала; так, в шляпе, и сидела за кухонным столом, пока моя мать поила ее чаем. У нее был сильный ирландский акцент, и в ее говоре мои родители с трудом улавливали отдельные знакомые слова. Специально для гостьи мама испекла венский торт с кремом, но, сколько можно было понять, миссис Магуайр нашла его слишком жирным. Попросив у мамы листок бумаги и карандаш, она написала ей простой рецепт хорошего бисквитного торта. В пять часов миссис Магуайр надела пальто, галоши и ушла домой.

После того чаепития мои родители всегда проводили положенные им полдня вне дома.

В конце мая мама упала с лестницы. К тому времени она сильно переутомилась, стала плохо спать, и в то утро, запутавшись в занавеске, оступилась на черной лестнице и стремглав покатилась вниз. От жуткого грохота проснулся мистер Уиллоби, выскочил из спальни, взбежал на площадку третьего этажа и засеменил по черной лестнице вниз, но мама уже сидела на ступеньке, положив голову на руки.

— Что случилось? — услышала она дрожащий мужской голос и подняла голову.

Мистер Уиллоби, в одной пижаме, свирепо глядел на верхнюю площадку, где застыл мой оцепеневший от ужаса отец.

— Говори как на духу! — рявкнул мистер Уиллоби. — Ты ее бил?

Мама объяснила, что упала по чистой случайности. Недавно она мне призналась, что ее так мутило, так сильно кружилась голова, что было не до объяснений.

Супруги Уиллоби окончательно убедились: эти беженцы из того сорта людей, что едят на кухне, спят на дешевых матрасах, а повздорив, сбрасывают жен с лестниц. Они видели в этом очередное доказательство того, что человеку от рождения присуще чувство справедливости, которое не поз-

воляет ему хладнокровно пользоваться услугами людей, чересчур похожими на него самого.

Тем временем мои родители вносили поправки в уже сложившийся образ своих хозяев.

— У нее нет чувства юмора, — заметила моя мать.

— Она ничего не смыслит в географии, — присовокупил отец. — А чего стоят ее скудоумные вопросы о нацистах!..

— В еде они не разбираются совсем, — продолжала моя мать. — Помнишь, я испекла им Apfelstrudel, а они попросили полить его заварным кремом!

— Ничего-то они не понимают, — заключили мои родители, тем самым определив место англичан в людской иерархии.

Правда, для мамы это оказалось не так-то просто: миссис Уиллоби ей нравилась. Она любила наблюдать за хозяйкой, когда та шла в сад, набросив на голову сине-зеленый платок, который подчеркивал редкостную синеву ее глаз. В этой сухопарой холеной даме чувствовалась сдержанная твердость, уверенность в себе. Выдержка, с какой она без видимых усилий управляла домом, изумляла и восхищала мою мать.

Даже тупость миссис Уиллоби была по-своему

безупречна. Как-то в воскресенье пошел проливной дождь, в такую погоду родителям не хотелось выходить из дому. Зайдя на кухню, миссис Уиллоби воскликнула:

— А, миссис Грозманн! Раз уж вы здесь, будьте добры, принесите нам чаю, если не трудно.

Маме было еще как трудно. Подавляя гнев, она молча повиновалась. Уже у двери миссис Уиллоби обернулась:

— Но сначала сходите, пожалуйста, наверх и возьмите постельное белье для вашей маленькой дочки. Она ведь в четверг приезжает, верно?

Поднимаясь следом за миссис Уиллоби в бельевую, мама дала себе слово никогда больше не позволять себе ни единой дурной мысли об англичанах.

— Не эти, — заметила хозяйка, кладя стопку аккуратно сложенного белья на протянутые руки моей матери. — Это наши хорошие простыни; вы же не хотите, чтобы дочка привыкала к такому белью. Положите их на комод.

Так, с помощью моей матери, миссис Уиллоби постепенно вытащила все белье и наконец, в самой глубине шкафа, нашла стопку простыней в ржавых пятнах.

— Вот они, — удовлетворенно произнесла мис-

сис Уиллоби. — А вы с Грозманном лучше завтра утром отдохнете и спокойно съездите в Лондон за дочуркой.

— До чего же вы добрая, — сдерживая слезы, проговорила мама.

— Как вы думаете, на обратный поезд успеете? Он отходит с вокзала Ватерлоо в пять пятнадцать, и у вас еще останется время приготовить нам ужин. Что-нибудь на скорую руку, разумеется. Может быть, заливное мясо с зеленым салатом и томатным соусом? Вы же можете приготовить это утром, до отъезда.

* * *

В четверг утром родители встретили меня в Лондоне на Паддингтонском вокзале. Мы пообедали там же в ресторане и несколько часов с удовольствием разглядывали витрины магазинов. Потом встретились с тетей Труди и дядей Гансом, они повели нас в «Лайонз Корнер-хаус»[26] пить кофе и слушать музыку, после чего мы сели на поезд, отходивший в пять пятнадцать, и в начале седьмого уже были в Илфорде.

Я вошла в кухню и с любопытством огляделась.

---

[26] Примечания: 26

«Лайонз Корнер-хаус» — старинный лондонский ресторан.

Кухня большая, пол выложен красным кирпичом. Стены оклеены ярко-зелеными обоями. В черной плите пылает огонь.

Застелив кухонный стол скатертью, мама достала свежий хлеб, разную европейскую выпечку и Knackwurst, раздобытые в Лондоне. Потом нарезала хлеб, сделала аппетитные бутерброды и стала меня угощать.

— Давай-давай, ешь, — подбодрил меня отец.

Они сидели, не сводя с меня глаз. Вдруг в тишине раздался пронзительный звонок. Я заметила, что мамин взгляд метнулся к стене над дверью; там висела застекленная коробка с тремя рядами круглых отверстий, по три в каждом ряду. Из всех отверстий торчали красные язычки, под которыми значилось:

ГЛАВН. СП-НЯ ЮЖ. СП-НЯ ВОСТОЧ. СП-НЯ
ЗАПАД. СП-НЯ ГОСТЕВАЯ К. КЛАССН. К.
СТОЛОВАЯ ГОСТИНАЯ БИБЛИОТЕКА

Язычок гостиной неистово дергался.

Мама встала, подозвала меня к себе, торопливо провела гребнем по моим волосам, поправила воротничок моего хлопчатобумажного платья.

— Это звонит миссис Уиллоби. Мне хочется, чтобы ты выглядела хорошо. Не забудь поблагодарить ее за то, что она разрешила тебе приехать

и пожить с нами.

По выложенному каменными плитами коридору мы дошли до затянутой сукном двери; она бесшумно затворилась за нами. В крытом ковром парадном холле было тихо. Одна дверь стояла нараспашку. В гостиной царил идеальный порядок; свет был мягкий, приглушенный. В глубоком кресле сидела худая дама в цветастом платье.

— Миссис Грозманн, — сказала она, — мне кажется, сейчас чуточку похолодало. Вот я и подумала, не разжечь ли нам камин.

— Сию минуту разожгу, — сказала мама. — Миссис Уиллоби, это моя Лора.

— Здравствуй, как поживаешь? — сказала дама, и я увидела синие-пресиние глаза, те самые, о которых писала моя мать. Комната была полна цветов. На пушистом ковре стояли обитые узорчатой тканью стулья с изящно выгнутыми ножками.

— Очень хорошо, благодарю вас, — ответила я.

Мама чиркнула спичкой и нагнулась к кучке аккуратно напиленных веток. По полированному дереву каминной полки заплясали алые отблески пламени.

— Из Ливерпуля я ехала одна, — сообщила я. — Правда, охраннику багажного вагона поручили

за мной приглядывать.

— Вот и хорошо, — отозвалась миссис Уиллоби и предупредила маму, что мисс Элизабет осталась в Лондоне, поэтому ужин надо накрыть на троих.

Я глянула на маму и сказала:

— Спасибо вам за приглашение.

— Я очень рада, что ты смогла приехать, — сказала миссис Уиллоби.

Когда мы вернулись в кухню, мама убрала со стола и скомандовала:

— Теперь первым делом сядь и напиши письмо Левинам.

— Можно завтра?

— Сию минуту, — отрезала мама. — Ты же не хочешь, чтобы они решили: вот, не успела она встретиться с родителями, как разом забыла все, что *мы* для нее сделали. Ты же не хочешь прослыть неблагодарной, верно?

Я не была неблагодарной. Порой меня охватывали глубокие чувства. (Помню, как в первую пятницу после приезда, когда, как положено у правоверных евреев, в доме миссис Левин зажгли свечи, я, незнакомая с этим ритуалом, поразилась тому, что вообще там нахожусь. Мне показалось чудом, что семейство приняло меня, чужую и

конфузливую девочку, как родную. Я была тронута до слез, чем только вызвала раздражение у миссис Левин. Что теперь не так? — донимала она меня, а я не сумела ей объяснить.) Но в этот вечер меня занимало совсем другое.

— Можно мне пойти посмотреть на курочек?

— Как только напишешь письмо, — сказала мама.

Я ёрзала на стуле, тяжко вздыхала, ныла, что не знаю, о чем писать, что-то строчила, ставила кляксы и плакала оттого, что придется все начинать заново. Так прошел первый вечер.

Наутро мы с отцом сели в кухне завтракать, а мама тем временем приводила в порядок столовую, мыла посуду, убирала на место щетки, совок и мастику. Отец позвал меня кормить кур, но я решила пойти с мамой — она собралась, по ее выражению, «навести лоск» в гостиной. Парадная часть дома мне нравилась.

В гостиной никого, кроме нас, не было. Я подошла к эркерному окну; из него открывался вид на лужайку, за ней сквозь рядок тернослива вдали круглились холмы. На инкрустированном столике стояла огромная ваза с розами. Я опустилась на колени, чтобы полюбоваться своим золотисто-зеленым отражением в ее бронзовом боку:

лицо неестественно вытянулось, посреди торчал исполинский нос.

— Смотри не трогай цветы, — сказала мама. Стоя на коленях, она выгребала из камина золу.

Я на цыпочках прошла по ковру, зарылась лицом в букет душистого горошка и в лакированной крышке рояля увидела красивое, в пастельных тонах наше отражение — мое и горошка.

— Не трогай рояль, — предупредила мама, обметая каминную полку.

Я села в кресло миссис Уиллоби, задрала вверх ноги, чтобы не мешать маме пылесосить, и стала водить пальцами по узорчатому шелку и деревянной резьбе, воображая себя младшей дочерью миссис Уиллоби.

— Можно позвонить в колокольчик, которым вызывают слуг?

Конечно, нет, отрезала мама и предложила мне сходить в сад поискать отца, но я сказала, что хочу пойти с ней наверх.

Поднявшись в спальню мистера и миссис Уиллоби, я стала из окна наблюдать за отцом. Он открыл калитку и вышел на луговину. К нему тут же сбежалось несметное множество кур. Истерически хлопая крыльями, обезумевшие от счастья хохлатки облепили его ноги. Отец ступал

осторожно, приподняв руку с ведерком, а другой рукой бережно отстраняя птиц.

— Вон он, — сказала я.

Мама застилала постель.

— Кто?

— Папа.

Мама подошла ко мне, глянула и заулыбалась.

— А почему *он* никогда не вскакивает, когда звенит звонок?

— Потому что всегда вскакиваю я… Я знаю, что им нужно. Лора, детка! Нам с тобой надо поговорить.

Я чувствовала на себе ее взгляд, но разговаривать не хотела. Я знала, на чьей я стороне.

— Пойми, прошу тебя: работа мне не в тягость. Я не люблю сидеть без дела, мне нравится работать. Правда-правда. А папа — человек не очень сильный.

— Он же сейчас не болеет, — заметила я.

— Да, ложиться в больницу ему не надо, но сил у него мало. Он никогда не чувствует себя совсем здоровым и постоянно опасается заболеть снова.

— А вон миссис Уиллоби, в соломенной шляпке, — перебила я маму, но она уже не могла остановиться.

— Я все думаю: может, я не права, что взвалила

все на себя; тогда, в Австрии, я не стала вмешиваться, и он приложил все силы, чтобы посадить тебя на тот детский поезд. Ведь это он ходил и в Комитет, и в консульство, и в эмиграционное ведомство. И в конце концов все-таки своего добился. Я еще удивлялась: он давно не был таким энергичным. Даже когда тебя увели в вокзал, куда нас не пускали, он до рассвета простоял на перроне, пока нам не сообщили, что поезд ушел. Но едва мы добрались до дому, он буквально рухнул, и знаешь, почему? Слишком велико было напряжение. Вот тогда я и начала брать все на себя; и даже когда ему вроде бы становится лучше, мне проще и быстрее справиться самой. Это вошло в привычку, но я не исключаю, что для него это — медвежья услуга.

Я не сводила глаз с миссис Уиллоби; она шла вдоль розария с корзиной и садовыми ножницами в руках.

— Думаешь, мне не надо тебе это рассказывать? Но ты скоро уедешь, и мне опять не с кем будет поговорить. Ты же мой дружок, правда, Лора?

— Да, — ответила я. — Можно мне пойти наверх, почитать книжку?

— Лора, пожалуйста, постарайся проводить какое-то время с папой. Он тебя очень любит.

Но слушать про папину любовь ко мне не хотелось, моя к нему любовь была слишком легковесной.

— Попроси его рассказать тебе какую-нибудь историю.

— Потом, — буркнула я.

— Ладно, — сказала мама. — Иди наверх и читай. Когда придет время обедать, я тебя позову.

Глядя в чердачное окно, я наблюдала за отцом. Миссис Уиллоби велела ему оставить ведерко с кормом, вручила корзину со свежесрезанными розами и садовые ножницы и велела идти за ней в дом. От сознания, что я не очень сильно люблю отца, мне стало его жаль: одиноко ему, наверно, мы-то с мамой друзья, а он как бы отдельно, сам по себе. Я попыталась представить, каково это — всегда чувствовать себя не совсем здоровой. Вспомнился день, когда меня рвало в доме миссис Левин; я старалась заново пережить те ощущения: что, если эта гадость длится целый день, потом еще… Неужели отец изо дня в день испытывает *такое*? В то летнее утро я пристально наблюдала за ним, за его походкой, и многое поняла: он шагал осторожно, приоткрыв рот и глядя прямо перед собой, сосредоточившись на том, чтобы не споткнуться или сбиться с пути.

Казалось, он опасается нового приступа дурноты и бережет выпавшие ему минуты хорошего самочувствия.

Отец и миссис Уиллоби скрылись под навесом веранды. Я дала себе слово, что уже днем выкажу папе свою любовь и обязательно попрошу рассказать мне какую-нибудь историю, но перед обедом он почувствовал сильнейшую слабость, почти полное бессилие; едва дотащился до спальни и рухнул на кровать.

Мы с мамой обедали вдвоем в залитой солнцем кухне. Насвистывая себе под нос, мама убрала со стола и отнесла посуду в мойку. Посудомоечная тоже была полна света. Серебристые краны сверкали. Вздымавшийся над раковинами пар, похожий на сияющий туман, окутывал маму, и от этого австрийская песенка, которую она насвистывала, звучала неожиданно мило и весело. Я видела, что работа ей и правда не в тягость.

Потом мы с ней сели за стол и предались мечтам: когда-нибудь мы опять будем все вместе жить в своей собственной квартире. Тут сверху спустился отец — ему стало лучше. Позвонила миссис Уиллоби, требуя чаю, затем мама стала готовить ужин.

В воскресенье у родителей был выходной. Отцу

хотелось показать мне Меллбридж; до городка было всего полчаса езды на автобусе. Но когда мы втроем, разодетые в лучшее, что сумели привезти из Вены, спустились вниз, на улице заморосил дождик.

— Автобусная остановка на главной дороге, до нее идти двадцать пять минут, — заметила мама. — Ну-с, как быть?

Отец молчал, надеясь, что мама сама примет решение и даст ответ на собственный вопрос.

— Впрочем, мы вполне можем успеть на рейс в три пятнадцать, тогда и спешить ни к чему, — заключила мама.

Автобуса пришлось ждать не больше минуты, и, когда мы уже сидели в салоне, дождь припустил всерьез. Мы чувствовали себя везунчиками и почти не сомневались, что не успеем мы доехать до центра, как погода наладится; но вышло, увы, наоборот. По воскресеньям кинотеатры не работают, предупредила мама, но можно пройтись по Главной улице, заглянуть в какое-нибудь кафе и выпить по чашечке горячего кофе. На улицах не было ни души. Дождь лил, не переставая.

— Англичане носа из дома не высовывают, — заметила я.

Чуть поодаль от Главной улицы мы наткну-

лись на маленькое кафе. Внутри оказалось очень мило. На столах белоснежные скатерти. В камине пылает огонь. И — ни единого посетителя. Официантка в черном платье, белом передничке. Мама ей улыбнулась, но на лице под белой наколкой кислая мина словно застыла навсегда. Кофе там не подавали, и мы взяли традиционный английский чай, то есть чай с ячменными лепешками и джемом. Когда официантка была поблизости, мы громко говорили по-английски, но едва она отошла, мы стали перешептываться на немецком. Официантка стояла в сторонке, благовоспитанно вперив взор в пространство. Мама время от времени на нее посматривала.

— Наверно, им не разрешают садиться в присутствии посетителей, — заметила она.

Мы попросили чек, надели свои отсыревшие пальто и направились к выходу.

— Давайте постоим в дверях, подумаем, как быть дальше, — предложила мама. — Ближайший обратный автобус придет только в пять сорок.

На вопрос, не промочил ли он ноги, отец неуверенно сказал:

— Сам не пойму.

— Зато я точно знаю: промочила, — вставила я.

— А потом еще идти пешком до дома, — задумчиво продолжала мама. — Такси, небось, стоит не один фунт. Вот что мы сейчас сделаем. Пойдем назад к автобусной остановке. Там есть навес, лавочка, можно посидеть. Сыграем в двадцать вопросов. Устал, Иго, да? — обратилась она к отцу. Он согнулся в три погибели и еле волочил ноги, того и гляди, споткнется и упадет.

— Пожалуй, устал изрядно, — пробормотал он.

— Ничего, осталось совсем немножко. Мы уже почти дошли.

— Докуда? — в один голос спросили мы с папой, оглядываясь по сторонам.

— Пока что *досюда*, — ответила мама. — А скоро дойдем и *дотуда*.

Она шутила всю дорогу, то и дело поглядывая на мужа. Мне было ясно: она за него боится.

Вернувшись в Иллфорд-хаус, мы поднялись к себе. В спальне было сыро, и мы забрались под одеяла. Отец почти сразу заснул. Мы с мамой делали вид, что нам выпало забавное приключение. Шепотом строили невероятные планы на будущее: вдруг в следующем году мне повезет, и я переберусь на юг Англии, поближе к родителям, — тогда мы сможем проводить свободное время вместе. Главное, удастся ли найти для меня

такую же хорошую семью, как ливерпульские Левины?

Мисс Джоанн раздвинула занавески у входа.

— Ой, я не знала, что тут кто-то есть! — воскликнула она и прошла через нашу комнату дальше, в соседнюю кладовку. Проснулся отец и сел на кровати. Мисс Джоанн с полчаса рылась в кладовке. Пару раз выходила с коробками в руках. Я внимательно наблюдала за ней, но так и не поняла, заметила она меня вообще или нет.

В понедельник пришло письмо от Левинов. Судя по всему, дяде Рубену грозит очередная операция глаз. Миссис Левин писала, что сильно этим расстроена, чувствует себя неважно из-за боли в боку, но ее очень радует, что я так замечательно провожу время с родителями.

Мама заставила меня немедленно сесть за ответное письмо и велела обязательно послать привет и лучшие пожелания бедному дяде Рубену.

— Но ни слова о том, что ты от них уезжаешь, — сказала мама. — Не годится беспокоить людей в такое тяжелое время.

В конце недели пришло еще одно письмо. С дядей Рубеном самое тяжкое пока что позади, но теперь слегла двоюродная сестра миссис Ле-

вин, причем ситуация очень серьезная, и миссис Левин, невзирая на боль в боку, почти каждый день ездит ухаживать за ней. Если мои родители захотят подержать меня у себя подальше, миссис Левин возражать не станет. Она не сомневается, что моим родителям очень грустно оттого, что их дочка живет чуть ли не на другом конце Англии. Вся их семья всегда будет тепло вспоминать меня.

Тут только до нас дошло, что мне уже не суждено вернуться в Ливерпуль. Следовательно, после четверга, когда завершалось мое пребывание в Иллфорд-хаусе, жить мне будет негде. Отец заплакал. Мама взяла письмо миссис Левин и отправилась к миссис Уиллоби. Миссис Уиллоби позвонила викарию, и он дал ей адрес комитета помощи беженцам из Европы, организованного прихожанками Меллбриджа. На следующий день позвонила председательница комитета: она подыскала мне в Меллбридже хорошую семью по фамилии Хупер, они готовы меня принять, если мои родители не против, что я буду жить у христиан. Мои родители не возражали. Как же нам повезло, твердили мы хором, ведь именно об этом мы и мечтали! Выходит, все к лучшему.

В четверг родители повезли меня в новую при-

емную семью.

На улице, где жили Хуперы, дома были одинаковые: обязательно на две семьи и все сложены из оранжевого кирпича; между ними узенькая дорожка к задней двери. Перед каждым из спаренных домов — лужайка площадью в квадратный метр, окруженная аккуратно подстриженной бирючиной; другая дорожка, выложенная каменной плиткой, ведет от маленькой железной калитки в заборе к крылечку с беленькой лесенкой в три ступеньки и к входной двери. За время, что я прожила у Хуперов, парадной дверью не пользовались ни разу; единственным исключением стал тот четверг, в который приехали мы втроем.

Дверь нам открыла миссис Хупер. Это была крупная рыхлая женщина с прекрасными черными глазами. Ей было, наверно, лет тридцать пять-тридцать шесть, чуть больше, чем моей матери. Верхняя губа у миссис Хупер западала из-за отсутствия зубов.

— Здравствуйте, — сказала она, — как поживаете? Я очень рад-д-д-д…

Время остановилось. Мы замерли на верхней ступеньке, завороженно глядя, как язык миссис Купер прихотливо вьется у неба, а лицо судорож-

но подергивается.

— …вас видет-т-т-ть.

Вслед за ней мы вошли в крошечную парадную гостиную; холодная комната казалась нежилой. Таких синих обоев я еще не видела. Миссис Хупер усадила моих родителей на диванчик и кресло явно из одного гарнитура. Сама, смущенно улыбаясь и прикрывая уголком фартука левую руку, присела на табурет возле пианино. Я огляделась. В эркерной нише перед окном стояла закрытая конторка, на ней в затейливой рамке — увеличенная фотография двух маленьких девочек в белых платьицах; обе щурятся от солнца.

Мама с вожделением смотрела на пианино. Сверху на нем лежала кружевная дорожка и стояла фарфоровая ваза с бумажными разами. Мама спросила, играет ли миссис Хупер на фортепьяно. Да, в детстве играла, сказала миссис Хупер и поинтересовалась у мамы, играет ли она. Уже год не играла, с тех пор как нацисты забрали «Блютнер», ответила мама.

Она встала, шагнула к пианино, коснулась пальцами клавиш и сыграла мажорный аккорд, затем разложенный минорный аккорд.

— Ах, как вы прекрасно играете! — восхитилась миссис Хупер. Она силой усадила маму за

инструмент. — Вы же из Вены приехали. А вальс можете сыграть?

Мама покачала головой:

— Не очень хорошо.

— Тогда что-нибудь Шопена. Вы, конечно, знаете, вот это: тра-ля-ля, т-т-тра-ля-ля-ля-ля, т-т-т-т-тра-ля-ля…

И мама сыграла для миссис Хупер «Полонез ля-мажор». Пианино бренчало, точно старый разбитый инструмент из какого-нибудь гостиничного бара; миссис Хупер расплакалась. Изумительная музыка, твердила она.

Послышался собачий лай, затем шаги по дорожке. Наверно, Гвенда идет, сказала миссис Хупер, и вскоре на пороге гостиной появилась девочка в белой блузке и некрасивом черном сарафане с юбкой в складку — обычной английской школьной форме для девочек. У нее было умное, тонкое, исхудалое лицо. Она внимательно разглядывала меня. Я тоже не спускала с нее глаз.

Тем временем между миссис Хупер и моей матерью завязался разговор. Мама поблагодарила миссис Хупер за то, что она приютила меня. Миссис Хупер несколько раз выразила сожаление, что мистер Хупер придет позже и не успеет познакомиться с моими родителями. Вдруг снова

послышался собачий лай. Гвенда взглянула на мать и проронила одно только слово: «Алберт». Шумно хлопнули двери черного хода, дверь в гостиную распахнулась, и в проеме на миг замер светловолосый человек с прыщавым лицом. Мне он показался взрослым. Скорее всего, ему было лет семнадцать-восемнадцать. Он удивленно посмотрел на сидящих в гостиной посторонних людей, попятился и закрыл за собой дверь.

Миссис Хупер извинилась, поспешно вышла, но вскоре вернулась.

— Сходи, поговори с ним, — обратилась она к Гвенде и, повернувшись к нам, сказала:

— Вы уж простите Алберта. Он говорит, что перепачкался на работе и не может показаться на люди. Застенчив очень, понимаете, но мальчик славный. У него прекрасная работа на газовом заводе, ему хорошо платят.

Было заметно, что она вслушивается в неистовый шепот и злобный змеиный шип, доносившиеся из заднего коридора, одновременно стараясь заглушить эти звуки. Вошла Гвенда, потирая плечо.

— Что он сделал? — спросила миссис Хупер.

— Ничего, — ответила Гвенда и села. Подбородок у нее дрожал, глаза медленно наполнялись

слезами.

— Что он тебе сделал?

— Да ничего, мам!

Моя мама сказала, что пора идти, а то они с мужем не успеют на автобус до Иллфорда. Взяв руки миссис Хупер в свои, она выразила сожаление, что слишком плохо владеет английским и не может достойно выразить свою благодарность миссис Хупер. Миссис Хупер попросила меня проводить родителей через парадную дверь.

— Понимаешь, он сейчас моется, — добавила она, мотнув головой в сторону задней части дома.

Я попрощалась с родителями за калиткой. Папа тоненько скулил, роняя слезы. У мамы лицо опять разом осунулось, огромные глаза покраснели, губы пересохли. Отец сказал, что ему нездоровится, и мама повела его к остановке. Помню, я глядела им вслед и видела широкую, плотную, сутулую спину отца, которого почти волоком тащила моя миниатюрная полненькая мама. Он опирался на ее руку, а она поддерживала его и одновременно с нежностью заглядывала ему в лицо, отчего казалось, будто это он ее поддерживает.

Глава пятая
Меллбридж: Алберт

Я вошла в свой новый дом, закрыла входную дверь, но из прихожей не двинулась. Дверь в заднюю комнату, которая служила и кухней, была распахнута. Может, мне туда? — подумала я и заглянула внутрь: посреди комнаты стоял квадратный стол таких гигантских размеров, что для стульев почти не оставалось места, у одной стены высился буфет с посудой, в стене напротив горел очаг. За оконным стеклом с лаем прыгал большой желтый пес. Гвенда и миссис Хупер поочередно взывали к закрытой двери посудомоечной, служившей одновременно и ванной комнатой.

— Перестань, Алберт, — упрашивала миссис Хупер. — Ровер рвется в дом, и мне нужно выйти.

— Алберт, открой! — вторила ей Гвенда. — Маме нужно в уборную. Ну, кончай! Слышишь, Алберт?

— А, вот и ты, — заметив меня, сказала миссис Хупер. — Напомни, как тебя зовут?

— Лора, — ответила я.

— Хлора? Гм… Ну, ступай наверх. Гвенда,

проводи ее. Смотрите, не трогайте там вещи Алберта. — И, словно врач у постели тяжелого больного, полушепотом добавила: — Он чем-то расстроен, понятно?

* * *

Гвенде было четырнадцать лет, на три года больше, чем мне.

Пока мы шли наверх по узкой лестнице, она спросила:

— Твои мама с папой работают прислугой, да?

— Да, — подтвердила я. — Но в Вене папа был главным бухгалтером банка; мама играет на фортепьяно. Она училась в Венской музыкальной академии. А твой отец кем работает?

— Папа — кочегар на железной дороге, он член профсоюза.

— Надо же. А Алберт, он тоже с вами живет?

— Да. Три года назад родители взяли его из сиротского приюта и усыновили. Алберт неплохой. Он собирается жениться на Дон. Дон — моя сестра.

— А сколько ей?

— Шестнадцать. Вон там комната мамы с папой.

Спальня мистера и миссис Хупер находилась

в передней части дома, над гостиной. Комната Гвенды и Дон — над кухней; а комнатка над посудомоечной предназначалась мне. Комнатушка была узенькая, как коридор; пол покрыт линолеумом; из обстановки только шкаф и кровать. (Помнится, в те годы мне часто снились квартиры с просторными комнатами, размером с залы в венском Kunst historisches Museum[27], и эти залы возникали передо мной один за другим.) Я подошла к окну; из него был виден задний двор и узкий, шириной в полдома, садик. Вдоль него шла мощенная каменными плитками дорожка длиной метров в десять. В дальнем конце сада, за изгородью из буйно разросшейся бирючины я в густеющих сумерках разглядела открытое, с небольшим уклоном поле.

— А там что?

— Игровая площадка школы нашего графства, — сказала Гвенда. — Там учатся здешние девчонки-задаваки. Форсят в своей зеленой форме, на всех смотрят свысока.

— А ты куда ходишь?

— В центральную школу, она у вокзала. Мама говорит, когда начнется учебный год, ты пойдешь

---

[27] Примечания: 27
Музей истории искусств (*нем.*).

со мной.

— А почему ты не ходишь в школу графства?

— Я?! Еще чего! — возмутилась Гвенда. — Слышала бы ты, как они говорят, кривляки несчастные!

Я прикусила язык, но про себя твердо решила, что пойду в школу задавак и буду разговаривать, как они.

— Раньше это была комната Алберта. Теперь он будет ночевать в гостиной на диване. Ты давай распаковывай вещи, а я кое-что из его пожитков снесу вниз.

Гвенда вышла. Я занялась своими платьями: доставала их из чемодана и вешала в шкаф, но мне не терпелось закончить эту канитель — интересно бы знать, что делается там, внизу, а я тут копаюсь. Снизу несся собачий лай, слышны были чьи-то шаги по дорожке. Хлопали двери. Сквозь тонкий настил пола доносились голоса и танцевальная музыка — наверно, по радио. Я достала из чемодана альбом для рисования, цветные карандаши и, чувствуя себя гораздо увереннее, спустилась в кухню.

Там собралось все семейство. Горел свет. Из включенного на полную мощность приемника раздавалась песенка «Скрип-скрип-скрип», да так

громко, что я ошарашенно заморгала. За столом сидела девушка и вылавливала из жестяной банки мандариновые дольки. Она немножко походила на Гвенду, только подбородок у нее был длинноват и все черты лица крупнее и массивней. По моде того года волосы у нее над висками были закручены в виде рожек, остальные свободно висели за спиной; но в ту минуту она мотала головой, уклоняясь от Алберта, а он, стоя позади, норовил ухватить ее волосы в кулак.

— Ой, ну отстань, АЛБЕРТ! Привет, — бросила она, пристально глянув на меня.

Алберт злобно смотрел поверх моей головы. Потом прошел вокруг стола к камину, взял стул, сел и откинулся на двух ножках назад так далеко, что все невольно ахнули. А он взгромоздил ноги на стол.

Дверь в посудомоечную была открыта, там незнакомый мужчина расстегивал рубаху без воротничка. Лицо у него было черное от сажи и грязи. Когда он улыбался, на черном лице сверкали белые зубы, между передними резцами зияла небольшая щелка, придававшая ему дружелюбное выражение. Он мне понравился. Казалось, он смотрит на меня с улыбкой.

— Здравствуй, — сказал он.

— Ну-ка, Гвенда, подай папе полотенце; он помоется, и я покормлю его ужином.

— Как я подам? — возразила Гвенда. — Алберта же не обойти.

Алберт перегородил проход: головой он уперся в каминную полку, а ноги положил на стол.

— Пускай себе сидит, — сказала миссис Хупер, — а ты зайди с другой стороны. Дон, встань, пропусти Гвенду.

— Ой, ну, достали, — буркнула Дон. Обойдя стол, она приглушила приемник. Какое блаженство! Алберт протянул руку, и приемник заорал громче прежнего.

Миссис Хупер уже накрывала ужин мистеру Хуперу. Он вышел из ванной в свежей синей рубашке в белую полоску; лицо чисто вымыто, мокрые волосы приглажены, из закатанных рукавов торчат загорелые руки. Миссис Хупер поставила перед ним тарелку с мясом, картошкой, зеленым салатом и подливкой; сама села рядом, положила руки на стол и, не сводя с него глаз, стала рассказывать, как прошел день: как моя мать изумительно играла на пианино, как Алберт не пожелал войти в залу, даже поздороваться не захотел.

— Ох, Алберт! — вставила Дон. — Ну, ты и по-

ганец.

— Оставь его в покое, — сказала миссис Хупер.

— Пап, ты только глянь, — обратилась к отцу Дон. — Ноги прямо на скатерть впер.

Но мистер Хупер молча утер рот салфеткой, пересел в кресло, стоявшее между окном и очагом, и, улыбнувшись мне, отгородился от домочадцев газетой.

* * *

Алберт наверняка сам понимал, что вел себя погано. Следующим вечером он пришел с работы с подарком, заявив, что купил его с получки. Это оказалась игра, с карточками и картинками. Она похожа на лото, начал объяснять Алберт, но мистер Хупер уже сел ужинать, я тоже разложила на столе свои рисовальные принадлежности и взялась за набросок деревни в перспективе — с улицами, домами, машинами… Рисованием в перспективе я занималась давно и уже изрядно набила руку. Понаблюдав за мной, Гвенда сказала, что тоже хочет рисовать. Я дала ей лист бумаги и несколько цветных карандашей — с возвратом.

— Ты припозднился, — заметила миссис Хупер Алберту.

— Так за игрой же пришлось в город тащиться!

— Ладно. Ступай в ванную, обмойся, а я соберу тебе ужинать.

Алберт в ответ забубнил что-то себе под нос; незачем сквернословить, сказала миссис Хупер. Алберт покрутил ручки приемника, отыскал танцевальную музыку и до отказа вывернул регулятор громкости — аж посуда на столе зазвенела, а сам, бахнув дверью, скрылся в посудомоечной.

— Расстроился, — прошептала миссис Хупер.

Выходки Алберта глубоко поразили меня; я опасалась, что каким-то образом их и спровоцировала. Когда он снова появился в кухне — раскрасневшийся после мытья, с торчащими над низким лбом желтыми патлами, я не смела поднять глаза, но он, усевшись напротив нас с Гвендой, стал кротко уплетать свой ужин.

Я нарисовала еще одну картинку. На этой я изобразила дома, улицы, церковь со шпилем и даже деревенскую площадь. Гвенда рисовала дом и забор. Дон, стоя рядом, внимательно наблюдала. Алберт попросил ее посидеть с ним, но она отказалась, заявив, что хочет рисовать. Мне стало обидно за Алберта. Если бы он позвал меня, я бы обязательно подсела к нему. Доев ужин, Алберт подошел сзади к Дон, стал гладить ее по волосам

и всячески отвлекать.

— Ой, отцепись! — не выдержала она. — Па-ап? Скажи Алберту, пусть отстанет!

— Алберт, отстань от Дон, — скомандовал из кресла мистер Хупер.

— А что я делаю-то? Скажи ей, пусть она от меня отстанет.

— Дон, отстань от Алберта, — сказал мистер Хупер и вновь углубился в газету.

Я понимала, что Алберту тоже хочется порисовать, сердце в груди гулко забилось, я готова была предложить ему бумагу и карандаши, но мешали робость и страх, а Алберт стеснялся попросить.

— Эти закорючки вон там чего обозначают? — противным голосом спросил он Гвенду.

— Это птицы, сидят на крыше дома, — ответила Гвенда.

— Птицы, значит. Ага.

— Завтра играет команда Алберта, а он будет стоять в воротах, да, Алберт?

— Ага, — снова сказал Алберт, отошел от нас и сел, но ноги на стол не положил.

* * *

Назавтра у мистера Хупера был выходной, и он с утра уехал на свой участок, где выращивал

овощи для семьи, а остальные домочадцы отправились на футбольное поле и под моросящим дождем простояли весь матч. Команда Алберта — он был вратарем — из-за него продула.

— Он так хорошо играет, — говорила миссис Хупер. — Земля только очень скользкая, трудно ему.

Дон, как подобает примерной девушке, осталась с матерью за боковой линией, а мы с Гвендой, чтобы поддержать Алберта, толклись позади ворот. Каждый раз, когда противник бил по воротам, он прыгал навстречу мячу, пластаясь в воздухе, и мяч летел под ним в сетку. Страдая от очередной неудачи, мы бежали к Алберту, чтобы помочь счистить грязь. Пока Гвенда протирала ему носовым платочком заляпанные глаза, я стояла рядом и держала ее сумочку.

— Отличный был прыжок, — утешали мы Алберта. — Но мяч-то был мертвый, такой в жизни не взять.

Потом мы все вместе шли домой, Алберт шагал в середине.

— Ты здорово играл, — хором уверяли мы.

Дон держала его под руку, с восхищением глядя ему в лицо.

— А в ихней команде те еще игроки! — гово-

рила она. — Вообще не соображали, что они на поле делают.

Вот удачный момент добиться благосклонности Алберта!

— А верзилы-то какие! — вставила я.

— Тоже мне верзилы! — взвилась Дон. — Алберт сам не коротышка.

— До чего ж земля сегодня скользкая! — воскликала миссис Хупер.

Но Алберт сознавал, что во вратари он ростом не вышел и матч запорол. Остаток дня он пытался нас веселить. Мы с Гвендой пошли наверх в мою комнату. Гвенда стояла у окна спиной к двери, как вдруг на лестнице раздался резкий оглушительный стук. Гвенда так и подскочила. Тут в дверях возникла огромная безголовая тень с воздетыми руками. Гвенда покраснела, побелела, задрожала и разразилась слезами. Я тоже заплакала, причем ни с того ни с сего, ведь я сразу поняла, что ничего особенно страшного в видении нет — все тот же Алберт, а голову он спрятал под надетой задом наперед курткой. Когда он вырос на пороге моей комнатки, рыча и оглушительно, как бичом, щелкая кожаным поясом, у меня даже сердце не екнуло. Я ревела просто за компанию с Гвендой. Прибежала миссис Хупер и ужаснулась:

— Ох, Алберт, ты только взгляни, что ты натворил!

Присев на край моей кровати, она обхватила нас руками, привлекла к себе и стала качать на своей мягкой груди. Мы с Гвендой завыли в голос.

Алберт попятился из комнаты, чертыхаясь и бормоча, что просто хотел пошутить.

— Не смей богохульничать в нашем доме! — вскричала миссис Хупер.

Ласково нашептывая слова утешения, она повела нас вниз, и мы продемонстрировали Алберту свои заплаканные физиономии. Он укрылся в посудомоечной и расхаживал там из угла в угол. Потом ушел и вернулся с новой игрой, надеясь нас ею увлечь, но не тут-то было: мы слишком расстроены, заявили мы с Гвендой, так что ради Бога убери свою игру.

Помню нижнюю полку кухонного буфета, на которой справа лежали все игры Алберта. Я упорно надеялась, что однажды вечерком вся семья расположится вокруг стола и мы во что-нибудь сыграем, но мистер Хупер, прихватив газету, неизменно пересаживался в свое кресло, а миссис Хупер, наводя порядок, сновала из кухни в посудомоечную и обратно. Мы с Гвендой

устраивались за столом рисовать. Дон вздорила с Албертом, а он крутил ручки приемника, ловя в эфире танцевальную музыку. Его приемник был для меня сущей напастью, за одним-единственным исключением: музыкальная пьеса без слов, и называлась она «В гостиной восемнадцатого века». Как-то в четверг приехали мои родители проведать дочку, и я весь день ждала, что ее передадут, очень уж хотелось, чтобы мама ее услышала.

— Вот! — наконец закричала я не своим голосом. — Слушай, слушай! Нравится тебе? Нравится?

— *Боже мой!* — воскликнула мама. — Это же Моцарт, соната до мажор для фортепьяно. Я сама ее когда-то играла! Господи, что они с ней сделали!

— Ужас какой! — поддержала я маму, про себя радуясь, что по счастливой случайности я не успела признаться, какой красивой, на редкость благозвучной и приятной показалась мне эта музыка.

Когда мы пили чай, к нам присоединился Альберт. В присутствии моих родителей он сидел пасмурный, смущенно потупив взгляд, и не проронил ни словечка, зато потом, когда они

уехали, пустился в пляс вокруг стола, насмешливо напевая фальцетом мою любимую мелодию. Наблюдать, как сутулый приземистый Алберт выписывает кривоватыми ногами па менуэта, было неприятно, я отвела глаза — так стараешься не смотреть на человека, попавшего в неловкое положение.

Я предпочитала не замечать Алберта. Но при этом внимательно наблюдала за Гвендой: она как ни в чем не бывало разговаривала с ним, спокойно глядя на его постоянно воспаленную кожу под носом и отвратительные пурпурно-розовые прыщи, усеявшие юношескую физиономию. Как ей это удается? Я терялась в догадках.

Однажды мы с ним случайно встретились у нашей калитки; деваться было некуда, пришлось вместе идти по узенькой дорожке к задней двери. Я изо всех сил прижималась к стене дома, избегая малейшего прикосновения и в то же время ощущая тепло, исходившее от его тела. Не закрывая от смущения рта, я несла какую-то чушь, очень напоминавшую заигрывание.

— Слышишь, как пес заливается? Знает, что мы идем. Интересно, он уже понял, что это ты и я?

Алберт не проронил ни слова. У задней двери возникла минутная неловкость: мы оба одновре-

менно потянулись к дверной ручке, и наши глаза непроизвольно встретились. Прежде чем отвести взгляд, я успела изумиться: вместо ожидаемой неподдельной ненависти — ведь из-за меня он лишился своей кровати и комнаты, — непроницаемая синева. Разобиженная, я направилась в кухню впереди Алберта. Вокруг тишина. В доме ни души. Осознав, что мы с Албертом оказались наедине, я пришла в ужас, пробормотала, что мне надо разобрать ящики комода, и помчалась наверх, в свою комнату.

Внизу завопил приемник. Я плюхнулась на кровать и дала волю фантазии: глядя Алберту прямо в лицо, я говорю: «Неужели тебе не понятно, что ты нравился бы всем гораздо больше, если бы лучше относился к людям и соблюдал приличия?» В моих мечтах Алберт преображался в благонравного молодого человека, прямо-таки джентльмена, — и всё благодаря мне.

Я сидела наверху, пока не услышала, что пришел мистер Хупер. Только тогда я спустилась на кухню. Украдкой посмотрела, какие у него глаза. Глаза оказались карие, а не чужие холодные глаза христианина, как у Алберта. Я знала, что мистер Хупер тоже христианин, но хотя бы не голубоглазый христианин. По сути, мистер Хупер

и Гвенда — евреи; я признала их своими.

Гвенда мне ужасно нравилась. Сколько я помню, мы поссорились только раз, когда вместе рисовали; я тогда впервые проявила деловую сметку. У Гвенды уже был свой набор цветных карандашей, он отличался от моего, и мы разработали систему взаимообмена: если она брала у меня, к примеру, розовый карандаш, я брала у нее голубой. Но мой розовый карандаш, которым я никогда не пользовалась, был длинный, а ее голубой требовался часто и поэтому был короткий; чтобы компенсировать эту разницу, я брала у нее еще и зеленый. Затруднение возникало, если она требовала вернуть ей голубой, когда мне все еще был нужен зеленый: тогда она должна была дать мне вместо голубого другой цветной карандаш той же длины. Мы забыли, какой карандаш чей, слово за слово, и вспыхнула ссора. Не помню, кому из нас пришла в голову блестящая мысль объединить наши ресурсы и пользоваться ими сообща по мере надобности. Раздобыв большую коробку, мы сложили в нее все карандаши и остаток вечера ходили по дому в обнимку. Но на следующий день нас ждал неприятный сюрприз: мы обе одновременно пожелали раскрашивать небо, и дело снова дошло до взаимных обид.

Все же у меня осталось впечатление, что мы с Гвендой обходились друг с другом по-доброму и со временем стали закадычными подругами. Стоило одной заплакать, другая немедленно разражалась слезами.

Однажды, накануне моей воскресной поездки к родителям, Алберт испортил рисунок, который я хотела привезти им в подарок. Это был вид деревни, с улицами, домами, церковными шпилями и площадью перед храмом. Я даже нарисовала гуляющих по площади людей и оставила картину на столе, тыльной стороной кверху: хвастаться открыто было совестно, но очень уж хотелось, чтобы Хуперы невзначай ее увидели и пришли в восторг. Возможно, Алберт не замышлял ничего дурного, просто схватил листок, чтобы обтереть ботинки. Узнав про злосчастную судьбу моего творения, я подняла рев. Тут же примчалась Гвенда и, услышав горестный рассказ, заплакала так искренне, что я задумалась: неужели все так плохо? В тот день Алберт принес домой «Монополию».

* * *

К концу лета миссис Хупер повела Дон, Гвенду и меня в штаб противовоздушной обороны, что-

бы подобрать нам противогазы. Мы напялили черные уродливые респираторы с плоскими рыльцами и, поглядев друг на друга, ужаснулись. Неужто и я — такое же страховидное чудище, думал каждый. Для малышей имелись противогазы в виде Микки Мауса, с синими рыльцами и болтающимися розовыми ушками, но детей не проведешь. Когда на них натягивали дурно пахнущую резиновую маску, они от страха поднимали дикий рев. Все это произвело на миссис Хупер тяжелое впечатление, на обратном пути она допытывалась у меня, неужели и вправду начнется война. Нет, твердо говорила я, если до Гитлера дойдет, что союзники всерьез намерены дать отпор, он ни за что не решится начать войну. Миссис Хупер заметно успокоилась. Уж кто-кто, а я-то должна знать, что к чему, все-таки я приехала *оттуда*.

Третьего сентября была объявлена война; мы услышали об этом по радио. У миссис Хупер началась истерика, дрожа всем телом, она отправила нас с Гвендой за мистером Хупером — он работал на огородном участке, — наказав как можно быстрее привести его домой. Всю дорогу мы бежали бегом.

— Война! — закричали мы, едва завидев его

на узкой полоске земли, засаженной рядами помидоров, моркови, салата и бобов. Он сидел на корточках возле сложенной из листов гофрированного железа хибарки с инструментами. — Мама велела тебе сейчас же идти домой, война! — выпалила Гвенда, от ужаса едва переводя ДУХ.

Мистер Хупер выпрямился.

— Чарли! — крикнул он соседу, половшему грядки в дальнем конце своего огорода. — Война!

— Чего? — крикнул Чарли и поднес ладонь к уху, показывая, что не расслышал новости.

Мистер Хупер сложил ладони рупором и гаркнул:

— ВОЙНА!

— ВОТ ОНО ЧТО! — проорал в ответ Чарли и закивал головой, показывая, что все понял, и продолжил полоть.

Мистер Хупер велел нам бежать обратно, а ему нужно собрать бобы, пока не полил дождь; он придет чуть позже.

Не похоже, что пойдет дождь, говорили мы по дороге; к нашему удивлению, несмотря на войну, синее небо было по-прежнему ясным, стоявшее в зените солнце жарко припекало, мы неторопливо брели домой. Алберт уже вернулся, из приемника

лилась, как обычно, танцевальная музыка. Я приободрилась. Жизнь шла тем же чередом, что и в мирное время, разве только теперь, куда бы мы ни шли, надо было вешать на шею картонную коробку с противогазом.

Начался учебный год. В школу и обратно мы с Гвендой ходили вместе, хотя она была на два класса старше меня. В первое утро нас проверяли на вшивость. Я снисходительно позволила осмотреть мою голову: ясно же, что кого-кого, а меня проверять не надо. В этой школе одна учительница вела все предметы. Помнится, вскоре я пришла к заключению, что ничего нового мне от нее не услышать. Я занялась чтением. Днем читала под партой. Потом вечерами и ночью — в постели и даже завтракать выходила с книжкой.

— Чье это? — вопрошал Алберт, не глядя на меня и держа книгу двумя пальцами, будто нашел на своем стуле какую-то гадость.

Незадолго до рождественских каникул в центральной школе прошел экзамен, и мы с Гвендой выиграли стипендии на обучение в школе графства. Родители очень обрадовались столь счастливой перемене в моей судьбе — отец ронял слезы радости, мама немедленно сообщила о моих успехах миссис Уиллоби. Хуперы тоже

гордились, но на свой лад. Они заявили, что не допустят, чтобы Гвенда ходила в школу, где учатся дочки богатеньких родителей, которым они, Хуперы, не чета.

Я возмутилась и стала сочувствовать подружке, но, к моему изумлению, она была согласна с отцом и матерью:

— И мама, и Дон ходили в центральную.

— Неужели ты не хочешь учиться в школе получше твоей? — удивлялась я. — Там же преподают латынь, и после окончания можно поступить в университет. Мой дядя Пауль учился в Венском университете, пока нацисты его оттуда не вышвырнули. Он хотел стать врачом. Я тоже намерена поступать в университет.

— А я намерена выйти замуж, — заявила Гвенда. — Ни папа, ни Алберт не учились в университете, и что с того? Алберт работает на газовом заводе, а папу выбрали профоргом.

— Тебе Алберт нравится? — как бы между прочим спросила я.

— Да, — ответила Гвенда. — Он — член семьи.

Мы сидели в прогалине, которую сами прорезали в зарослях бирючины на задах сада. Я оглядывала земли, принадлежащие моей новой школе, — спортивные площадки, теннисные

корты, купы деревьев вокруг открытой эстрады и внушительные здания на холме. Мне не верилось, что Гвенда в самом деле смотрит на вещи иначе, чем я.

— Красиво же, скажи? — наседала я на Гвенду.

— Гадко это, — отрезала Гвенда. — Столько всего — для горсточки девчонок.

— Но ведь красиво, — гнула свое я. — И девочкам идет зеленая форма, правда же?

— Задаваки они, — бросила Гвенда. — А вот девчонки из центральной школы мне нравятся. Я с ними дружу.

— А я буду дружить с девочками из школы графства, — сказала я. Сидя рядом, бок о бок, мы соревновались в снобизме. — И кем же ты хочешь стать, если не намерена поступать в университет?

— В последнем классе пойду на курсы машинописи, буду работать секретаршей.

— А я стану художницей, — объявила я. — И еще буду путешествовать. До прихода Гитлера мой дядя Пауль путешествовал с друзьями по Италии. Заведу много-много друзей. Среди поэтов и прочих людей искусства.

Гвенда всей душой сопереживала моим мечтам, глаза ее восторженно сияли, а я унеслась в

свое восхитительное будущее, прихотливо меняя варианты, точно ребенок, которого привели в кондитерскую и дали полную волю. Очнулись мы, только когда миссис Хупер крикнула из посудомоечной, что пора мыть руки и ужинать.

— Ну, и кто же займется твоей новой формой? — спросила миссис Хупер. — Я понятия не имею, что там требуется. Школа-то необычная.

На следующий день, прихватив с собой противогаз, я отправилась к руководительнице Комитета по делам беженцев и все ей рассказала. Она заперла кабинет, и мы пошли по магазинам. В конце концов она вручила мне сарафан покроя «принцесс» и зеленый берет с эмблемой школы; кто за это все заплатил, я понятия не имела.

— Ага! — завидев меня, произнес Алберт. — Явилась не запылилась, мисс Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты.

Алберт меня терпеть не мог. На Рождество он подарил мне малюсенькую коробочку с игрой. Для остальных домочадцев он купил складной бильярдный стол с шарами, киями и мелом и все праздники играл на бильярде сам с собой.

На Рождество Дон исполнилось семнадцать, и Алберт подарил ей колечко. После чая он включил приемник на максимальную громкость,

стал позади стула, на котором сидела Дон, и начал ладонью отстукивать «Скрип-скрип-скрип» по грудям Дон. Миссис Хупер понесла чашки с блюдцами в посудомоечную, Гвенда ушла к себе. Я делала вид, что рисую, а сама завороженно смотрела на наглые Албертовы руки, черт-те что выделывавшие на груди Дон, а она даже не противилась. Ее руки спокойно лежали на коленях, правая бережно придерживала левую, на которой блестело кольцо. Дон терпела, глядя прямо перед собой.

* * *

С началом нового семестра меня зачислили в четвертый класс школы на холме позади дома Хуперов.

— Это наша новенькая, Лора. Поможешь ей освоиться? — попросила учительница девочку на первой парте и обратилась ко мне: — Кэтрин покажет тебе школу. Садись вот здесь, а ты, Дейзи, пересядь за пустую парту там, позади, хорошо?

— Ой, нет! — запротестовала Кэтрин. — Зачем это Дейзи пересаживаться?

Она надменно смотрела на меня холодными голубыми глазами.

Я заговорила с Кэтрин. Рассказала, что меня

перевели в школу графства, потому что я выиграла стипендию. Метнув взгляд на Дейзи, Кэтрин приложила растопыренную пятерню к носу. Это она не про меня, решила я, я же тут рядом стою.

— Я приехала из-за границы, — сказала я. — В Англии я уже ходила в еврейскую школу и к концу семестра стала лучшей ученицей в классе.

— Ну, что, нравится тебе в новой школе? — спросила мама в следующий четверг.

— Нравится! Очень даже нравится! — солгала я.

И принялась с восторгом описывать корты, лужайки, деревья и специальную комнату для занятий живописью, там даже мольберты есть.

— В новой школе я не сразу заводила друзей, — призналась мама.

— А у меня полно подружек, — уверенно заявила я; непереносимо было даже думать, что мама догадается: я не умею заводить друзей. Украдкой я пробралась в комнату Дон и Гвенды — у них на стене висело небольшое зеркало, — и стала разглядывать себя, пытаясь понять, какой меня видят посторонние. Я придирчиво смотрела в зеркало, снедаемая тревогой и неуемным желанием понравиться. Нос утратил детскую округлость и заострился, как у отца. Маленькое лицо суживала

копна торчащих во все стороны светлых курчавых волос. (Мама очень хотела, чтобы я коротко постриглась, но я не соглашалась. Я надеялась, что волосы постепенно отрастут, потемнеют, станут тонкими, шелковистыми и будут достойно обрамлять мое скорбное лицо. Такая трагическая внешность, конечно же, не останется незамеченной, и даже Альберт почувствует жалость ко мне.)

Я стала задумываться: может быть, Гвенда и мистер Хупер только притворяются, что любят меня? И принялась внимательно наблюдать за ними. Перехватив на себе их взгляды, я старалась вообразить, какой они меня видят, особенно мое узкое, с резкими чертами лицо. Миссис Хупер тоже стала объектом моего пристального внимания, она ставила меня в тупик. Разговаривая со мной, она нередко с беспокойством поглядывала на Альберта; и все же я не могла поверить, что она относится ко мне с неприязнью.

В начале сороковых годов в Иллфорд-хаус приехал агент сыскной полиции — проверить, являются ли мои родители дружественными иностранцами или ведут шпионскую деятельность. Месяц спустя моего отца, вместе с прочими «иммигрантами мужского пола, прибывшими из враждебной державы», вызвали в суд. Мистер

Уиллоби отправился вместе с ним и поручился, что отец настроен дружественно, не имеет взрывчатых или воспламеняющихся материалов, карт масштабом крупнее, чем дюйм к миле, и средств передвижения. Потом он отвез отца домой.

Начались воздушные налеты на Лондон. Мистер Хупер и Алберт вырыли позади дома бомбоубежище. Я спросила миссис Хупер, будут ли нас бомбить; она сказала, что, конечно же, надеется, что не будут, но вечером я слышала, как она завела с мужем речь о бомбежках. Глядя, как мистер Хупер режет на тарелке мясо, она спросила:

— Не станут же они бросать бомбы на нас, правда, Фред?

— На нас? Ясное дело, не станут! Аккуратненько сбросят *вокруг* нас, и этим ограничатся. Верно, Лорри?

— Ох, Фредди! — миссис Хупер досадливо зацокала языком. — Я вот что хотела сказать: мы же ясно даем им понять, что шутить не намерены; и зачем им тогда бомбить Англию? Мы пошлем к немцам наши самолеты, зададим им жару, они и не сунутся.

— Ну, спасибо, у меня прямо камень с души свалился, — промолвил мистер Хупер.

После этого разговора у меня не осталось и

тени сомнения, что взрослые ничуть не лучше меня понимают, что вокруг происходит, и столь же бессильны изменить ход событий; значит, бомбежки наверняка будут.

Вскоре выяснилось, что все иностранцы старше шестнадцати лет, и мужского, и женского пола, считаются враждебными элементами. Специально для них на определенном расстоянии от восточного и южного побережья страны были отведены территории, названные «охранными зонами», и моим родителям надлежало покинуть дом Уиллоби в течение двадцати четырех часов. Комитет по делам беженцев предложил им обосноваться в зоне дальше от моря, пока они не подыщут себе другую работу. По дороге в зону мои родители заехали к Хуперам. Так или иначе, но скоро мы снова будем жить вместе, заверила мама.

* * *

Опять наступило лето. Дама из приходского комитета принесла мне подержанную теннисную ракетку. Я нарочно оставила ее в кухне для всеобщего обозрения. Алберт тут же цапнул ракетку и начал ею размахивать:

— Ба-баххх!

В его руке ракетка казалась могучим орудием. По-моему, он с удовольствием треснул бы меня ею, но вместо этого стал гоняться вокруг стола за Гвендой. На макушке у него красовался мой зеленый берет.

— Эй, это же мое! — воскликнула я.

— Баа-баах! — проорал Алберт.

— Лучше положи ракетку, Алберт, пока никто не пострадал, — стоя по другую сторону стола, посоветовала Гвенда.

— Папа! — крикнула Дон. — Гляди, что он делает!

— Осторожно! — предупредила миссис Хупер, загораживаясь рукой. На эту руку ракетка со всего маху и опустилась. Мы вдруг увидели, что миссис Хупер уже сидит на полу между очагом и столом, а на лице ее написано такое изумление, что все засмеялись; но это была гримаса боли. Рука миссис Хупер бессильно, никчемным довеском свисала из рукава. Мы с Гвендой заплакали. Мистер Хупер опустился на колени возле жены, взял ее обездвиженную руку и, не обращая внимания на отчаянный вопль жены, рывком вправил сустав. После чего посадил ее на стул. Вцепившись в пострадавшее плечо, миссис Хупер раскачивалась на стуле из стороны в сторону. По

ее бледному лицу еще катились слезы, но она уже могла двигать рукой. Ничего, все в порядке, едва слышно выговорила она.

Увидев, что он натворил, Алберт сбежал в посудомоечную и мотался по ней из угла в угол, багровое лицо его было угрюмо.

— Чтоб ее, эту ракетку, — бурчал он.

Я подошла к двери посудомоечной и крикнула:

— Ты такой же, как немцы! — Голова моя пылала, в ушах стучало, а сердце готово было разорваться — я ощущала невероятное облегчение. — Ты нацист!

Я раскричалась не из-за того, что Алберт чуть не изувечил миссис Хупер, а потому что все эти месяцы он держал меня в страхе. Но теперь у него самого с перепугу стучали зубы. Гвенда и Дон попеременно выбегали из кухни то за тем, то за этим, якобы по просьбе бедной страдалицы, и всякий раз злобно зыркали на Алберта. Уж лучше бы они оставили его в покое, думала я.

Мне кажется, с того дня я стала обращать меньше внимания на Алберта и уже не дергалась в его присутствии.

Однажды, когда я пришла из школы, дома была только миссис Хупер, явно очень взволнованная: она без конца обматывала руку фартуком, подбо-

родок у нее дрожал. Я усадила ее у окна, в кресло мистера Хупера, и она рассказала мне, что двоюродная бабушка мистера Хупера, которая живет в доме престарелых, заболела воспалением легких, она очень плоха. И миссис Хупер заплакала. Я попыталась ее утешить:

— Она поправится.

Миссис Хупер отчаянно замотала головой:

— Какое там, она так разболелась, так разболелась!.. В ее возрасте воспаление легких — сама понимаешь. Наверно, я поеду за ней ухаживать; может быть, придется забрать ее сюда, а у нас нет-т-т к-к-кровати…

— А, понятно. Что ж, видимо, мне надо уступить ей кровать, да?

Миссис Хупер плакала так горько, что я обняла ее обеими руками.

— Да, пожалуй, — выдавила она сквозь слезы.

— А где мне тогда спать?

Миссис Хупер зарыдала еще горше.

— Вы, главное, не волнуйтесь, — сказала я, баюкая миссис Хупер в объятиях. — Я как-нибудь найду, куда деться, а потом, когда она поправится, смогу опять к вам переехать.

Миссис Хупер промокнула глаза.

— Да. И вообще тебе, пожалуй, лучше жить у

тех, чьи дети ходят в школу графства.

Я снова обратилась к даме из комитета, объяснила, что мне требуется другое жилье. Порывшись в картотеке, она сказала, что семья по фамилии Гримзли готова приютить у себя беженца.

Я отправилась прямиком по указанному адресу. Гримзли жили на улице, сплошь застроенной одинаковыми серовато-розовыми кирпичными домами, каждый на две семьи. Улица появилась совсем недавно, дорогу еще не замостили, а перед домом вместо садика с лужайкой белел квадратный метр засохшей бугристой грязи. Дверь открыла миссис Гримзли. Растерянно глядя поверх моей головы, она искала глазами своих сыновей; мальчики, их двое, играют где-то здесь, пояснила она. С виду ей было лет двадцать шесть — двадцать семь, пухленькая, светловолосая, с невыразительным покатым лбом, от смущения покрывшимся глубокими морщинами. Я усадила ее на стул и принялась расспрашивать про дом и домочадцев. Миссис Гримзли охотно разговорилась. Когда я собралась уходить, она спросила, буду ли я у них жить.

— Да, пожалуй, — ответила я.

В выходные Гвенда помогла мне с переездом.

Она водрузила мой чемодан на багажник велосипеда. Шагая рядом с велосипедом, мы всю дорогу клялись друг другу в вечной дружбе, и я уверяла, что буду ее навещать. Мои родители нашли себе новую работу в Суссексе, у некоей миссис Бёрнс-Дигби, и я отправила им письмо с адресом семейства Гримзли.

Помню, в первый же вечер мистер Гримзли принес мне целый пакет стеклянных шариков. В тот год дети просто помешались на игре в такие шарики. После ужина он прямо в кухне стал меня учить, как в них играть. Мне, как бывает с новичками, повезло, я выиграла у него семь шариков, в том числе самый главный — красивый, хрустальный, с мраморными прожилками. Мистер Гримзли был белобрыс и очень молод. Каждое утро он садился на велосипед и уезжал на фабрику, оставляя миссис Гримзли в полной растерянности одну среди новоприобретенной мебели и блестящего дешевого кухонного и ванного оборудования. У Гримзли было трое детей. Восьмилетняя Силвия, простодушная и улыбчивая, с таким же, как у матери, выпуклым лбом, ходила в центральную школу. Семилетний Патрик ковылял по дому, непроизвольно дергаясь всем телом: у него был церебральный паралич

и вдобавок сильное косоглазие. Пятилетний Алан, красивый, смышленый и постоянно чем-то недовольный, то и дело поджигал виниловые занавески в недавно обустроенной ванной комнате. Когда мы с миссис Гримзли пили на кухне чай, она спросила меня, что с ним делать. Я сказала, что такие вредные привычки дети приобретают, играя с уличной ребятней. В Вене мне никогда не разрешали играть с уличными мальчишками, добавила я. И очень правильно делали, согласилась миссис Гримзли, но после ужина Алан стал барабанить кулаками во входную дверь; бедняга Патрик тоже пытался стучать, но всякий раз промахивался. Миссис Гримзли не выдержала и открыла дверь.

— Только на несколько минут, им уже скоро спать, — проронила она, виновато поглядывая на меня.

Я забралась на кушетку возле окна, стала на колени и, прижавшись лбом к стеклу, принялась наблюдать за детьми; рядом лежал пакет со стеклянными шариками. Если я перестану держаться за подоконник, то пробью головой стекло, мелькнула мысль; и в ту же минуту отпустила руки; раздался звон разбитого стекла, мое лицо овеял ветерок, а вокруг шеи возникло нечто вроде

игольчатого стеклянного воротника. От ужаса я заорала не своим голосом. Прибежали мистер и миссис Гримзли, на улице собрались ребятишки — глядеть, как мистер Гримзли осторожно ломает стеклянные зубцы, нацеленные на мое горло, а потом тащит меня, целую и невредимую, в глубь комнаты.

— Понимаете, у меня руки с подоконника соскользнули. Я наклонилась — туда, вперед, и они соскользнули, — объясняла я с полным ощущением, что все именно так и произошло.

В школе одноклассницы по-прежнему третировали меня. Днем, после уроков, я обычно бежала через игровую площадку к изгороди из бирючины и лезла в дырку — убедиться, что с Гвендой-то наша дружба по-прежнему жива. Я попросила ее научить меня ругаться, но она с важным видом заявила, что ни за что не произнесет бранные слова вслух.

— Так это всего лишь сочетания букв!..

— Все равно не скажу, — отрезала Гвенда.

— А если бы тебе пригрозили: не произнесешь несколько ругательств — забудь про вечеринку на твой день рождения, а он у тебя через неделю, — неужели бы не выругалась?

Поразмыслив, Гвенда твердо повторила: ни за

что. А я бы выругалась, даже без всяких посул, сказала я; только вот ругательств не знаю. Гвенде скоро должно было исполниться пятнадцать, она училась стенографии и на глазах превращалась в настоящую красотку.

Я собралась уходить и вдруг заметила, что из окна бывшей моей комнаты за нами наблюдает Алберт. Он теперь там спит, сказала Гвенда. Я спросила, переедет ли к ним двоюродная бабушка ее отца. Нет, коротко ответила Гвенда.

А потом я получила отчаянное письмо от мамы. К ним приехали двое полицейских, посадили моего отца в фургон и увезли. Миссис Бёрнз-Дигби обзвонила всех знакомых; по-видимому, правительство приняло решение интернировать всех мужчин старше шестнадцати лет, приехавших из враждебных Англии стран. Миссис Бёрнз-Дигби выяснила, что иностранцев, проживавших в Суссексе, свезли во временный лагерь, расположенный в Западном Меллбридже, но мою мать туда не пустят, потому что лагерь находится в охранной зоне. Мама писала, что страшно волнуется за отца, он еще до этих событий очень неважно себя чувствовал, и она умоляет меня навестить его.

Я попросила у Гвенды велосипед и проехала

тридцать с гаком километров до нужного города. По указанному в мамином письме адресу нашла старинное школьное здание; выяснилось, что в нем и устроен временный лагерь. Все игровые площадки и теннисные корты были обнесены проволочной сеткой метра в два высотой. За этим забором бродили или стояли группки мужчин. С виду все они вполне сошли бы за моих дядей или двоюродных дедушек, но отца нигде не было видно. У ворот несли караул два солдата. Они стояли, широко расставив ноги в огромных армейских ботинках, их толстая, на вид кусачая форма казалась сшитой из одеяла, но к винтовкам были примкнуты штыки. Я не знала, можно ли вообще с ними заговаривать. Объехав вокруг лагеря два или три раза, я повернула назад, в Меллбридж.

Потом выяснилось, что мама получила неверную информацию. Отца увезли на север, на остров Мэн; там он встретил моего дядю Пауля, за год до того приехавшего в Англию, и много других родственников и друзей.

Примерно в это время фабрику, на которой работал мистер Гримзли, слили с оборонным заводом в Кройдоне, и, когда семейство уехало в Кройдон, я стала жить у родителей мистера Гримзли.

Обитали они близ железной дороги на старинной улице, встык застроенной домами из темно-красного кирпича. С ослепительно белого приступка у парадной двери гость сразу попадал в залу (впрочем, она же использовалась и как жилая комната). Почти все пространство занимал большой квадратный стол; между столом и камином уместилось кресло, у стены высился буфет, крытый кружевной дорожкой, на которой стояли фарфоровая собачка и фарфоровая ваза с зубчатыми краями и надписью: «Привет из Блэкпула». Чего только в этой вазе не было: огрызки карандашей, аптечные резинки, шпильки для волос и трехпенсовики. Стены были оклеены темно-зелеными обоями с зеленовато-желтыми райскими птицами, сидящими на стриженых кустах шиповника; кругом множество фотографий: свадебный снимок молодой четы Гримзли года примерно 1880, фотографии детей (среди них любительская карточка в вычурной золоченой рамке: сын супругов, молодой морячок, щурится на ярком солнце), внуков и давно почивших домашних питомцев; пейзажи с коровами и коттеджи с розовыми мальвами; репродукция

Уоттсовой «Надежды»[28], прикованной к зеленому шару и вместе с ним плывущей по холодным зеленым водам; фотопортрет в натуральную величину: девочка в коричневом бархатном платьице с кружевным воротничком обнимает огромного сенбернара.

Среди этого изобилия изящества тихонько сидел мистер Гримзли, откинув голову на крытую салфеткой спинку кресла. Этот хрупкий учтивый старичок по-прежнему спозаранку развозил по округе молоко на небольшой тележке, которую тащил пони. В кухне, которая служила хозяевам не только посудомоечной, но и ванной, миссис Гримзли, старушка с высоко взбитыми, как у королевы-матери, прекрасными седыми волосами, раскладывала по мискам еду для домашней живности. Нахлебников было немало: две лохматые дворняги, два полосатых кота, попугай, оставленный у родителей сыном-моряком в его последний приезд, и канарейка — собственность Перл. Перл, сорокалетняя дочь хозяев, тощая, набожная, с редкими волосами и тонким вздернутым носом, работала горничной на другом конце города. Когда она перестала ночевать под родным кровом,

[28] Примечания: 28

«Надежда» — аллегорическое полотно английского художника и скульптора Джорджа Фредерика Уоттса (1817–1904).

в дом зачастили сыновья. Миссис Гримзли стала подавать на завтрак яичницу с беконом, и парни с топотом бежали вниз из-под самой крыши, где ночевали на раскладушках, как когда-то в общежитии училища.

Через неделю после моего приезда они поставили в мансарде третью раскладушку для эвакуированного из столицы парня по имени Тони, типичного кокни. Тони стянул из фарфоровой вазы с надписью «Привет из Блэкпула» трехпенсовик и стал отпираться. Я попросила его выйти со мной во двор. Усадила его рядом на забор позади огорода и начала воспитательную беседу. Мы оба живем здесь исключительно по доброте стариков Гримзли, сказала я. Перл даже уходит ночевать к соседям, предоставляя мне свою комнатку над кухней. Красть у таких людей и врать им — черная неблагодарность. Я пыталась заглянуть Тони в глаза, но он упорно отворачивался. Потом спрыгнул с забора, то ли смущенный, то ли готовый прыснуть от смеха, и, набычившись, шутливо атаковал младшего Гримзли, появившегося из задней двери. Они сцепились и с хохотом покатились по земле.

Налеты на Лондон становились все страшнее. Меллбридж лежал на пути английских тяжелых

бомбардировщиков, каждую ночь летавших на боевое задание в Германию, и немецких «юнкерсов», которые появлялись в английском небе два часа спустя. Этих сразу узнавали по другому, чужому гуду; до самого Лондона и час спустя — на обратном пути — их вели прожекторы, по ним били орудия противовоздушной обороны. На рассвете английские самолеты возвращались домой в том же боевом порядке, в каком улетали в ночь. Сыновья Гримзли, Тони, я и все соседи высовывались из окон, считая бреши в строю.

На наш район падали лишь случайные бомбы, но моя мама все равно волновалась и страдала. Ее мучила мысль, что, если со мной что-нибудь случится, она не сможет приехать на помощь. Зато она получила письмо от Голдов; они писали, что живут в симпатичном городке в графстве Суррей, работают у врача: Кари — дворецким, а Герта — кухаркой. Кари даже не был интернирован; правда, им с Герти пришлось зарегистрироваться в качестве перемещенных лиц, и теперь они обязаны быть дома до наступления комендантского часа, то есть к одиннадцати часам вечера. Члены местного комитета по делам беженцев стараются помочь иммигрантам и непременно подыщут маме работу, а меня устроят жить где-нибудь

поблизости. Голды уговаривали маму переехать к ним. Она предупредила миссис Бёрнз-Дигби, что скоро уйдет с работы, и вызвала меня к себе.

Я отправилась к Хуперам попрощаться и нашла их в крайнем волнении: Алберта призвали в армию, он идет на фронт. Дон заливалась слезами. Они с Албертом собрались пожениться, но теперь решили отложить свадьбу до его возвращения. Гвенда вызвалась проводить меня до станции.

Мы с Албертом попрощались. Наши руки на миг соприкоснулись, но мы отвели глаза: оба знали, что всегда ненавидели друг друга, и оба стыдились этой ненависти, точно тайного срама.

Глава шестая
Оллчестер: чужак

Когда мы уже ехали на поезде в Оллчестер, мама сказала, что захватила с собой писчую бумагу и я могу засесть за благодарственные письма тем жителям Меллбриджа, кто проявил ко мне участие, — Хуперам, Гримзли, даме из Комитета по делам беженцев и, конечно, Левинам в Ливерпуль, нельзя про них забывать. Но меня затошнило, я побрела в уборную в конце вагона и извергла из себя все, что накопилось за утро.

С вокзала мы направились в жилище, которое подыскал нам Кари, — узкую комнатушку на верхней площадке лестницы. Мама уложила меня на кровать, сама села рядом и стала читать вслух «Дэвида Копперфилда». Потом достала бумажный пакет с грушами; мы поели груш, нам было хорошо и уютно. Мы не подозревали, что мой отец так сильно разболелся, что власти объявили его дружественным перемещенным лицом, выдали ему документ об освобождении из лагеря, и папа уже ехал к нам в Оллчестер.

У него был только адрес дома, где работали Гол-

ды; без них он не мог связаться с нами. Приехал он поздно вечером, Кари и Герти уже ложились спать, но вид у отца был настолько измученный и нездоровый, что они повели его на кухню и напоили чаем. Потом написали на листке наш с мамой адрес. В незнакомом, темном из-за светомаскировки городе отец заблудился и обратился за помощью к полицейскому. Тот его сразу арестовал как иммигранта из враждебной державы, который находился на улице после комендантского часа, отвел в полицейский участок и там внес запись об этом нарушении правил в его удостоверение иностранного подданного. После этого отца стали вызывать на допрос всякий раз, когда он менял работу или место проживания. А тот полицейский сам довел отца до нашего дома.

Я уже крепко спала на узкой односпальной кровати и только утром узнала, что папа снова с нами. Позже мама рассказывала, что после покупки железнодорожного билета у него осталось всего-навсего десять шиллингов, у нее — тоже около того плюс одна груша в бумажном пакете. Ночь напролет они сидели на краешке кровати и плакали.

Утром мама нашла в справочнике телефон Комитета по делам беженцев и позвонила. Ей

сказали, чтобы она приехала немедленно.

Вела прием некая миссис Диллон — миниатюрная женщина около пятидесяти лет, с по-девичьи коротко остриженными седыми волосами. На ней были ситцевое платье в синий цветочек и темно-синяя шляпка без полей. (Она охотно сообщала посетителям, что синий — ее любимый цвет.) У нее были ярко-голубые глаза, причем один глаз располагался выше и глубже другого.

— Что с девочкой? — первым делом спросила она мою маму. — Отчего она такая зеленая?

Я шлепнулась на стул и слушала разговор вполуха. Мама сказала, что накануне мне весь день нездоровилось. Миссис Диллон закрыла кабинет, посадила нас на заднее сиденье своего старенького «форда», и мы поехали по Вест-стрит. Это была несуетливая, солнечная улица, фасад каждого магазина украшала колоннада; мимо нас шагали по своим делам англичане. Миссис Диллон кивала головой и махала рукой, приветствуя знакомых. Дребезжащим сопрано она вдруг радостно запела «Un Bel Di»[29]. Выяснилось, что девушкой она училась пению в Италии. «Форд» повернул в горку; по обеим сторонам дороги за

---

[29] Примечания: 29
Ария Чио-Чио-Сан из оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

высокими каменными заборами стояли большие безмолвные дома; в садах виднелись фруктовые деревья и вьющиеся розы; мы ехали мимо, все дальше, пока не остановились у последнего, самого великолепного краснокирпичного особняка в георгианском стиле[30]. Дальше открывался сельский простор.

Следом за миссис Диллон мы прошли в ворота, на которых вилась надпись: *Adorato*[31], обошли дом справа и оказались на огороде. Прибежал черный кокер-спаниель — он жаждал поздороваться с миссис Диллон; она обняла его и поцеловала. Потом посадила отца и меня на стулья под грушевым деревом и скрылась в доме. Огород имел треугольную форму, поскольку находился в развилке дорог; одна шла на север, к Лондону, вторая через город на восток, к морю. Вокруг все пышно цвело и зеленело. Садовник полол огород. Здесь же тянулись ряды разнообразных ягодных кустов — крыжовник, малина, красная и черная смородина поспевали под огромной сетью, которая держалась на шестах, стоявших по углам

---

[30] Примечания: 30

Георгианский стиль — английский архитектурный стиль, сложившийся к середине XVIII в.

[31] Примечания: 31

Обожаемый (*итал.*).

обширной ягодной делянки, напоминая низкую комнату с сетчатым потолком. Сеть провисла под тяжестью спавшего на ней гигантского черного кота. За огородом виднелась шедшая под откос лужайка, затененная раскидистым грецким орехом, а ниже, за альпийскими горками и купой из шести тополей, — розарий, откуда вскоре вышли миссис Диллон и еще одна дама. «Моя сестра, мисс Даглас», — представила ее миссис Диллон. На мисс Даглас тоже было цветастое платье, но гораздо изящнее, чем у сестры; сама она выглядела худее, прямее, старше и неказистее, чем миссис Диллон. Меня снова замутило. Мисс Даглас сказала, что они с сестрой охотно возьмут меня к себе, я могу прямо сейчас у них остаться. Мама поехала с миссис Диллон обратно в комитет. Мисс Даглас повела меня в дом, и я, чувствуя, что меня вот-вот вырвет, первым делом попросилась в ванную. Так я стала жить в этом доме, населенном только женщинами: его обитательницами были мисс Даглас, миссис Диллон, я, а также служанка Милли, обосновавшаяся на кухне с грудной дочкой Лилой. Единственным существом мужского пола, появлявшимся в «Адорато», был каноник Годфри — очень высокий красивый старик, весь, как положено священнику, в черном и в широ-

кополой шляпе. Он приходил в разное время, шагал бесшумно, вывернув носки; поднимался по устланной ковровой дорожкой лестнице в комнату, которую мисс Даглас превратила в его кабинет. Каждое утро являлся садовник Бромли. Днем он брал с бокового хода обед, шел за огород, в сарай с садовым инвентарем и там ел.

Миссис Диллон устроила мою мать на работу в семью шотландцев, живших на окраине города; им как раз нужна была экономка и кухарка в одном лице. Пристроить отца оказалось труднее. Он все еще ютился в той комнатенке над лестницей, которую снял для нас Кари Голд; миссис Диллон нашла ему поденную работу садовника.

Я виделась с родителями по четвергам, когда у мамы был выходной. Иногда Голды приглашали нас к себе, в дом, где сами служили. Красавец Кари был человеком общительным, а Герти отличалась редким радушием. В кухне всегда толклось много народу. Из Лондона приезжал бывший спортивный репортер, прежде он работал вместе с Кари в одной венской газете. Частыми гостями были молодой композитор Ганс Франкель со своей невестой, — она работала няней где-то под Оллчестером, — и еще одна «супружеская пара» — бежавшие из Вены юрист с женой. Кухню за-

тягивало приятным сигаретным дымком, пахло крепким кофе, который Герти без устали варила полдня.

Однажды дверь, ведущая в парадную половину дома, растворилась, и на пороге возникла хозяйка, жена врача. При виде толпы иностранцев, вольготно общающихся в ее кухне на тарабарском языке, она от изумления остолбенела. Я встретилась с ней глазами; в ту же секунду она попятилась и тихо закрыла за собой дверь. Кроме меня, ее не заметил никто.

Рассевшись вокруг стола, женщины болтали, рассказывали забавные истории про своих нелепых «леди». Вспоминали родителей и других родственников, которые пребывали неизвестно где и не подавали о себе вестей, разве что изредка приходили стандартные, в двадцать пять слов письма из Красного Креста. Женщины не могли удержаться от слез. Мужчины стоя обсуждали политику и ход военных действий.

Изредка мы опять собирались по четвергам в клубе, который оллчестерский комитет организовал для беженцев в заброшенной пожарной части в центре города. Собрания проходили в просторном зале с деревянным полом, где с потолка свисали голые, без абажуров лампочки; в

их свете пол казался пыльным. На стенах были развешены фотографии футбольных команд пожарных с тысяча девятьсот двадцать седьмого по тысяча девятьсот сороковой год. За раскладным столом, уставленным бумажными чашками, стояла миссис Диллон и разливала чай. В небольшом кабинете возле зала шли занятия английским языком для начинающих. Из Лондона приезжал лектор с беседами на тему: «Что должен знать иностранный подданный, приезжающий на жительство в чужую страну?» А однажды миссис Диллон устроила целый концерт: под собственный аккомпанемент она исполняла арии из опер.

* * *

Моя мать рассказывает историю, которую я, видимо, предпочла забыть, — до того не хотелось омрачать память об этом очаровавшем меня пристойном и благонравном городке, с его домами в георгианском и викторианском стилях, ухоженными лужайками, ванночками для птиц, альпийскими горками, клумбами и окружающими все это великолепие высокими оградами, увитыми розами и плющом. Мой отец работал помощником садовника в маленьком

парке, принадлежавшем некой миссис Ламстон. Она держала ослика, чтобы развлекать своих детей во время школьных каникул. В остальное время ослик помогал развозить по парку навоз и доставлять горы собранного мусора к большому костру на сжигание. По маминым словам, в один прекрасный день миссис Ламстон, решив, что у ослика усталый вид, велела отцу выпрячь его и самому тащить повозку. Мама клянется, что именно эта работа привела к новому кровоизлиянию, с которым его срочно положили в оллчестерскую окружную больницу, как раз позади «Адорато».

Когда отца выписали, миссис Маккензи, у которой работала мама, пригласила его пожить у них, чтобы моя мать могла за ним ухаживать. Семья Маккензи обитала на водяной мельнице, построенной еще в Елизаветинскую эпоху[32] и принадлежавшей Национальному тресту[33], — мистер Маккензи был архитектором. По воскресеньям я ездила навещать родителей, и мы все вместе обе-

---

[32] Примечания: 32

Елизаветинская эпоха — времена правления (1558–1603) английской королевы Елизаветы I.

[33] Примечания: 33

Национальный трест — организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест; основан в 1895 г.

дали в гостиной. Стены, пол и потолок там были из старого нелакированного дерева теплого медового цвета. Мы садились вокруг дубового стола, огромного и тяжелого; за ним хватало места для четырех хозяйских дочек, их школьных друзей, древней бабушки и слабоумной кузины. Очень часто к супругам Маккензи приезжали друзья — архитекторы, писатели, балетные танцовщицы и танцовщики, — отдохнуть от еженощных кошмарных бомбежек Лондона. За столом находилось место и для беженки-кухарки, и для кухаркиной дочки, и для кухаркиного больного мужа.

Я обожала всех Маккензи; те воскресенья были бы сплошным блаженством, если бы не отец: он постоянно требовал, чтобы мама переводила то, что говорят окружающие, и совершенно не понимал шуток. Если на двойняшек — им шел шестнадцатый год — нападал смех, мама, глядя на них, тоже не могла удержаться, и вскоре все трое чуть не падали со стульев. В таком случае мистер Маккензи, всегда сидевший во главе стола, передавал тарелки соседям по другую руку от него. А мой отец напускал на себя веселый вид, фальшиво хохотал и изрекал:

— Очень забавно.

Я не могла поднять глаз от тарелки. Мама обрывала смех и под предлогом, что пора посмотреть, как там десерт, уходила на кухню.

— Мистер Грозманн побывал в одном из этих дурацких лагерей для интернированных, — говорила миссис Маккензи, — он довольно сильно болел, но теперь вам уже лучше, правда? Мне кажется, вы уже не такой бледный.

Отец непонимающе поворачивался ко мне:

— Что? Что она говорит? — И отвечал по-немецки: — Не намного лучше. Я с трудом одолеваю все эти деревянные лестницы. И воздух здесь, по-моему, чересчур сырой, добра от него не жди. Скажи им.

— Он говорит, спасибо, ему уже гораздо лучше, — говорила я, страдая и заливаясь краской. — И он очень благодарен за то, что вы позволили ему жить на Мельнице вместе с моей матерью.

* * *

Прошло несколько недель, и отец действительно окреп. Миссис Диллон нашла ему в Оллчестере другую комнатку, и, когда миссис Ламстон отказалась от его услуг, миссис Диллон уговорила мисс Даглас разрешить ему приезжать трижды в неделю — помогать Бромли по саду и огороду.

Как-то весной я шла из школы вверх по склону и увидела, что у раскрытой парадной двери стоит миссис Диллон и, комкая в руке платочек, явно поджидает меня. Она повела меня в гостиную, усадила на диван, сама села рядом и стала гладить меня по руке. У твоего отца случился удар, сказала она, он упал в дальнем конце сада, и его пришлось отвезти в окружную больницу.

— Сейчас там с ним твоя мама, — добавила миссис Диллон и, продолжая гладить мои руки зажатым в кулаке платочком, сочувственно проронила: — Бедняжка ты моя.

— Ничего, все нормально, — смущенно пробормотала я; по моему мнению, я ее сочувствия не заслуживала, потому что глаза у меня были по-прежнему сухи и сердце билось ровно.

— Бедненькая, руки-то какие холодные, — бормотала миссис Диллон. — Пойди, сядь поближе к камину, я сейчас разожгу его как следует.

— У меня руки всегда холодные, — сказала я.

Вечером они прислали ко мне горничную с чашкой горячего шоколада, который надлежало пить возле горящего камина.

— Давай отправим ему журналы, — предложила сестре мисс Даглас. — Мэри, не забудь собрать пачку старых номеров «Панча» и «Татлера».

Во время драматических событий мисс Даглас дома не было. Думая, что я уже ушла спать, миссис Диллон рассказала сестре, что случилось в ее отсутствие.

— Видимо, он только-только кончил стричь газон и хотел убрать газонокосилку, потому что, когда я его нашла, он, бедолага, лежал на дорожке у сарая с садовым инструментом и уже совсем не владел собой.

Я перестала подслушивать за дверью и пошла к себе наверх, размышляя, что означает последняя фраза миссис Диллон о потере самоконтроля; в конце концов я решила, что отец, видимо, обделался; эта картина прямо-таки застряла в моем воображении, я долго не могла от нее избавиться. И позже, разговаривая с папой лицом к лицу, я часто думала: неужели именно это подразумевала миссис Диллон?

На следующий день прямо из школы я поехала в больницу. Мама сидела в коридоре возле палаты. Увидев меня, она радостно заулыбалась, но лицо у нее пылало, а глаза блестели от слез.

— Какую жуткую шляпку на тебя напялили, — сказала она, приглаживая мои волосы под панамой, украшенной лентой нашей школы. — Доктор Адлер говорит, что папа идет на поправку.

Только не пугайся, если он тебя не узнает или скажет что-нибудь невпопад. Это все из-за лекарств. Я просто хочу, чтобы ты с ним минутку посидела. Ах, да! Солнышко, я ведь не знаю, говорили тебе или нет, но у папы парализована левая сторона тела, такое нередко случается после удара. Доктор говорит, что это вполне может пройти, причем бесследно. Пошли. На минуточку.

Мама первой вошла в огромную палату и скрылась за ширмой. В изножье кровати, на которой лежал мой высокий отец, аккуратно укрытый больничными одеялами, стояли Герти и Кари. Я обратила внимание на бугорок, под которым, видимо, находились отцовские ступни. Моя мать перешла на правую сторону кровати, села на стул и склонила к его подушке грустное улыбающееся лицо с лихорадочно пылающими щеками.

— Вот и она, в своей жуткой школьной шляпе, — как обычно, бодрым голосом сказала она. — А папа про тебя полдня спрашивает.

Взгляд отца был устремлен в потолок. Бледное лицо нахмурено, видимо, он целиком сосредоточился на мучительной попытке выпростать правую руку из-под одеял. Мама пришла ему на помощь. Рука была бескровно-белой и дряблой, даже ногти казались мягкими. Он нетерпеливо

дрыгнул пальцами в сторону спинки кровати позади подушки:

— Скажи, пусть она войдет сюда. Пусть выйдет оттуда.

Он, видимо, пытался повернуть голову и заглянуть за изголовье.

— Она уже здесь. Смотри, — сказала мама и быстро скомандовала мне: — Подойди ближе, чтобы папа тебя видел.

Я шагнула вперед, потом еще, еще, и наконец мое лицо оказалось между его лицом и потолком. Рот у отца дернулся. Он заплакал правой стороной лица, левая сторона оставалась неподвижной. Перестав плакать, он посмотрел прямо на меня и произнес:

— Если позади тебя стоит мисс Даглас, пусть она выйдет.

Я в ужасе перевела глаза на маму. Она спокойно сказала:

— Выйдите оттуда, мисс Даглас.

Отец сразу успокоился. И минуту спустя совершенно обыденным голосом произнес:

— Франци, пока не забыл: бумаги спрятаны в Herrenzimmer, в нише за печкой. Те бумаги, про ос… ос… — Он нахмурился, озадаченный и раздраженный ускользнувшим из памяти сло-

вом. — Осв… осв… — ну, те бумаги… — и он снова нетерпеливо дрыгнул пальцами.

— Да-да, — отозвалась мама, — документы об освобождении. С ними все в порядке.

— В полиции хотят их проверить.

— Я им принесу.

Мой отец обессиленно закрыл глаза.

— Выйди и подожди меня, — шепнула мама.

Я повернулась и вдруг ощутила на плече тяжелую руку Кари; только тут до меня дошло, что она лежала там все это время. Я обернулась; мама убирала отцовскую руку под простыню. По правой стороне его лица опять катились слезы.

Мама навещала отца каждый день. Утром она делала у Маккензи всю работу по дому, кормила их обедом, потом ехала на автобусе в город и сидела у постели мужа до пяти часов. Затем снова садилась на автобус и ехала готовить ужин. По четвергам и каждое второе воскресенье она оставалась в больнице до ночи.

Однажды, массируя ему парализованную левую ступню, она почувствовала, что пальцы ноги чуточку шевельнулись под ее рукой. Доктор Адлер, тоже еврей, но не беженец, сказал, что это хороший знак. Доктор был старый, толстый, с квадратной седой головой. Он погладил маму по

руке, назвал ее хорошей женщиной и посоветовал не принимать все так близко к сердцу.

— Время от времени устраивайте себе отдых, хотя бы ненадолго, — сказал он.

Мама попросила меня навещать отца в больнице, когда она занята и не может приехать сама. Я про себя удивлялась, что, сидя рядом с ним, не чувствую ровным счетом ничего, кроме невыносимой скуки. Спустя какое-то время ему стало лучше, и я решила, что можно захватить с собой книжку.

— Что ты читаешь? — спросил отец.

— Это нам в школе задали. В некотором смысле.

— Я не хочу больше лежать в больнице, — сказал он. — Пусть твоя мама заберет меня домой.

— Ты же знаешь, там всюду лестницы, — напомнила я, — а тебе по ним карабкаться не по силам. Придется полежать здесь, пока не выздоровеешь.

— Если я тут останусь, точно не выздоровею. Здешних нянек невозможно ни о чем попросить, им толкуешь, а они ни бельмеса не понимают. Я же говорил Франци: пусть напишет письмо твоему дяде Паулю. Он в Вене изучал медицину. В Вене лучшая медицинская школа в мире.

— Во-первых, Пауль университета не кончил, а во-вторых, он сейчас работает на ферме в Доминиканской Республике. С чего бы ему разбираться в медицине лучше твоего врача?

— Эти английские эскулапы тупые, как пробки.

— Будет тебе. Больница полным-полна пациентов-англичан, и ничего, врачи справляются, — отрезала я, но тут же наклонилась и поцеловала его, чтобы загладить грубость.

Кожа у отца была дряблая и неприятно холодила губы. Какая же я злюка, не хочу его целовать, подумала я и поцеловала еще раз.

На миг показалось, что он вот-вот заплачет, но он лишь сказал:

— Гляди! — и чуточку пошевелил пальцами левой руки, лежавшей поверх одеяла.

— Вот, убедился? — воскликнула я. — А ведь несколько недель назад даже пальцем не мог шевельнуть, правда?

— Правда, — подтвердил отец и затих.

Я украдкой взялась за книжку.

— Доктор посоветовал физиотерапию, — произнес отец. — Пауль в Вене тоже изучал терапию.

Я промолчала.

— Доктор сегодня даже не зашел меня прове-

дать, — пожаловался он.

— Потому что ты идешь на поправку. Теперь ему не обязательно смотреть тебя каждый день.

— Но если я иду на поправку, почему твоя мать не заберет меня домой?

— Потому что ей тогда придется взять у Маккензи расчет и искать комнату для вас двоих. — Я чувствовала, что в душе поднимается волна раздражения. — И работать ей придется за двоих, так ведь? Поэтому тебе и надо отлежаться здесь, пока не встанешь на ноги.

— За мной могла бы присматривать ты, — заметил отец.

— А как же школа?

В марте мне исполнилось четырнадцать лет, в этом возрасте вполне можно было расстаться со школой, но я гнала от себя эту мысль.

— Можно приходить после школы, — настаивал он.

— А домашние задания? И что ты будешь делать один до вечера? Кто тебя будет кормить?

— Если бы вы с мамой захотели, то справились бы.

— Папа! — Дрожа всем телом, я наклонилась к нему и заглянула в глаза. — Обещай мне одну вещь. Дай слово, что ты маме даже не заикнешься

о том, что не хочешь лежать в больнице. Она только еще больше разволнуется. Обещаешь? Ради меня. Пойми, она ничего не может поделать.

— Она может забрать меня отсюда, — упрямо повторил отец. — Ты опять за книжку?

— Я просто на нее смотрю.

— Сердишься на меня, да?

— Нет.

— Франци! — воскликнул отец.

Я спрятала книгу.

Между длинными рядами кроватей шла, улыбаясь, мама. Она поцеловала меня, села на стул слева от отца и принялась массировать ему кисть руки, попутно рассказывая всякую всячину.

— Ты слышал взрыв вчера вечером, часов в девять? Оказывается, шальная бомба упала на зады огорода Маккензи. Угодила прямехонько в кабачки. В западной стене дома повылетали все окна. Мы целое утро убирали битое стекло.

— Франци, ты написала Паулю? — перебил ее отец.

— Нет еще. Завтра принесу ручку с бумагой и прямо здесь напишу.

— Когда ты заберешь меня из больницы? — отводя от меня глаза, спросил отец.

— Как только доктор скажет, что ты достаточно

окреп. Лора, ты рассказала папе про школьный концерт?

— У нас в конце полугодия состоится концерт. Я буду играть фантазию Моцарта.

Отец посмотрел на меня и произнес:

— Можешь взять мой парадный ремень из крокодиловой кожи, наденешь на концерт.

— Да он мне велик, — сказала я. — И потом, он же *мужской*.

Отец заплакал.

— Видишь, Франци, — он пошевелил пальцами лежащей на одеяле руки, — вот и все, на что я способен.

* * *

Мама устроилась в ресторан «У Харви» поваром. Кухня находилась в полуподвале, и вместо окна в тротуар был вделан решетчатый люк. Когда я шла в школу, из люка уже валил пар. Возвращаясь с подружкой домой, я сообщала:

— Там, внизу, работает моя мать.

Все-таки мама забрала отца из больницы. На нем был привезенный из Вены красивый костюм в елочку. Брюки болтались на исхудавших ногах, как обвисшая серая слоновья шкура; тонкая шея жалко торчала из ворота рубашки. Лицо было

болезненно бледное, цвета выросшего в погребе ростка. Отец побрился, но на верхней губе и левой щеке виднелись островки седой щетины. Он смущенно улыбался половиной лица.

Мама сняла комнату в дальнем конце города, на дороге, ведущей в Лондон. Комнатенка эта нагоняла на меня тоску. Я спросила мисс Даглас, нельзя ли мне взять у них несколько цветочков, и она дала мне три розы и один ирис. Но результат меня страшно огорчил: потолок не стал выше, стены не раздвинулись, а зеленый линолеум остался таким же неприглядным. Просто теперь в гнусной комнатушке стояла молочная бутылка с букетиком.

— Ну, а приличного заварочного чайника почему у нас нет? — раздраженно спросила я. — Почему нужно тащить к столу этот, здоровенный, с кипятком?

— Возможно, к следующему твоему приходу мне удастся добраться до нашей посуды, — сказала мама. — Боюсь, впрочем, что заварочный чайник лежит в самом нижнем кофре, а распаковывать все вещи не хочется. Мне кажется, мы хозяйке не нравимся.

В прихожей мы столкнулись с квартирной хозяйкой, и она испуганно вздрогнула. Она была из

рабочих — высокая, тощая, пугливая, с желтыми зубами. Спустя две недели она заявила маме, что мистер Грозманн ее нервирует: то его подолгу не видно и не слышно, а то вдруг — глядь, стоит на лестнице. Через пару недель к ней приезжает дочь, ей понадобится своя комната.

Мама поехала в «Адорато» посоветоваться с миссис Диллон. Они попили в столовой чаю, и перед маминым отъездом мисс Даглас пригласила ее немножко посидеть с нами в гостиной. Миссис Диллон называла мою маму Франци и даже вроде бы просила обращаться к ней самой запросто: Мэри. После маминого ухода миссис Диллон и мисс Даглас шепотом о чем-то спорили.

Вскоре миссис Диллон купила неподалеку домик под названием Клинтон-лодж, очень похожий на «Адорато», только размером поменьше и не такой красивый. Парадную спальню она сдала моим родителям, а остальные комнаты —< другим беженцам, которым никак не удавалось снять жилье: в то время мало кому хотелось пускать к себе иностранцев, вдобавок говорящих по-немецки. Кроме моих родителей, там поселились супруги Кац из Мюнхена; у них в Штатах жил брат, и они ждали разрешения на въезд в Америку. В другой комнате ютились две пожи-

лые женщины из Берлина. Рядом жила миссис Бауэр, приехавшая из Вены вдова, чей маленький сын выехал из Австрии на том же «детском» поезде, что и я, но он сошел в Голландии. Она ждала конца войны. В их комнатах грудами были сложены чемоданы со всеми семейными ценностями, припрятанными под скатертями или под обрезками ковровых дорожек. В комнатах висел дух непреходящей временности бытия.

Все семеро беженцев прекрасно ладили, переговариваясь на причудливой смеси из немецкого и австрийского акцентов. Клинтон-лодж слыл в городе наглядным примером того, как незнакомые люди могут отлично уживаться друг с другом. Единственным исключением был мой отец, он перессорился со всеми. Как-то вечером я зашла к ним, чтобы разогреть ему ужин, мама приготовила его утром, до работы. Вечером она ушла аккомпанировать на рояле одной венской учительнице пения. В прихожей меня перехватила миссис Бауэр:

— Очень хотелось бы, чтобы ты увела отца с кухни. Мы с миссис Кац собрались приготовить ужин и накрыть стол. Я попросила его подвинуться, но он будто не слышит.

Отец сидел за кухонным столом, вокруг были

разложены записная книжка, чернильница, карандаши и ластики. Врач предупредил нас, что садоводство ему противопоказано, и отец стал заочно учиться на английских бухгалтерских курсах. Ответы он писал с жуткими грамматическими ошибками, которые ему неукоснительно подчеркивали красными чернилами.

— Здрасьте, миссис Кац! Привет, папа! Пойдем в гостиную. Стол сейчас нужен соседям.

— Мне он тоже нужен, — возразил отец.

— Не упрямься, пошли. Я отнесу миски с едой в гостиную, — раздраженно сказала я. В разговорах с отцом такой тон вошел у меня в привычку. Я, было, усомнилась, что он сумеет высвободить левую полупарализованную ногу, которая своевольно обвилась вокруг ножки стула, но тут же успокоила себя: ничего, меня, бывает, по целым дням нет, и как-то же он справляется. Я повернулась и проследовала в гостиную.

Вскоре я услышала его шаги; отец захромал следом за мной.

— Сегодня вечером я есть не стану, — заявил он.

— А ты попробуй себя заставить. Доктор говорит, тебе надо есть.

— Доктор то, доктор сё, только и слышно.

— Почему ты не дал соседям спокойно поужинать за столом? Тебя же просили!

— У меня на этот стол не меньше прав, чем у них, — парировал отец.

— Ты не имеешь права усложнять жизнь маме. Она по девять часов вкалывает в ресторане, потом, чтобы немного подработать, еще три часа аккомпанирует на фортепьяно, а вернувшись домой, вынуждена слушать жалобы и тебя выгораживать. О ней ты не думаешь никогда!

— Нет, думаю, думаю. — Отец даже откинул голову назад — так я орала ему в лицо. Жилет топорщился на его запавшей груди. — Мне сегодня нездоровится.

— А ты не думай без конца о своем здоровье. Подумай о людях, которых тысячами убивают каждый день.

— Какое это имеет отношение ко мне?

— Папа! Что ты предпочел бы: свое здоровье или конец войне?

— Конец войне и мое здоровье, — слабо улыбнувшись, ответил отец.

— Нет, серьезно, папа! Представь, что тебе обещали исполнить одно-единственное желание: либо завтра же война окончится, но ты будешь болеть целый год, либо ты завтра же выздоровеешь,

зато война продлится еще год. Что ты выберешь?

— Я хочу выздороветь, — ответил отец. — Злишься на меня, да? Почему?

— Я не злюсь.

— Прошу тебя, забери это, — он с тоской смотрел на кусок мясного рулета, торчавший перед ним на вилке.

— Сначала съешь хотя бы то, что нацепил на вилку.

Отец сунул вилку с мясом в рот, и его вырвало.

Мистер Кац помог мне отвести отца наверх, я уложила его в постель. Он лежал совершенно обессиленный и смущенно улыбался здоровой половиной лица. Я присела на край кровати и стала массировать его левую руку.

— Сейчас тебе уже лучше, правда?

— Да. Ты посидишь со мной до прихода мамы?

— Конечно. Неужели ты думаешь, что я тебя брошу, когда ты нездоров? Покажи, как ты шевелишь пальцами.

Отец подрыгал пальцами левой руки.

— Спать хочешь?

— Да.

— Папа, давай не будем рассказывать маме, что тебя стошнило, хорошо?

— Хорошо.

Но, когда мама приехала домой, я встретила ее у порога и выпалила:

— Папу вырвало. Мистер Кац помог мне довести его до постели, а когда я спустилась вниз, миссис Кац уже все убрала. Тебе незачем сразу бежать к нему. Он сейчас спит.

— Может, я просто поднимусь и взгляну на него?

Я накрыла ей на кухонном столе ужин и, когда она спустилась, сообщила:

— Миссис Бауэр и миссис Кац тоже хотели приготовить ужин, но папа не пожелал освободить стол.

— И ты из-за этого начала с ним спорить?

— Да разве с ним можно спорить? Порой он вообще ничего не понимает. Иной раз я ему что-нибудь скажу, а он несет несуразицу, совершенно не по делу. Меня это жутко злит.

— Солнце мое, он ведь болен. Только представь: ты стоишь рядом с человеком и боишься, что тебя вот-вот стошнит, а тот человек знай себе спорит и спорит.

— Я прямо из себя выхожу.

— Старайся сдерживаться. Он болен, а ты молода и здорова. Не спорь с ним, и всё.

— Обещать не могу.

— Попытайся, — сказала мама.

Когда мы присоединились к собравшимся в гостиной соседям, мама спросила:

— Я поставила на огонь кофейник. Кто-нибудь хочет кофейку? Кацуля, дорогая, до меня дошло, что ты помогла Лоре убрать за Иго. Ты — золото.

— Есть о чем говорить! Просто он, бедняга, неважно себя чувствовал.

— Я поставлю ему в комнате ломберный столик, и завтра он сможет работать наверху, — сказала мама.

— Ладно, ладно, главное — не волнуйся. Лучше сядь и отдохни. Умаялась же, наверно?

Мама села, вытянула перед собой ноги, руки безвольно свесила по бокам стула, а волосы стряхнула на лоб, прикрыв ими глаза — ни дать ни взять тряпичная кукла.

— Франци! — вскрикнула миссис Кац. — Тоже мне клоунесса. Смотреть страшно. Брось дурачиться.

— Ты же спрашивала, устала ли я, так смотри сама, — ответила мама.

— Ой, ну, маа-маа! — заныла я, и все так расхохотались, что не расслышали испуганный вопль отца:

— Франци!..

Мы с мамой помчались наверх. Отец сидел на кровати, грудь его вздымалась так, будто каждый глоток воздуха он извлекал из глубин собственного тела.

— Не могу дышать, — прохрипел он.

— Спусти ноги и сядь удобно. — Она присела с ним рядом. — Через минуту тебе полегчает. Ты же знаешь, эти приступы скоро проходят.

Между мучительными вздохами отец выдавил:

— Тот врач говорит, у меня астмы нет. Сама видишь, что есть.

— Он говорит, это нервная астма. Сиди спокойно, и приступ пройдет сам собой.

— Это астма, — уверенно повторил отец. — У моей матери была астма. С чем-чем, а с астмой я хорошо знаком.

— Смотри, тебе уже лучше. Минуту назад ты даже говорить не мог. Хочешь прилечь?

— Да.

Но едва мама уложила его в постель и накрыла одеялом, как он снова сел, свесив с кровати ноги, и стал хватать ртом воздух, так что нам даже стало страшно.

— Откройте окно, — просипел он.

— Если у тебя астма, то окно не поможет, —

сказала я.

— Открой окно, — приказала мама.

Она накрыла отцу ноги одеялом, и вскоре ему стало лучше; тогда она снова уложила его и подсунула под голову подушку.

— Посиди со мной, — попросил он.

— Мама, ты даже кофе не успела попить!

— Потом попью.

— Но папе уже лучше.

— Солнышко, ты, кажется, говорила, что тебе в девять нужно вернуться к миссис Диллон. А сейчас уже почти половина десятого.

Пока я надевала пальто, отец снова завел свое:

— Хоть бы ты написала Паулю про мою астму. Эти английские эскулапы не понимают, у меня случай особый.

— Завтра напишу, — пообещала мама.

— Ты что, сегодня вечером опять уйдешь?!

— Нет, останусь здесь и лягу спать. Смотри, до чего я устала.

Она свесила волосы на глаза, вытянула прямые, как палки, ноги и безжизненно опустила руки — точь-в-точь тряпичная кукла.

На следующий день я заехала навестить отца. На кухне меня задержала миссис Бауэр. Она была в отчаянии.

— Твой отец накрыл себе ужин. Знаешь когда? В полдень!

В ответ на упреки отец заявил:

— Я накрыл стол для матери. Ты говорила, что я о ней никогда не думаю. Теперь убедилась, что думаю?

— Но нельзя же захватывать весь стол, когда люди готовят обед или ужин! Как-никак в доме, кроме нас, еще пять человек.

— На этот стол у Франци ровно столько же прав, что и у остальных жильцов, — возразил отец. — Зачем ты опять надеваешь шляпку? Разве ты не побудешь со мной?

Я отвернулась к зеркальной створке гардероба, убирая волосы под шляпку.

— За что ты на меня сердишься?

Я не ответила. В зеркале я видела, что он подошел и стал у меня за спиной.

— Хочешь, я тебе насовсем отдам мой крокодиловый ремень?

— Пропусти! — потребовала я, отступая от зеркала — якобы для того, чтобы посмотреть на себя издали, но на самом деле — чтобы вынудить отца отойти назад. Я знала, ноги его не слушаются, он не может быстро попятиться, но его нерасторопность настолько разъярила меня, что я

повернулась и толкнула его рукой в грудь. Он почувствовал, что валится навзничь, но на его лице выразилось лишь удивление. Мне казалось, он падает неправдоподобно долго. Вот он ударился плечом о ножку кровати и медленно соскользнул на пол. Я опустилась рядом на колени:

— Ты упал.

На площадке послышались торопливые шаги: войдя в дом, мама сразу услышала стук падения и побежала наверх.

— Ты что, не заметила, что он стоит сзади? — спросила она.

— Да, не заметила, — подтвердила я.

— А ты не успел вовремя отступить, да, Иго?

— Не успел, — сказал отец.

* * *

— Как вам кажется, он достаточно окреп, чтобы начать работать? — спросила мама доктора Адлера, когда он в очередной раз пришел осмотреть отца — теперь он приходил раз в неделю.

— Ну-с, как вы себя чувствуете? — похлопывая отца по колену, осведомился доктор.

Отец сидел на кровати, рубаха на груди распахнулась. Он приподнял правое плечо и отвел правую руку в сторону, словно бы не зная, что

на это сказать. Затем смущенно улыбнулся и посмотрел на жену.

— Он уже ходит увереннее, чем прежде, правда? — спросила мама.

— Правда, правда, — подтвердил доктор.

— Очень хотелось бы, чтобы он побольше ел.

— Вам надо больше есть. Кушайте, кушайте, — повторил доктор, ободряюще кивая головой, и для вящей наглядности сделал жест, будто кладет в рот еду.

Отец снова поднял правое плечо и беспомощно отвел в сторону ладонь.

— Ведите себя хорошо, — сказал доктор и опять похлопал отца по колену. — У вас чудесная женушка, она прекрасно за вами ухаживает.

Уже у дверей он шепнул маме:

— Не хотелось бы, чтобы вы переутомлялись. Иногда надо и отдыхать.

— Слышала? Доктор сказал, что тебе нужно отдыхать, — повторила я после ухода врача.

— Буду, буду, прямо сейчас, — отозвалась она. — Сию же минуту пойду на кухню и выпью кофе.

— Я тебе сварю. А ты сядь. Разве так сидят? Ты же сидишь только на половинке стула. Сразу видно, что вот-вот вскочишь.

— Потому что устала всего-навсего одна поло-

вина, — объяснила мама.

— Ой, ну, ма-маа! Зачем тебе аккомпанировать на уроках пения? Миссис Диллон говорит, тебе больше не придется платить фунт десять шиллингов за мое обучение. Комитет выделит деньги.

— Но я с радостью плачу сама. И мне нравится играть на рояле.

— А зачем ты сказала начальнику пожарной дружины, что одну ночь будешь дежурить за папу, а еще одну — за себя?

— Затем, что папа не в силах вставать по ночам всякий раз, как завоет сирена, не говоря уже о том, чтобы обходить улицы.

— От него этого никто и не ждет. Ты могла бы взять справку у доктора Адлера.

— Солнышко мое, суть не в этом. Мы — беженцы. Очень важно, чтобы мы не уклонялись от дел, которые нам по плечу. Когда мы выходим на дежурство, на нас в это время даже не распространяется комендантский час, представляешь?

— Доктор велел тебе отдыхать. Ты взвалила на себя слишком много.

— Лапушка, ты правда хочешь мне помочь?

— Конечно.

— Тогда, пожалуйста, не пили меня. Даю тебе

слово: как только почувствую сильную усталость, я брошу аккомпанировать на уроках пения. Хорошо?

Но я не могла перестать ворчать, так же как она не могла не вскакивать с места по малейшему поводу. На той же неделе миссис Бауэр слегла с гриппом, и мама вызвалась дежурить ночью вместо нее. Помню, узнав об этом, я всю дорогу до «Адорато» проплакала.

В те дни я наблюдала за родителями, представляла, как устроен под кожей папин и мамин организм, — в Вене я еще девочкой разглядывала замысловатые рисунки в учебниках анатомии моего дяди Пауля и запомнила их навсегда. Только у родителей все члены двигались, и каждый мог в любую минуту выйти из строя. Я помнила, что еще в Вене заболевания отца вечно заставали меня врасплох, поэтому я жила в постоянной тревоге, ожидая различных бед, будто уже этим могла их предотвратить. Стоило мне вспомнить про родителей ночью в постели, или в школе, или по дороге домой в Клинтон-лодж — тут уж непременно, — ив голову немедленно лезли жуткие вещи, которые, наверно, уже случились с отцом, причем и место действия, и все обстоятельства я видела в мельчайших подробностях. Таким

способом я как бы была в курсе нескончаемых недомоганий отца. Один день его жизни представляется мне так ярко, будто это день не из его, а из моей жизни. Большую часть того дня отец провел в мужской уборной при местном пункте выдачи молока по карточкам: его снедал страх, что стоит ему выйти оттуда, его снова вырвет. Он впервые пришел на работу, в его обязанности входило вести картотеку учета. Позже он рассказал моей матери, а она — мне, что к полудню ему стало плохо. Одна девушка объясняла ему принципы составления картотеки, и в это самое время он почувствовал рвотный позыв. Пробормотав «извините» и натыкаясь на стулья, отец ринулся к уборной. Дверь была заперта изнутри. Ощущая на себе изумленный взгляд девушки, отец взмолился Всевышнему: «Только не дай, Господи, чтобы меня вырвало прямо здесь!» Тут дверь перед его носом распахнулась, и он чуть не упал навзничь.

— Эй, осторожнее! — вскрикнул вышедший из уборной человек и протянул руку, чтобы поддержать отца, но тот бросился внутрь, запер дверь, и его вывернуло наизнанку. Ему сразу стало легче, хотя ноги у него подкашивались и его корчило, как перед приступом астмы; он поспешно открыл

окно. Под струей холодного воздуха прошивший отца пот леденил ему лицо, шею, руки. Он сосредоточился, как бы прислушиваясь к целому комплексу сильных, пугающих ощущений, опасаясь нового апоплексического удара. Снаружи кто-то дергал и тряс дверную ручку, потом еще и еще и наконец удалился. Дыхание у отца выровнялось. Он вымыл руки холодной водой, размышляя, в силах ли он вернуться в контору, и тут его снова вырвало. Весь день ручку двери дергали снаружи, но в конце концов назойливые посетители ни с чем топали прочь. В половине шестого, когда служащие ушли и контора опустела, отец отпер дверь и вышел на улицу. Он боялся, что рухнет на тротуар; он даже хотел этого, однако заставлял себя двигаться вперед, сам не зная куда. Потом свернул за угол и увидел, что по склону к нему спускаются жена и дочь.

Я встретилась с мамой по дороге из школы; она шагала быстро, пальто было небрежно накинуто на плечи.

— Что случилось?

— Ничего, солнышко. Просто вышла пройтись.

— Пройтись? А ты ела?

— Нет еще. Решила выйти навстречу папе. И вот что, родная, давай не будем препираться.

Прошу тебя! Это его первый рабочий день.

— Но папа же поправился. Доктор сказал, что ему можно выйти на работу. Нельзя так волноваться, когда он хотя бы на минуту выходит из-под твоего присмотра.

— Я и не волнуюсь. Он уже идет к нам.

Мы остановились, прислушиваясь к неровным шаркающим шагам и стуку палки за углом.

— Это не папа. Это какой-то старик, — сказала я и тут же увидела его — моего отца с тростью в руке; кровь бросилась мне в лицо. — Ой, я думала, ты про того старика, вон, на той стороне улицы. Я не поняла, про кого ты говоришь.

Перед подъемом в горку отец остановился перевести дух. Ворот плаща завернулся внутрь, ширинка расстегнута.

— Иго! — окликнула его мама.

Он увидел нас, и половина его исхудалого лица расплылась в улыбке. На плохо выбритой левой щеке виднелись следы яйца.

Вместе с родителями я повернула в горку, но левая нога отца, похоже, не слушалась хозяина. Он остановился.

— Может, взять такси? — предложила мама. — Идти-то, правда, всего два квартала. Как-то глупо брать машину. Видите там, за забором, кусты

остролиста? Дойдем до забора и опять отдохнем. Помнишь, Иго, еще в Вене Лора, бывало, пройдет от дома квартал, а дальше — ни шагу, сразу в слезы: «Хочу домой прямо *сейчас*!» Вот уже и остролист. Отдыхай, Иго. Как ты, ничего?

С каждым вздохом грудь отца тяжко вздымалась.

— Вон такси, — сказала мама. — Но нам осталось каких-то полтора квартала. Давайте добредем до дома мисс Даглас.

* * *

Мой отец проработал в пункте выдачи молока один месяц. В одно воскресное утро, когда я вытирала пыль в гостиной мисс Даглас, с ним в Клинтон-лодж опять случился удар. Дело было в ванной комнате. Он упал на запертую изнутри дверь. Такое мне, при всем моем воображении, в голову не приходило, и стряслось это в ту минуту, когда я об отце и думать забыла. Трудно представить, какое облегчение я испытывала в последующие недели оттого, что он лежит в больнице, где с ним ничего не случится!

Однажды вечером, едва мама успела повесить на крючок пальто, снять туфли и поставить на огонь чайник, чтобы выпить чашечку кофе, раз-

дался звонок во входную дверь. Ее спрашивал какой-то незнакомый мужчина.

— Вы миссис Грозманн? — улыбаясь, уточнил он. — Доктор просит вас зайти в больницу.

— С мужем плохо? — спросила мама, снимая с вешалки пальто.

Мужчина открыл перед нами дверь. Мы вышли.

— Вам повезло, что вы живете рядом с больницей, — заметил он.

— Да. Да, нам повезло, — подтвердила мама.

— Холодно, — сказал он. — Времени без четверти девять, а уже тьма, будто полночь.

Между сторожкой вахтера и огромными больничными дверями простирался открытый двор, по которому гулял резкий ветер. Юбки хлестали нас по ногам. В вестибюле первого этажа стоял открытый лифт, но поперек входа висела цепочка, а лифтера или работников больницы не было видно, и мы побежали вверх по лестнице. Двери в отцовскую палату были закрыты. К нам вышла сестра, на вид чуть старше меня.

— Сестра, — обратилась к ней мама. — Мне нужно навестить мужа.

— Сейчас нельзя. Для посетителей отведены определенные часы.

— Но меня вызвали. Где старшая сестра?

— О-оо, я не знаю, где она, — протянула юная сестра, оглядывая пустой коридор. — Наверно, скоро придет. А мне надо заняться больными в другой палате.

И она ушла по своим делам.

Мама открыла дверь. С потолка лился тусклый свет одной-единственной синей лампочки, но мы все же разглядели горбом поднятые колени моего отца. Мама рванулась к нему — увы, в отцовской койке лежал незнакомый мужчина. Он открыл глаза, посмотрел на нас, облизал губы и снова закрыл глаза.

К нам уже шла старшая сестра, за ней семенила юная сестричка, сдерживая смех прижатыми ко рту ладошками.

— Миссис Грозманн, вашего мужа перевели в другую палату. Я оставила у вахтера записку для вас. Довольно глупо получилось.

— Как он? Плох? — спросила мама.

— Эта сестра будет работать в палате, где лежит ваш муж, так что следуйте за ней.

По лабиринту коридоров мы следом за сестрой вышли в старые корпуса больницы. Отчетливо помню, как перед нами маячила ее голова, как она вела рукой по стенам и резко сворачивала

за углы.

Возле палаты нас поджидала незнакомая старшая сестра.

— Вы миссис Грозманн? С вами хочет поговорить врач.

— Как себя чувствует мой муж?

— Заходите сюда, сестра принесет вам стул.

Мы вошли в тесную пустую раздевалку. На деревянных колках висели обычное пальто и черная с алым подбоем накидка старшей сестры. На стене объявления: «Пожалуйста, выключайте свет». «Больница не несет ответственности за вещи, оставленные в раздевалке».

— Куда же подевался обещанный стул? — обронила мама.

Я стала в дверях. Передо мной тянулся упиравшийся в стену коридор; свет голых электрических лампочек отражался в коричневом линолеуме, в ярко-желтой масляной краске стен. Дверь напротив была распахнута — там располагалась кухня, над мойкой вздымался пар, за столом сидела, болтая ногами, сестра. Кто-то весело смеялся. Потом дверь закрыли.

К нам направлялись двое: старшая сестра и незнакомый молодой врач. Я отступила назад, в раздевалку. Они прошли мимо нашей двери

и остановились неподалеку; нам было слышно, как они переговариваются. Я увидела рукав медицинского халата. Внезапно рукав исчез, и в раздевалку вошел врач.

— Все в порядке, теперь вы можете навестить своего мужа, — сказал он.

— Что, доктор, он совсем плох? — спросила мама.

— У него случился еще один удар; он вас звал целый день. Удивительно, что он еще жив. У него сердце как у быка, — вроде бы донеслось до меня. Я удивленно посмотрела на врача. Мне казалось, он на маму кричит.

— Перед уходом доктор Адлер выписал постоянный пропуск, и вы можете остаться здесь на ночь. Сестра все подготовит, я буду дежурить. Если что, можете позвать меня. Или старшую сестру. Так что не волнуйтесь.

Отец лежал, вытянувшись во весь рост; голова его была опутана сетью трубочек с бутылочками и пузатыми банками. Сквозь щелки неплотно сомкнутых век виднелись белки глаз. Может, он умер, подумала я, но тут же увидела, что на шее, у самого его горла, отчаянно пульсирует жилка.

— Вот вам стул, — сказала старшая сестра. — И можно взять стул у той кровати. Если вам что-то

понадобится, я буду на сестринском посту в углу, за ширмой. Хотите чашечку чая?

— Да, сестра. Вы очень добры, — сказала мама. — Спасибо.

— Не за что. Устраивайтесь поудобнее. Ночь всегда долго тянется.

— Мамочка, — шепнула я, — доктор сказал, что у папы сердце как у быка. Что это значит?

— Мне кажется, он сказал «бычье сердце». Есть такой медицинский термин, но его точного значения я не знаю.

Юная сестричка, та, что вела нас к отцу, принесла маме чашку с чаем.

— Я положила сахару, не спросив вас.

— Обычно я с сахаром не пью, но сейчас это очень кстати, — успокоила ее мама.

— Нет-нет, погодите. Я принесу вам другую чашку, без сахара. Вечно я все путаю.

Она унесла чашку, и больше мы ее не видели.

— Который час? — спросила я.

— Без двадцати пяти десять. Солнышко мое, не пойти ли тебе домой? У тебя ведь скоро экзамены.

— А тебе идти на работу. Пока ты тут сидишь, я посижу тоже.

Я поерзала, устраиваясь на жестком стуле.

Лежащий на соседней койке мужчина приподнялся и взбил подушку. В просторной палате там и сям шевелились тела, ища облегчения своих страданий. Со всех сторон слышались кашель, тяжелое сопение и слабое покряхтывание — нечто среднее между хныканьем и смехом. В палате становилось все жарче, жара и шум сливались в нарастающий гул… Я вздрогнула и очнулась от дремы:

— Который час?

— Без пяти десять.

Около полуночи мама достала из сумочки конверт и, улыбаясь, стала что-то на нем писать.

— Что ты там царапаешь?

Она протянула мне конверт. Я увидела на нем буквы «НПЛТД».

— Что это значит?

— Не пойти ли тебе домой?

— Дай мне карандаш.

И я вывела: «Я О, Е ты О».

Мама улыбнулась и убрала конверт в сумочку.

В половине первого ночи отец открыл глаза и спросил, какое сегодня число. Мама сходила за сестрой, та позвала старшую сестру, а она привела молодого врача. Они измерили у отца пульс, потрогали щеку и остались стоять у его постели,

но он поднял правую руку и прежним хорошо нам знакомым жестом отмахнулся от них. В ту ночь отец решил погодить со смертью.

Когда мы вышли из больницы, на улицах мерцал жутковатый свет — какой-то пронзительно синий. Сквозь ночную мглу стали проступать объемные очертания деревьев и домов. Было очень холодно. На углу в тележке молочника дребезжали пустые бутылки. При виде нас молочник поднес руку к фуражке.

Я взглянула на маму; по ее лицу струились слезы.

— Солнышко мое, обещаю тебе: если папа умрет, я убиваться не буду, — сказала она и зарыдала. — Поверь, я очень скоро повеселею. Из-за меня тебе волноваться не придется. Но сейчас ему так плохо!..

Мысль о возможной смерти отца повергала меня в ужас, потому что я точно знала: оплакивать его я не смогу, и маме — как и мне — станет ясно, до чего я черствая и бездушная.

Но отец явно не собирался умирать. Он начал поправляться: стал сидеть, потом ходить и — упрашивать маму забрать его домой.

В один прекрасный день в Клинтон-лодж явился доктор Адлер.

— Мужу стало плохо? — испугалась мама. — Я рассталась с ним всего час назад.

— Нет-нет, что вы! Можно войти? Я только что ушел из больницы, и мне захотелось повидаться с вами накоротке. Может, вы мне еще и чашечку кофе сварите? Муж ваш идет на поправку, скоро мы переведем его в корпус для выздоравливающих. Я говорил с миссис Диллон из Комитета по делам беженцев, они уже подключились, так что все в порядке.

— Ах, какие же вы все добрые! — воскликнула мама.

— А еще мы говорили о вас и оба считаем, что вам необходим отдых.

— Возможно, когда муж поправится…

— Миссис Диллон связалась с мистером Харви, в чьем ресторане вы работаете, и он готов предоставить вам недельный отпуск, начиная с ближайшей пятницы.

— Спасибо, но сейчас мне отпуск, пожалуй, не по карману…

— Вот адрес, дом принадлежит одному из больничных врачей, — продолжал доктор. — Он уезжает на неделю вместе с семьей, и они приглашают вас поселиться у них. Хозяйство ведет экономка, между прочим, немка; она будет о

вас заботиться. Вот вам расписание автобуса. Я отметил пятницу, дневные рейсы…

В воскресенье я поехала навестить маму и застала ее за лущеньем гороха.

— Я думала, ты будешь отдыхать! — возмутилась я.

— Я и отдыхаю, — сказала мама. — Солнышко, мне отдых не в отдых, если я просто сижу без дела.

— Почему ты хотя бы не сядешь на весь стул, а непременно на краешек?

— По привычке. Но я в самом деле отдыхаю. Сегодня утром я сидела в гостиной, правда, миссис Хьюберт?

— Да, после того как подмели наверху все комнаты и застелили постели, — уточнила экономка.

— Но я чувствую себя гораздо лучше. Солнышко, съезди в корпус для выздоравливающих, навести папу, хорошо?

— Пока у тебя отпуск, нечего даже думать про папу! — почти в слезах закричала я. — Отдыхай!

Когда я тем же вечером вернулась домой, из столовой до меня донесся голос миссис Диллон: она разговаривала по телефону.

— С ним нет никакого сладу, врачи отказыва-

ются держать его в клинике. Обслуживающий персонал жалуется, что он то и дело их вызывает, но общается с ними только по-немецки, — говорила она. Я сразу поняла, что речь идет об отце. — Другие пациенты тоже недовольны: он не дает им спать, потому что ночь напролет зовет вас.

Мне стало ясно, что она разговаривает с моей матерью. Я прислонилась головой к двери и заплакала.

В тот же вечер мама вернулась и забрала отца в Клинтон-лодж.

* * *

Шел тысяча девятьсот сорок третий год. Мне исполнилось пятнадцать. У отца периоды ухудшения чередовались с периодами частичной стабилизации и просветления, поэтому мы жили в постоянной тревоге. Мама чувствовала, что силы ее на исходе, и это повергало ее в отчаяние. Вдобавок каждую ночь немцы обстреливали город ракетами. Все это стало частью нашей жизни.

В начале июня 1944 года отца в очередной раз выписали из больницы. В ту неделю союзные войска высадились на побережье Франции. Мы

рассказали отцу об этом событии, но он словно не слышал нас.

А потом однажды ночью он умер. Я испытала короткий, но тяжкий приступ горя, а позже обнаружила, что чувствую неподдельную боль в груди, когда рассказываю, как отец пытался позабавить меня историей про Рикки-Тикки-Тави и как всякий раз, когда мне предстояло важное событие, он навязывал мне свой крокодиловый ремень и даже хотел его мне подарить, а я папу оттолкнула, и он упал.

Мы с мамой сидели в ее комнате. Миссис Кац принесла нам поднос с едой и стала говорить о том, как замечательно мама относилась к мужу, так что ей не в чем себя упрекнуть, и это должно быть для нее утешением.

Мама покачала головой:

— Не так уж и замечательно, как вы все думаете. Вы же не знаете, что часто, лежа рядом с ним в постели, я сжимала руки *вот так*, — мама сплела пальцы и судорожно стиснула, — и мечтала, чтобы к нему наконец пришла смерть; ради его же облегчения, но не только. Ради Лоры и меня.

— Но это же естественно, — возразила миссис Кац. — Ты просто не хотела, чтобы он страдал.

— Да, но корю я себя не за это, — продолжала

мама. — Скажу откровенно: было и такое, чего я не могу себе простить. Помните, он вернулся из пункта выдачи молока после первого рабочего дня. Ему было так плохо, что он еле волочил левую ногу. Я хотела взять такси до дома, но меня мучила мысль: глупо брать машину в каких-то двух кварталах от цели, и я заставила его идти пешком.

Мама заплакала, лицо у нее разом осунулось, щеки запылали.

— Все это уже в прошлом, — пыталась утешить ее миссис Кац.

— Я же могла взять такси просто ради него, — сквозь слезы проговорила мама. — И дело было даже не в деньгах. Нет, мне, видите ли, было неловко: вдруг шофер решит, что ехать всего два квартала. да еще ради беженцев, просто нелепо. И я заставила Иго ковылять в гору из страха выглядеть глупо в глазах таксиста! Погодите минутку, я сейчас перестану плакать, — захлебываясь рыданиями, сказала она. — Я же обещала Лоре, что, если Иго умрет, я быстро утешусь и повеселею. Вот увидите, так и будет.

Как-то в воскресенье, примерно через неделю после смерти отца, я вошла в Клинтон-лодж и увидела, что там сидит толстяк-доктор и пьет с

мамой кофе.

— Ты заболела? — спросила я.

— Боже сохрани, нет. Просто доктор Адлер по доброте своей обо мне беспокоился.

— Я шел из больницы мимо вашего дома и подумал: а не заглянуть ли мне к твоей доброй матушке? Она как раз варила себе кофе, и я попросил сварить мне чашечку тоже. Как другу, понимаешь? А как врач, я обязан предупредить, что вам не стоит потреблять так много кофе. — Указательным пальцем он похлопал по маминому запястью. — Подозреваю, что вы пьете слишком много чашечек кофе, и это сказывается на вашей нервной системе.

— В последнее время нервы у меня и впрямь расшатались, — призналась мама. — То и дело подводят. Вы не представляете, какие номера я откалываю в ресторане. Бедный мистер Харви! Вчера я дважды посолила горох, сегодня картошку не солила вообще. Не ходите завтра к Харви обедать, не те вам подадут мясную запеканку с несоленым картофелем.

— Обещаю не обедать в ресторане «У Харви», если вы пообещаете разок угостить меня настоящим венским ужином.

— Wiener Schnitzel[34], — тут же откликнулась мама. — Только скажите, когда.

В середине недели мама мне призналась:

— Что я сегодня сделала — нипочем не догадаешься. Купила новое платье! Ушла из ресторана на полчаса раньше, забежала в банк, сняла двадцать шиллингов, пошла в магазин и выбрала себе платье. Розовое.

— Розовое?! Ты, наверно, имеешь в виду розовато-серое?

— Розовое, — сказала мама. — Это было единственное красивое платье во всем магазине. Надела его в полной уверенности, что буду выглядеть очень глупо. Но потом распустила пучок, волосы рассыпались — вот так. Смотри, они по-прежнему волнистые, а розовый цвет оттеняет рыжинку. Получилось очень здорово.

Я почти не сомневалась, что мама меня просто разыгрывает.

— Ну, и где же оно?

— Его подгоняют по фигуре. Сейчас даже нельзя его забрать. Я сама им сказала: не тяните. Оно мне нужно к субботе.

В субботу вечером пришел доктор Адлер, и

---

[34] Примечания: 34
Шницель по-венски (*нем.*).

мы ели Wiener Schnitzel. Мама надела розовое платье — ярко-розового цвета. Я наблюдала за выражением лица доктора, ожидая, что он сочтет такой туалет странным, но он был в отличном настроении и сказал, что мама похожа на юную девушку. Ее лицо разрумянилось, глаза заблестели, даже слишком. После ужина мы перешли в гостиную; усевшись напротив доктора, мама шутила и хрипло, пронзительно хохотала. Потом доктор пригласил ее прогуляться с ним вокруг нашего квартала.

В понедельник у парадной двери «Адорато» стояла миссис Диллон, поджидая меня.

— Давай зайдем на минутку в дом, — сказала она и повела меня в гостиную. — Сядь сюда, на диван.

И сама села рядом.

— Что-нибудь случилось? — всполошилась я.

— Да нет. Я бы так не сказала. Пока — ничего страшного. Знаешь, кто приходил ко мне в Комитет? Ни за что не угадаешь. Мистер Харви. Он очень беспокоится за твою маму.

— Почему? С мамой все хорошо. Я давно не видела, чтобы она столько смеялась.

— Да, но именно это, скорее всего, и вызывает беспокойство. Мистер Харви утверждает, что

она совершенно переменилась. По его словам, раньше, когда дела обстояли хуже некуда, она всегда была в высшей степени добросовестным работником, а теперь такое впечатление, что ей внезапно стало на все наплевать. Дня не проходит, чтобы она чего-нибудь не перепутала. Он без околичностей предупредил ее, что в ресторанной работе такое отношение непозволительно; в ответ она рассмеялась ему прямо в лицо.

— И что же теперь будет? — спросила я, снова чувствуя в груди знакомую дрожь тревоги.

— Мистер Харви признался, что он в полной растерянности. Сегодня, говорит, она забыла вовремя разжечь огонь, и пришлось вычеркнуть из меню жаркое. Он отвел ее в сторонку, для серьезного разговора без посторонних ушей, а она разоралась ему прямо в лицо. До этого случая он ни разу не слышал, чтобы она повышала голос. А тут кричит во все горло: «Почему вы не можете относиться к такой ерунде спокойно, как все прочие люди?!» Мистер Харви просил меня поговорить с твоей мамой, но, на мой взгляд, лучше бы *ты* поговорила с ней сама. Ты это умеешь. Втолкуй ей, что надо быть внимательнее и не допускать промашку за промашкой.

Когда я пришла в Клинтон-лодж, мама была

на кухне.

— Жареная курица с огуречным салатом, — объявила она, — и вовсе не для мистера Харви и его посетителей, а для нас с тобой. На гарнир жареная картошка. Снимай пальто.

— Как идут дела в ресторане?

— Отлично, — сказала мама.

— Промахи все еще случаются?

— Промахи? Что ты имеешь в виду?

— Помнишь, ты сама рассказывала доктору Адлеру?

— Сядь и поешь, пока не остыло. У других они тоже бывают. Помню, мистер Харви однажды собственными руками загубил целый рыбный ужин. Он мне сам рассказывал.

— Может, у тебя они случаются слишком часто?

— Мистер Харви тебе нажаловался?

— Нет. Где мне с ним видеться-то? Он приходил к миссис Диллон. Я всего лишь хочу сказать, что тебе надо быть внимательнее и остерегаться ошибок. А еще он говорит, ты даже не извиняешься. Сегодня не зажгла огонь под жарким, а в ресторане так работать непозволительно. И еще, мамочка: надо бы перестать пить столько кофе!..

На моих глазах мама побледнела и осунулась,

губы болезненно покраснели, в них появились поперечные бороздки, похожие на морщинки. Глаза расширились и наполнились слезами. Она уставилась в тарелку и опустила вилку. Когда в кухню со словами «добрый вечер» вошел мистер Кац, мама встала и скрылась в посудомоечной. Было слышно, как она гремит там тарелками; вскоре она ушла наверх и закрыла за собой дверь.

В следующие недели мама замкнулась в себе. От внезапно повышенного голоса могла расплакаться. Мы боялись даже заговаривать с нею. Доктора Адлера она больше к себе не приглашала. Но на работу исправно ходила каждый день. Недавно она призналась мне, что это было самое тяжкое время в ее жизни: чтобы не сорваться, ей ежедневно и ежеминутно приходилось напрягать все нервы до последнего — стоит только расслабиться, казалось ей, и она сразу слетит с катушек.

Я исподтишка постоянно наблюдала за ней, напряженное выражение теперь никогда не сходило с ее лица. Не помню, когда именно до меня дошло, что беда — а я в любую минуту ее ожидала — нас все же обойдет стороной. Мама опять шутила, как прежде, и, откинув голову,

заливалась грудным смехом. Она стала разговаривать с навещавшими нас людьми. Когда она вспоминала моего отца — а она его вспоминала часто и охотно, — я принималась искать глазами какую-нибудь книжку. Мама поведала всем и каждому историю о том, как она заставила отца тащиться в гору, вместо того чтобы взять такси. Она и теперь изредка повторяет ее мне, но я лишь совсем недавно ей призналась, что отец когда-то упал на пол перед зеркальным гардеробом, потому что *я его оттолкнула*.

Глава седьмая
Оллчестер: мисс Даглас и миссис Диллон

Вскоре после того, как я поселилась в «Адорато», хозяйки, уверенные, что я уже ушла в школу, беседовали в гостиной, не подозревая, что я стою в полутемном, крытом ковром коридоре, приникнув ухом к двери. Миссис Диллон мягко упрекала мисс Даглас: мол, сестра слишком сурово меня бранит.

— Этак нам никогда не воспитать из нее христианку, — говорила она.

Между Еврейским комитетом, спасшим меня из фашистской Вены, и Англиканским приходским комитетом по делам беженцев, занимавшимся в Англии моими повседневными нуждами, шло своеобразное соперничество. Оба боролись за мою душу, но без особого пыла.

С раннего детства меня растили как ассимилированную австрийку; еврейкой я ощущала себя главным образом по Великим праздникам. Иногда, например, по случаю Пасхи, когда празднуется исход евреев из Египта, мама могла бы

устроить настоящий пир с подобающим такому празднику угощением и убранством, но она подавала лишь крутое яйцо (в память о жертве, принесенной перед разрушением Храма) и при этом кудахтала, точно курица, которая только что его снесла; в петлице пиджака моего дяди Пауля красовался пучок обмакнутой в соленую воду петрушки (в память о жестоких гонениях на евреев). Во время молитвы, в которой мы проклинаем египтян — «Если б только Он вывел нас из Египта… дайену (этого достаточно); если б только Он свершил над ними праведный суд… дайену; если б только Он поразил их первенцев… дайену». На этом месте моя мать проводила под списком дайену воображаемую итоговую линию.

На Йом Кипур, или Судный день, вместе с мамой и другими женщинами я сидела на отделанной «под мрамор» галерее синагоги. Внизу мужчины в шляпах, раскачиваясь всем корпусом и неустанно шевеля губами, монотонно возносили молитвы на древнееврейском. Время от времени они древним жестом раскаяния били себя в грудь кулаками. Служба на Йом Кипур длится с восхода до заката. Мне не сиделось на месте. Я стала подбрасывать в воздух свою шапочку, и шамес, синагогальный служка, вывел меня на залитую

ярким солнечным светом улицу. Моя бабушка говаривала, что на Йом Кипур всегда ясное небо, а на христианские праздники льет дождь.

Однажды я случайно смешалась с торжественным пасхальным шествием по случаю Пальмового воскресенья[35]. В тот погожий день я вместе с родителями приехала в Фишаменд навестить дедушку и бабушку. Я шла мимо церкви в тот самый момент, когда из нее выходила многолюдная процессия. У дверей церкви отец Ульрих раздавал пальмовые ветки; сунул парочку и мне в руку, вместе с цветной картинкой, на которой был изображен Иисус с обнаженной грудью, из сердца его точилась кровь. Я шагала в ряд с маленькими девочками. Они были в белых платьях, на головах — веночки. Я подхватила одну из синих лент, ниспадавших с бархатного неба, — его несли на четырех шестах над Мадонной в лазоревых с золотом одеждах. Ее скипетр и венец несли следом на пурпурных подушках. Юные алтарники махали кадилами. Священник примкнул к хвосту процессии, он распевал гимны на латыни. Пройдя сквозь арку под башней, мы вышли на открытую площадь, и я увидела,

---

[35] Примечания: 35
В православной традиции — Вербное воскресенье.

что вся моя родня собралась у углового окна. Я замахала им пальмовыми ветками. Они тоже замахали руками и стали делать какие-то знаки. Я исполнила для них несколько танцевальных па.

Когда шествие двигалось мимо дома дедушки с бабушкой, моя мать, стоявшая начеку возле калитки, втащила меня во двор. (Дело было в 1937 году, и евреи уже сильно нервничали.) Пальмовые ветки мама поставила в вазу. Что же касается священной картинки, мама посоветовала отдать ее Марии, когда та вернется из церкви. Я долго не могла решить, как оценить картинку: то ли она прекрасная, то ли ничего хорошего в ней нет. В ту пору я целиком полагалась на мамин вкус, и по ее лицу мне стало ясно, что картинка не слишком хороша.

— К тому же она мне все равно не нужна, — заключила я.

Комната служанки находилась на самом верху, под крышей. Мария открыла дверь, и я заглянула внутрь. Там было темно. Поверх занавесок висела приколотая булавками сиреневая скатерть. Эта каморка была совсем не похожа на прочие комнаты в доме бабушки с дедушкой. Здесь даже пахло иначе — воздух был спертый, под изображением Богоматери и Младенца горела

свеча. Мария усадила меня на кровать рядом с собой. Я вручила ей картинку. Она меня горячо поблагодарила и сказала, что у нее целая коробка таких картинок, их можно посмотреть. И тут же принесла старую жестяную коробку из-под конфет и вывалила содержимое на постель. Там были изображения Богоматери, разных святых и младенца Иисуса среди лилий. Еще, сказала Мария, там есть красивые глянцевые открытки от одного молодого человека, с красными розами, сердечками и бантиками, но моя картинка ей нравится больше всех, и она будет хранить ее у самого сердца. Для пущей наглядности она расстегнула блузку, обнажив ложбинку между увядшими грудями, и сунула туда мою картинку. Мне пора идти, сказала я, внизу меня ждет мама.

Чудны́е люди эти христиане. Моя бабушка много чего про них рассказывала. Однажды красивый молодой отец Ульрих обратился к прихожанам с просьбой собирать серебряную фольгу, чтобы из нее потом сделали огромный шар, который пойдет в Фонд зимней помощи, и малышка Гретерль Веллиш целую ночь провела с жирным пьянчугой Копоцки, владельцем кондитерской лавки, ради одной-единственной шоколадки, обернутой в фольгу. Взрослых эта история жутко

насмешила. В бабушкиных рассказах христиане всегда говорили по-разному, но непременно с простонародным акцентом.

Когда после прихода Гитлера я жила в Вене у Эрвина, я брала уроки английского у молодой англичанки, некой мисс Генри. Мисс Генри была, видимо, женщина умная. Ее квартира на Рингштрассе очень походила на нашу. Мисс Генри жила с матерью, обе давали уроки: мать занималась в гостиной, а мисс Генри со мной — в спальне. На стенах висели всего две картинки: черно-белая гравюра под названием «Тинтернское аббатство» и фотография молодого человека в форме СС в рамке; уходя с урока, я часто видела его в прихожей, он там поджидал мисс Генри. Как-то я спросила отца, христианка ли моя учительница английского. Да, сказал он, хотя англичане, в отличие от австрийцев, не католики, а протестанты. После этого разговора я с любопытством поглядывала на мисс Генри во время диктантов, — вот она какая, ненастоящая христианка. Мне хотелось поймать ее на каком-нибудь промахе.

Так проходила моя подготовка к выбору между двумя верами, иудаизмом и христианством, до отъезда из Австрии, причем мама неустанно

повторяла, что решение должна принять я сама.

Когда я написала родителям, что две англичанки из Еврейского комитета спрашивали меня, хочу ли я жить в чудесной семье ортодоксальных евреев, мой отец обратной же почтой отправил письмо, в котором умолял меня немедленно обратиться к кому-нибудь из начальства и объяснить, что я не воспитывалась в ортодоксальной вере, и поэтому меня лучше направить в другую семью. Слово «ортодоксальный», писал он, означает крайне религиозный, правоверный, жестко соблюдающий правила, о которых я не имею ни малейшего понятия и неминуемо буду их нарушать и тем сердить окружающих. Увы, когда пришло его письмо, меня уже определили к Левинам.

Они были крайне изумлены моим невежеством в законах иудаизма. Сара взялась объяснять мне основные правила, и я ее не подвела, усвоив к концу зимы самое главное. Я с легкостью превратилась в правоверную иудейку, склонную к жесткому соблюдению всех канонов. Не желая пятнать Его Субботу трудом рук моих, я спускалась вниз по лестнице, не завязав шнурки туфель, и миссис Левин приходилось заставлять меня их завязывать. Я отказывалась от мороженого,

если оставалась еще хотя бы секунда до истечения положенных шести часов после обеда, ведь только тогда, по закону, молоко в желудке может безгрешно мешаться с мясом. Однажды, зайдя ненароком в посудомоечную, я, к своему ужасу, обнаружила, что Энни моет посуду из-под мяса молочной щеткой. Я немедленно указала ей на ее промах. Даже не обтерев мокрых рук, она взяла меня за плечи и решительно вытолкала вон, приговаривая: «Чего глаз не зрит… об том сердце не болит».

Позже, за год, прожитый на юге Англии у Хуперов и у Гримзли, я рассталась с северным акцентом, который усвоила в Ливерпуле, и стала социалисткой, но тут обстоятельства вновь потребовали от меня некоторой гибкости.

Мой пролетарский выговор, вывезенный из Кента, удручал оллчестерских дам, и мисс Даглас занялась мною всерьез. По утрам я отправлялась с ней на прогулку по росистому саду. Я несла лейку и наполняла водой ванночки для птиц. Мисс Даглас, в широкополой шляпе и садовых перчатках, несла корзинку, в которой лежали ножницы и свежесрезанные цветы для гостиной. Вечером я переобувалась, надевала зеленое шелковое платье — мисс Даглас выискала его на органи-

зованном ею церковном благотворительном базаре. К платью она собственноручно пришила новые пуговицы. После ужина я присоединялась к собиравшемуся в гостиной обществу: дамы, кокер-спаниель и большой черный кот. (Завтракала и обедала я всегда вместе с хозяйками в столовой, но ужин — мероприятие для взрослых, а детям положено ужинать в детской или в классной комнате. Но поскольку ни детской, ни классной в «Адорато» уже не было, мисс Даглас клала мне еду на тарелку, и я шла ужинать на кухню, в вотчину Милли.)

Если выдавался особенно погожий денек, мы втроем усаживались на веранде, и тогда мисс Даглас отправляла меня за корзинкой с ее рукоделием. Летом в Англии светло до поздней ночи. Уже и веранду, и лужайку окутывал сумрак, но небо, по-прежнему высокое, лучилось светом. Мисс Даглас, подрубавшая нагрудничек для младенца Милли, откладывала работу в сторонку, миссис Диллон отрывала глаза от покрывала, на котором она вышивала цветы шелком ста разных оттенков.

— Какая невероятная красота! — восклицала она. — Восхитительный сегодня день!

Мисс Даглас поднимала нос повыше, вдыхала

бледно-золотой воздух и указывала на распустившуюся после нашего утренней прогулки розу, на последние два тополя, освещенные закатными лучами, на трех птичек, блеснувших на вираже золотистыми брюшками, в то время как их спинки уже накрывала тень… Затем мисс Даглас и миссис Диллон вновь брались за рукоделие, а мисс Даглас, видя, что я развалилась на стуле, приказывала мне либо сесть прямо, либо найти работу: праздные руки дьявол вмиг займет какой-нибудь каверзой.

В сентябре меня отправили в частную среднюю школу, где я пользовалась любой возможностью (а то и находила повод) оповестить всех моих новых знакомых, что я — беженка-еврейка, что моя мать работает кухаркой, а отец — садовником.

По четвергам, когда мы с мамой встречались в клубе беженцев, она всякий раз спрашивала, написала ли я благодарственные письма тем людям, которые в разное время брали меня к себе жить. «Нет еще, но обязательно напишу», — отвечала я. Необходимость писать эти письма пусть не сильно, но постоянно омрачала мои отроческие годы. «Завтра же напишу, — уверяла я маму. — Не волнуйся по пустякам». Но мама все волновалась, как волновалась за отца, за моих де-

душку и бабушку, сама же она работала слишком много, отчего я так сильно волновалась, что без всякой радости ждала очередного четверга.

Как-то за завтраком мисс Даглас велела Милли поставить миску с овсянкой на сервант.

— Мы сами справимся. Лора, детка, будь умницей, подай нам кашу.

Как только дверь за Милли закрылась, миссис Диллон стала жестами подсказывать мне, что, взяв миску, надо подойти к мисс Даглас с левой стороны и предложить ей каши.

— Удивительное дело, вечно у них в пятницу начинает ломить спину, — ворчала меж тем мисс Даглас. — Вчера у нее чуть ли не весь день был свободен, и я не слыхала никаких сетований на натруженную спину, а ты? Если бы она вчера отдыхала, а не шлялась часами по городу, наутро, надо полагать, и работа у нее спорилась бы.

— Но за всю неделю у нее лишь полдня свободного времени, — вступилась я за Милли, — а в неделе как-никак семь дней.

— При чем тут это? — удивилась мисс Даглас. — Кончил дело — гуляй смело.

— О чем ты? — вторила сестре миссис Диллон. — Каждое второе воскресенье она тоже полдня свободна.

— Но всего полдня, — пыталась объяснить я. — А после нашего ужина ей всегда остается еще и гора грязной посуды. Может быть, Милли просто переутомилась…

— Может быть, тебе пора в школу, — оборвала меня мисс Даглас.

— Тюремщица проклятая! — возмущалась вечером Милли, обеими руками держась за поясницу. А ведь Милли была крупная сильная женщина, очень работящая, хотя и немного небрежная. — Взяла бы *сама* да повкалывала денек, я бы на нее посмотрела.

— Она работает, — возразила я. — Никогда не сидит сложа руки.

— Ага, известное дело. По утрам цветочки срезает.

— А днем занимается благотворительностью, — продолжала я. — Она неважно себя чувствовала, а все равно пошла навещать глухонемых, потому что сегодня ее очередь. И потом, чтобы тебя освободить, миссис Диллон занялась стряпней, а мисс Даглас — твоей малышкой.

— Ага, но сливочки-то с детского молока не забыла снять и *себе* в кашку положить. Если не перестанет лопать то, что другим по карточкам выдают, — это при ее-то высоченном давле-

нии! — того и гляди, окочурится. Фффук — и нет ее! Туда ей и дорога. Молоко-то ведь не ей выдали. Правительство выдает его малышам. У тебя она сливки тоже сняла. — Милли ткнула пальцем в мой стакан. — А это как называется? — сказала она, размахивая листком салата и тряся блюдечком с тремя крекерами. — Знаешь, что они сами трескают? Суп, куриное фрикасе и яблочный мусс. Скряги старые.

— Неправда! — возмутилась я. — Просто детям не полезно наедаться на ночь. Мисс Даглас говорит, от этого страшные сны снятся. И потом, если бы они были жадные, то ни за что не взяли бы меня к себе. Мисс Даглас купила мне на благотворительной распродаже шелковое платье, а миссис Диллон оплачивает мои уроки игры на фортепьяно. Никакие они не скряги.

— А чего ж тогда они мне платят всего пятнадцать шиллингов в месяц?

— Да, но ведь за жилье и еду они не берут, — напомнила я. — И мисс Даглас говорит, все только ради малышки. У других служанкам не разрешают жить в доме с детьми. Моя мама не может взять меня к себе.

— Хочешь знать правду, почему она разрешает мне жить у нее с ребенком? — спросила Милли,

дыша мне в лицо. — Я тебе скажу. Она любит играть с малышкой, вот почему.

Охнув, Милли принялась растирать поясницу.

— Разве зазорно любить детей?

Мои выступления в роли третейского судьи в конфликтах между хозяйской и черной половинами приносили мне одни неприятности. Чаще всего мне казалось, что правда на стороне прислуги, но в гостиную меня тянуло куда сильнее, чем на кухню.

— Ладно, топай к себе, — сердито говорила Милли, — не мешай убирать со стола, мыть посуду, наливать кипяток в их паршивые грелки и стелить ихние постели, чтоб им пусто было. Главное, поскорее закончить на сегодня. Топай, топай.

Но я болталась у Милли под ногами, надеясь подобрать объедки на тарелках, которые прибудут из столовой. Мне хотелось есть. Тарелки являлись, но вместе с мисс Даглас, и она самолично убирала остатки в кладовку, накрывая их сетчатыми крышками.

В тот вечер я самым серьезным образом предложила мисс Даглас свои услуги по выполнению домашней работы в течение одного дня, если, конечно, она согласна. Тогда Милли сможет отлежаться в постели и как следует отдохнуть, или

пойти, куда ей надо, или займется в этот день чем-нибудь по своему усмотрению. Я искренне удивилась, что мисс Даглас отнюдь не пришла в восторг от этой идеи.

— В самом деле, Ханна, почему бы ей не поработать по дому? — спросила миссис Диллон. — А я взяла бы на себя стряпню.

В итоге Милли уведомили, что весь следующий четверг она свободна, как птица. Но я проспала, и пришлось миссис Диллон подавать сестре утренний чай, а потом мисс Даглас собственной персоной пришла в мою каморку под крышей поднимать меня с постели. Тем временем миссис Диллон развела огонь в печи, вытерла в столовой пыль и накрыла завтрак. Увидев меня, она приложила палец к губам. Я разревелась и бросилась ей на грудь.

Миссис Диллон не то чтобы оттолкнула меня, но словно съежилась от неловкости, когда я стала заливать перед ее платья слезами. Я отпустила миссис Диллон и осталась стоять и рыдать в одиночестве.

— Надеюсь, впредь ты предоставишь мне руководить моим домом и слугами так, как я считаю нужным, — сказала за завтраком мисс Даглас. Я еще немножко поплакала — от обиды, что тво-

рить добро оказалось так непросто. — А теперь беги, не то еще и в школу опоздаешь.

Вот тогда, стоя за дверью гостиной, я и услышала, как миссис Диллон выговаривала мисс Даглас, что такими методами меня в христианство не обратишь. И тут я взъярилась и решила: буду верна себе. *Никому и никогда* меня ни во что не обратить.

На следующий день, когда мы с миссис Диллон выгуливали собаку по окрестным холмам, я стала критиковать Иисуса.

— Если он пришел в мир, чтобы спасти всех, почему сейчас, в эту самую минуту идет война, людей убивают, а евреев безжалостно преследуют?

— Сказано же: «Неисповедимы пути Господни», — ответила миссис Диллон.

— Если Он способен творить чудеса, почему тогда послал на землю Своего сына?

Ясные глаза миссис Диллон омрачило смятение, но вскоре — в результате борьбы с собой — его сменило упрямство:

— Потому. В Библии прямо сказано: «…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного (дабы всякий верующий в Него не

погиб)»[36]. А еще есть Святой Дух, Троица. Объяснить это трудно. Был бы жив мой дорогой муж, он бы тебе все растолковал: он ведь был викарием. Я только твердо помню слова Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь»[37], и если ты будешь ему молиться, он поможет тебе обрести веру.

— Но раз я в него не верю, как же мне молиться ему, чтобы он заставил меня поверить в него?

— Не ребенок, а сущее наказание, — жаловалась миссис Диллон сестре: вечером я подслушивала их за дверью гостиной. — Ты ей слово, она тебе десять, и все поперек.

Ходить на уроки христианского Закона Божьего в школе я решила сама, потому что всегда получала по этому предмету отличные оценки; кроме того, мои хозяйки частенько брали меня с собой на церковные мероприятия, правда, не из главных. И когда мисс Даглас собралась ехать в церковь, чтобы украсить ее к Пасхе, я поехала с ней. Заднее сиденье в машине было завалено ландышами, нарциссами и ветками цветущего миндаля из сада «Адорато», а еще ветками вербы, которые мы наломали во время прогулок.

---

[36] Примечания: 36
Евангелие от Иоанна, 3:16.

[37] Примечания: 37
Там же, 14:6.

Бромли принес горшки с лилиями и розовыми и синими гиацинтами — после службы их отвезут в больницу. Церковный сторож отпер шкаф в заалтарной части, в нем хранились вазы, чаши и лейки. Там мы встретили миссис Монтгомери; как и у мисс Даглас, у нее было свое постоянное место в церкви, позади мисс Даглас. Дамы сдержанно, как пристало в таком святом месте, обменялись любезностями. Миссис Монтгомери тоже привела с собой маленькую беженку. Я видела ее впервые, однако она показалась мне знакомой. Девочка была на редкость некрасива: толстая, в очках, с заметными уже грудями и пробивающимися на верхней губе усиками. Звали ее Герта Хиршфелд. Она тоже приехала из Вены, но была постарше меня.

В пронизанной солнечными лучами церкви стояла тишина, нарушало ее только шарканье сторожа, обметавшего пыль со старых скамей темного полированного дерева. Мисс Даглас и миссис Монтгомери, обе в шляпках, украшали окна в конце своих рядов. Мы с Гертой Хиршфелд наливали в уборной, по соседству с кабинетом викария, полные лейки воды и сновали с ними навстречу друг другу по центральному проходу. Я специально замедлила шаг, чтобы Герта могла

поравняться со мной в коридорчике, ведущем в подсобные помещения, и спросила, бывала ли она в Ливерпуле.

— Никогда, — ответила Герта.

— Я там познакомилась с одной девочкой, ее звали Хелена, — сказала я.

— Меня зовут Герта, — напомнила она, но с этого времени толстуха Герта почти слилась в моем сознании с пухлой Хеленой.

— Это твоя хозяйка? — спросила я про миссис Монтгомери.

— Да. — ответила Герта.

— Ты что, в среднюю школу не ходишь?

Герта объяснила, что миссис Монтгомери отправила ее в школу в соседнем городке, потому что в свое время сама там училась.

— Значит, по четвергам ты в клуб беженцев не ходишь. А мы с мамой ходим. Моя мама работает кухаркой. А папа лежит в больнице.

Герта сказала, что ее родители не в Англии. Где же они? — спросила я, и она ответила, что не знает. Они тайком перешли границу между Австрией и Венгрией, и с тех пор она не получала от них вестей, зато у нее есть брат в Палестине, он работает в кибуце.

— Ты сионистка? — спросила она.

Я призналась, что наверняка сказать не могу.

— А я, как только война кончится, уеду к брату в Палестину и начну работать в кибуце, — заявила Герта. — Мы будем строить еврейское государство.

— По-моему, я все же не сионистка, — сказала я. — Мне хочется остаться здесь и стать англичанкой.

По проходу, выворачивая носки ботинок, шел каноник Годфри в широкополой шляпе. Он узнал во мне девочку, которую опекает мисс Даглас, спросил, как дела, и похвалил нас с Гертой за то, что мы так усердно работаем.

На следующей неделе я снова встретила Герту. В это время Еврейский комитет стал каждую неделю присылать из Лондона раввина, чтобы он нас наставлял. Он приезжал дневным поездом, а после урока обратным поездом возвращался в Лондон. По понедельникам после школы мы шли в пожарную часть, прямо напротив вокзала; там нам отвели помещение, в котором обычно беженцев учили английскому языку. Раввина, молодого широкоплечего мужчину, звали доктор Лобел. У него была красивая оливковая кожа, из-за мощной растительности его гладко выбритые щеки отливали синевой. Я вполне могла бы в него

влюбиться, если бы не принялась сразу же с ним спорить. Для начала я спросила, существовал ли Иисус на самом деле.

— Имеются исторические данные, свидетельствующие о том, что в то время жил некий человек, утверждавший, что он — сын Бога.

— Откуда вы знаете, что он им не был?

— История знает множество лжепророков, — сказал доктор Лобел. — Некоторые из них были обыкновенными шарлатанами, некоторые безумцами, они часто заблуждались. Возьмем, к примеру, мнивших себя богами царей древнего…

— Откуда вы знаете, — прервала его Герта Хиршфелд, — что Иисус и впрямь не был сыном Божьим?

Доктор Лобел поерзал на кресле.

— Иудаизм учит нас, что есть лишь единый неделимый Бог, — сказал он и взял в руки книгу для чтения на иврите для начинающих.

— А в Библии говорится, — не утерпела я, — что Бог так возлюбил мир, что отдал за него Сына Своего единородного…

И сама поразилась тому, как сладостно было произносить эти слова и чувствовать накипающие на глаза слезы.

— Если он не был сыном Божьим, — снова всту-

пила в дискуссию Герта, — как же тогда он мог творить чудеса?

— Он исцелял глухих и немых, — сказала я.

— И ходил по водам Геннисаретского озера, — добавила Герта.

Я внимательно наблюдала, ожидая, что раввин разверзнет воды под ногами Христа, но он лишь глубже погрузился в кресло. На его лице проступили раздражение и скука.

— Так, хватит. Берите книги для чтения. Страница двадцать семь. Держать надо так, чтобы читать от конца к началу, — напомнил он и протянул руку, чтобы повернуть мою книгу задом наперед. — Начинай здесь. «*БарухХашем…*»

«*Барух Хашем*», — прочла я. — «Благословен Господь».

С урока мы с Гертой шли вместе.

— Глупость какая-то, — буркнула я. — Никто же может ходить по воде.

— Если он был сыном Божьим, то мог, — возразила Герта.

Вот так номер! Я-то была уверена, что мы с ней соратницы.

— А я думала, ты поедешь в Палестину строить еврейское государство, — разочарованно сказала я.

— И поеду.

Я собралась было уличить Герту в том, что она готова поддакивать и вашим, и нашим, но в дальнем конце Вест-стрит уже садилось солнце, окна магазинов пламенели, будто внутри бушевал пожар. Шедшие навстречу люди казались черными силуэтами в тонком сияющем ореоле света. Я повернулась к Герте, но вместо глаз за стеклами очков увидела два ослепительных багрово-золотых круга. В то время мне во всем виделись знаки и предзнаменования, и я ничуть не удивилась, вдруг почувствовав, что не шагаю по земле, а вишу в воздухе — прямо-таки воспарила над собственным правым плечом в восторге постижения истины. Герте я об этом и словом не обмолвилась; на углу мы тепло попрощались, и я пошла вверх по склону к «Адорато».

Видимо, ребе Лобел доложил, что на беженцев в Оллчестере дурно влияют, и лондонский Еврейский комитет постановил, чтобы нас передали в добропорядочные иудейские семьи. И мисс Даглас, и миссис Монтгомери получили письма с просьбой проследить, чтобы их подопечные еврейские дети провели наступающий Йом Кипур в синагоге. Согласно договоренности всех без исключения еврейских детей пригласят на

праздничную трапезу в семью единоверцев.

Меня определили в семейство Розенблатт, мне предстояло познакомиться с ними во время службы. В ту пору в Оллчестере не хватало евреев, чтобы открыть настоящую синагогу, поэтому на Великие праздники использовали один из ресторанов в центре города. Меня посадили рядом с миссис Розенблатт и ее дочкой Шилой, балованной толстощекой малышкой в розовом платьице, капоре и лакированных туфельках. На ручке у нее блестел золотой браслет. «Ужас, до чего вульгарно!» — подумала я.

— Ма-а, мне скучно, — то и дело канючила она.

Ей хотелось уйти к отцу и брату Невиллу — они сидели по другую сторону прохода, на мужской половине. Мать велела Шиле не егозить и вести себя хорошо, но она продолжала извиваться, ерзать и в конце концов разлеглась на стуле.

— Ладно, ступай лучше к отцу, — сказала миссис Розенблатт и повернулась ко мне: — Ты тоже туда хочешь?

— Нет, спасибо, — ответила я.

Я уже заметила Герту, она сидела сзади, через два ряда от меня, и не поднимала глаз от молитвенника. Я открыла свой молитвенник, миссис Розенблатт указала мне нужное место.

Я пыталась следить за службой по английскому тексту. «Да будет благословен Господь Бог Израиля», — читала я, однако слова эти меня ничуть не трогали. Мне хотелось молиться, но в зале было слишком шумно. Читавшие нараспев люди даже не пытались делать это в унисон. Наклонялись и выпрямлялись они не враз, напоминая сборище разномастных кресел-качалок. Хорошо еще, что тут нет мисс Даглас, подумала я; вот уж подивилась бы она на евреев, ведь они на торжественной службе вели себя, как дома. По залу расхаживал шамес с суточной щетиной на лице; он громко сделал замечание Шиле: той надоело сидеть с отцом, и она пошла было назад, к матери. Миссис Розенблатт болтала с соседкой; дамы обсуждали, как у кого из-за поста болит голова. Они были как две капли воды похожи на женщин на галерее венской синагоги, где когда-то сидела и моя мать. Корсеты под парадными черными платьями высоко вздымали их объемистые груди, на головах красовались изящные шляпки. Они передавали друг другу один и тот же апельсин, утыканный гвоздикой, точно булавочная подушечка булавками; считалось, что это — лучшее средство от обмороков. Порой глаза у них загорались, и по лицу катились слезы.

Я не желала иметь с ними ничего общего. Меня огорчало, что я их не люблю. Сам собой напрашивался вывод: очевидно, я черствая и злая. Сжав правую руку в кулак, я исподтишка била себя в грудь, как когда-то делал мой отец, по одному удару за каждый грех: «Господи, я иду на семейный обед к мистеру и миссис Розенблатт, а они мне совсем не нравятся». Бух. «Иногда я ненавижу собственную мать». Бух. «Бывает, я по целым дням не вспоминаю папу. Господи, я подслушиваю за дверью, чтобы узнать, что говорят обо мне мисс Даглас и миссис Диллон». Бух. «Я краду из кладовой курятину и ем ее в постели. Иисуса Христа я люблю больше, чем тебя. Lieber Gott[38], избавь меня от грехов, сделай меня доброй».

Служба, видимо, подошла к концу. Мужчины уже свертывали свои талесы и укладывали их в бархатные, шитые золотом сумки. Все стали обниматься. Незнакомые люди говорили друг другу «Шалом алейхем». Мистер Розенблатт подошел к нам, обнял жену, поцеловал, и они очень радушно пригласили меня к себе.

На следующей неделе, когда миссис Монтгомери и Герта зашли с визитом в «Адорато»,

---

[38] Примечания: 38
Боже милосердный (*нем.*).

мы с Гертой обменялись впечатлениями. Герта сообщила, что ее еврейская семья пригласила приходить к ним по субботам, но она, Герта, и не подумает к ним таскаться.

— Я тебя вполне понимаю, — сказала я. — Я к моим тоже не пойду. Вдобавок они живут в одном из этих уродских новых многоквартирных домов.

Вышла Милли и позвала нас пить чай. Она уже прикатила в гостиную столик на колесах и поставила перед мисс Даглас. В мои обязанности входило раздавать чашки.

Гостиную очень украшало висевшее над камином круглое выпуклое зеркало в золоченой раме, увенчанное фигурой орла. В нем отражалась вся комната, частично в обычном, а частично в искаженном виде. Роскошный турецкий ковер представал там небольшим курганом. Стоявшие в дальнем конце гостиной ваза с дельфиниумами и столик в стиле хепплуайт[39] с изящными прямыми ножками и прислоненной к стене откидной крышкой казались крошечными, будто находились от нас далеко-далеко. Сама же мисс Даглас в темно-фиолетовом шерстяном костюме

[39] Примечания: 39

Хепплуайт — стиль английской мебели (обычно красного дерева) XVIII в.

с кружевной вставочкой на груди, сидевшая прямо под зеркалом, отражалась в нем в виде банана, дугой вписавшегося в круглую раму; тем временем ее реальный голос звучал во вполне реальной гостиной:

— Не будем ждать миссис Диллон. Она, бедняжка, крутится целыми днями, не жалея сил на добрые дела. Сегодня у нее собрание клуба беженцев.

— Нет, — возразила я. — Клуб по четвергам.

— Дорогая, передай миссис Монтгомери чашку, только осторожно, — промолвила мисс Даглас. Ее крупные старческие руки со вздувшимися венами уверенно орудовали грелкой для чайника, заварочным чайником, молоком, кувшином с горячей водой, крошечными сандвичами и тарелкой с шоколадным печеньем. — Подай, милая, сахар миссис Монтгомери. Вы же знаете, на ней все церковные дела, а также заботы о ее престарелых. Герта, положить тебе ложечку джема из фортунеллы?

Склонив голову, мисс Даглас сосредоточенно мазала тончайший ломтик темного пеклеванного хлеба щедрым слоем джема. Капелька сладкой массы соскользнула ей на мизинец, и мисс Даглас со всей возможной деликатностью ее слизнула.

— Известно ли вам, что у миссис Диллон есть дом в другом конце города, который она превратила в приют для родовитых стариков? Так жаль их, бедняжек, так жаль! Люди выросли в достатке, а на старости лет оказались в нищете. Недавно она купила еще один дом, для подопечных беженцев. Ага, вот и она.

Кокер-спаниель уже подбежал к двери. Даже кот Адо поднялся, зевнул и уселся в выжидательной позе. В гостиную вошла миссис Диллон.

Она была явно в приподнятом настроении, бодро поздоровалась с сестрой и гостями, бросила мне «привет!», чмокнула пса, уделила внимание коту и, улыбаясь и вздыхая, подсела к нам.

— Бедняжка, — посочувствовала мисс Даглас. — Ты, наверно, совсем выбилась из сил. Чашечка чая тебя подкрепит.

— Сегодня я разговаривала по телефону с твоей милой матушкой, — сообщила мне миссис Диллон. — Она передавала тебе привет. Я пыталась уговорить ее поработать в моем доме престарелых, но, по ее словам, твой отец очень плох, непонятно, что с ним, бедным, будет дальше, и она не хочет связывать себя какими-либо обязательствами. Я очень огорчилась. Она ведь очень славная, и такой надежный человечек!

И дамы стали обсуждать, почему предпочтительнее нанимать беженцев, попутно возмущаясь теми, кто с предубеждением относится к любому, говорящему только по-немецки. Мисс Даглас заявила, что хоть сейчас взяла бы на место своей служанки беженку, если бы не ее дочурка, такая чудесная крошка.

— Понимаете, я взяла ее из приюта для незамужних матерей, по четвергам и пятницам я занимаюсь там благотворительностью. Хорошей служанкой ее никак не назовешь, но у меня не хватает духу ее выставить. Таким женщинам нелегко найти новое место. Я хочу показать вам нашу малышку Лилу.

Мисс Даглас велела мне вызвать Милли, я позвонила в колокольчик, и мисс Даглас попросила ее убрать столик на колесах и принести дочку.

Вялую, косоглазую Лилу едва ли можно было назвать очаровательной крошкой. Мисс Даглас посадила ее на ковер перед камином и с нежностью накрыла ее головку своей широкой ладонью, точно чепчиком.

— Сюда, сюда, — скомандовала миссис Диллон собаке. — Иди сюда! Вот так. Ты же знаешь, ты слишком большой, тебе к мамочке на колени нельзя. Да? Сам знаешь. — И добавила, обращаясь

к миссис Монтгомери: — Бедненький, лапулька моя, он меня так ревнует!

* * *

Когда мои мама с папой переехали в Клинтон-лодж, Герта потребовала от меня объяснений:

— Твои родители получили отдельное жилье, значит, ты теперь переедешь к ним?

Хотя этот вопрос волновал и меня, я отрезала:

— Конечно же, нет. Пойми, мой отец нездоров. Мать каждый день работает. Кроме того, у них всего одна комната.

— Если бы мои родители жили в этом городе, я жила бы с ними.

— Я их часто навещаю, — сказала я.

На самом деле мои посещения радости никому не приносили, хотя беженцы, жившие в их доме, ради моей матери мирились с моими визитами. Среди документов тех лет (там есть письма от дяди Пауля из Доминиканской Республики, полученные еще в Вене письма из Красного Креста, продуктовые карточки, регистрационные документы на въезд в Англию, квитанции на один фунт десять шиллингов — эту сумму мама ежемесячно вносила в Комитет за мое обучение) я наткнулась на стихотворение, сочиненное на-

шим «домашним поэтом», с надписью: «Франци ко дню ее рождения. Декабрь 1942 г.»:

Чуть свет — она уже в трудах,
С утра до ночи на ногах:
Печет, готовит, убирает;
Сто жадных ртов — всех насыщает.

Домой вернувшись, холит Иго,
Для Лоры торт сготовит мигом.
Презрев усталость, в поздний час
Острит и веселит всех нас.

Здесь же поздравление мне с пятнадцатилетием:

Пусть дарит жизнь лишь счастье ей,
Лишь радость и любовь друзей.
И пусть приветлива, скромна,
Мир в наш дом несет она.

Но я не испытывала радости в этом доме. Я чувствовала себя странником, вернувшимся на родину после долгой жизни на чужбине. Я отвыкла от немецкого, язык меня не слушался. Усвоенные у родителей манеры уже не казались приличными и достойными. Обитатели

дома представлялись мне не очень-то хорошо воспитанными. Они слишком громко смеялись. Бестолково сновали по дому. Причем немцы наводили чистоту, а австрийцы стряпали. По субботам я приезжала в Клинтон-лодж после обеда и обычно заставала маму в кухне, она пила там кофе, вместо того чтобы сидеть в гостиной с чашкой чая на коленке.

— В другой раз непременно, — заверяла она. — А сегодня тороплюсь. Еду к папе в больницу.

— Как, в этом платье?! — изумлялась я.

— Но это же мое хорошее платье. Его мне сшили зимой, незадолго до нашего отъезда.

— А эта баска на поясе! В Англии такого не носят. Что, если я ее отрежу…

— Ничего ты не отрежешь, — твердо сказала мама.

— Отрежу.

— Нет.

— Да.

Мама уже сильно устала и вдобавок спешила; она сдалась:

— Ну, давай, только быстро.

Но даже и без баски мама не походила на мисс Даглас, миссис Диллон или миссис Монтгомери. Видимо, в Англии принято подчеркивать совсем

другие особенности фигуры.

— Почему ты не пошла вместе с мамой навестить папу? — спросила миссис Бауэр.

— Потому что не могу. К мисс Даглас придут гости на чай, я ей буду нужна. До свиданья.

Но, остановившись за дверью, я услышала голос миссис Кац:

— Бедная Франци!.. Девочка становится такой же черствой, как все англичане.

Осуждение соседей меня огорчило, и огорчение не прошло, даже когда тех, кто его причинил, я давно забыла. Клинтон-лодж вместе с миссис Бауэр и миссис Кац улетучились из моей памяти еще до того, как я дошла до калитки, с той же легкостью, с какой уходит за горизонт страна, по которой ты проехал туристом. Пока я бежала вверх по склону, к «Адорато», во мне произошла ощутимая перемена. Сбавив шаг, я прошла через боковые ворота, неслышно ступила в прихожую через черный ход и изготовилась перейти на английский: мышцы лица снова сложились в улыбку, позвоночник — форпост вежливости — быстро перегруппировался, и я открыла дверь в гостиную.

— А вот и ты, деточка. Входи, поздоровайся с каноником Годфри и миссис Монтгомери. Подай

миссис Монтгомери чашку, только осторожно, и не забудь сахарницу.

Ласковые синие глаза миссис Диллон засияли при виде меня.

— Как мило она разносит чашки с чаем, правда? — обратилась она к сидящему рядом канонику. — Почти как английская девочка.

Я наблюдала за собравшимися в круглом, увенчанном орлом зеркале. Миссис Монтгомери рассказывала мисс Даглас о школьных успехах Герты; директриса даже настаивает, чтобы она в следующем году сдавала экзамены на получение стипендии в Кембридже. Герта сидела тут же, выпрямив спину, и ухитрялась держать в руках и чашку, и тарелочку не менее ловко, чем любая английская леди. Она, однако, сильно располнела и обзавелась пышной грудью. Меня раздражало, что, сдвинувшись назад, Герта выпала из полукруга дам у камина, и в золоченом зеркале отражалась не вся ее фигура, а лишь ноги до колен.

Я пригласила ее подсесть ко мне на ковер, но мисс Даглас предложила нам, если мы уже попили чаю, выйти погулять по саду.

В тот зимний вечер Герта сообщила мне, что собирается сменить веру.

— Не может быть! — воскликнула я, не в силах скрыть недоверия и отвращения; из глубин памяти повеяло чем-то чужим, незнакомым, перед глазами смутно замаячило запретное видение служанкиной груди. — Уж не хочешь ли ты перейти в христианство?!

— Да, хочу.

— Брось! И не рассказывай мне, что веришь в эту чушь про Бога, который сошел на землю в образе собственного сына.

— Это далеко не такая чушь, как в наших молитвенниках: там одни только славословия Богу, — выпалила Герта. — И еще на все лады воспевается народ Израиля, будто других в мире нет вообще!

— Так ты, чего доброго, веришь и в то, что девственница может родить ребенка. Наверно, ты просто кое-чего еще не знаешь.

— Может, побольше твоего знаю! — выкрикнула Герта. — Ты хоть слыхала про непорочное зачатие? Для Бога невозможного нет.

— Если для него нет невозможного, — заорала я, — почему он допускает, чтобы шли войны? Чтобы существовали концентрационные лагеря?! Почему пропали твои родители?

— Ты просто не понимаешь. — Герта нахмури-

лась. — Христос однажды сказал: «Я есть свет». Но объяснить тебе это я не могу. Однажды я гуляла с собакой по холмам Даунс, дело было вечером, и меня прямо осенило, что свет — это всё. Но тебе не понять.

— С чего ты взяла, что мне не понять?! — возмутилась я. — Считаешь, что кроме тебя никто ничего не понимает? Я намного раньше тебя это узнала — еще когда мы шли по Вест-стрит.

Я заглянула в ее толстощекое лицо, но был конец ноября, в саду мисс Даглас не блеснуло ни единого огонька, и за стеклами гертиных очков были отчетливо видны ее глаза — маленькие, с красноватыми веками и редкими жесткими ресницами. Я пожалела, что они такие некрасивые.

— Короче, ты намерена перейти в англиканство?

— Не просто в англиканство, — уточнила Герта, — я хочу стать прихожанкой Высокой церкви[40].

Прошло несколько недель, и я привыкла к мысли, что Герта станет христианкой. Уже близилась предрождественская суета, я помогала мисс Даглас в ее добрых делах. Она навещала всех своих

---

[40] Примечания: 40

Высокая церковь — наиболее близкое к католицизму направление в англиканской церкви.

глухонемых и слепых, где бы они ни жили, и я ее сопровождала. Если то были люди из хороших семей, мы дарили им мешочки для носовых платков или душистые саше для белья, заготовленные мисс Даглас, — она с осени набивала по вечерам пакетики сушеной лавандой, выращенной в собственном саду. Мы обязательно пили чай вместе с ее подопечными. Мисс Даглас, держа их за руки, изъяснялась с ними на языке жестов; когда она рассказывала обо мне, я подходила ближе и пожимала каждому руку. Если же мы ехали к беднякам, то мисс Даглас оставалась в машине, а я шла к двери, звонила и клала у порога пакет с едой.

Меня все это очень возмущало, и я почти на неделю снова превратилась в социалистку. Какая несправедливость, негодовала я: мало того, что некоторые люди от природы глухонемые, так они еще и бедные! И я высказала мисс Даглас свои соображения.

Она в это время ставила ясли на крышку рояля в гостиной и попросила меня подать вату — ее клочки будут изображать снег, засыпавший крышу хлева.

— Так уж устроен мир, — сказала она. — Если бы все были богатыми, что сталось бы с благо-

творительностью? Очень надеюсь, что наш снег не вспыхнет от свечки в яслях. В прошлом году фортепьяно сильно обгорело. Хорошо еще, что мы его застраховали.

— Если бы все были богатыми, все были бы равны. И никому не приходилось бы есть на кухне.

— Толку из этого не выйдет, — отрезала мисс Даглас. — Мир перевернется вверх тормашками. Сейчас нижние классы прислуживают мне, зато если я устраиваю праздник для моих бедных глухонемых детишек, я с радостью прислуживаю и им, и их матерям, а сядь мы рядом, дело не пойдет.

— Почему же? — спросила я. В ответ мисс Даглас велела мне пойти узнать, не нужна ли миссис Диллон моя помощь.

Для миссис Диллон это была самая счастливая пора. К ее обычным заботам добавлялась постановка пьесы о Рождестве: она сама ее писала, сама ставила, мастерила костюмы и даже пела. Действо происходило в прекрасном соборе Св. Фомы, построенном еще норманнами, таком древнем, что он наполовину врос в скромный погост в конце Вест-стрит.

Гостиная была завалена великолепными полосатыми халатами, привезенными из Палестины.

Вечерами мисс Даглас сидела у камина и шила одеяния для ангелов из хлопчатобумажной ткани «Голова индейца». Я помогала миссис Диллон приклеивать к коронам трех царей драгоценные камни.

Миссис Диллон сказала, что я могла бы сыграть в ее постановке одного из ангелов, стоящих на коленях перед яслями с Младенцем, но она опасалась, что Еврейскому комитету это не понравится.

Я спросила, нельзя ли пригласить на роль ангела Герту, ведь она теперь христианка.

— Герта? Христианка? С чего ты взяла? — удивилась миссис Диллон.

— Да, — настаивала я.

— Ничего подобного.

— Да, да!

— О чем бы ни шла речь, тебе бы только пререкаться, — вздохнула мисс Даглас.

— Не понимаю, о чем ты, — продолжала миссис Диллон. — Только вчера я разговаривала с миссис Монтгомери, она в моей постановке будет играть жену хозяина постоялого двора, и она мне рассказала, сколько хлопот доставляет ей Герта. Она настаивает на посещении уроков Закона Божьего, хотя ее как еврейку вполне можно было

от них освободить. Но когда одна из учениц сказала, что евреи убили Иисуса, Герта подскочила и ударила девочку по лицу.

— Герта? Не может быть!

— А когда ее вызвала к себе директриса, Герта заявила, что Иисус вовсе не был сыном Бога, он просто заблуждался, а Дева Мария, будучи девственницей, никак не могла родить ребенка. И наговорила кучу грубостей и неприличностей.

— Герта Хиршфелд?!

— Да, Герта Хиршфелд, она самая. Тогда призвали миссис Монтгомери. Она, бедняжка, попыталась успокоить Герту, но та заявила, что не желает обсуждать эту тему, и у нее началась истерика. Несчастная миссис Монтгомери в растерянности, не знает, как с ней быть.

Я увидела Герту на постановке рождественской пьесы миссис Диллон. Она сидела у алтаря, ее наполовину освещал фонарь позади яслей, другую половину затеняла огромная круглая колонна. Вид у Герты был странный — толстая, обрюзгшая, брови, казалось, навсегда сошлись на переносице. Я пошла вперед — помочь миссис Диллон прилаживать ангельские крылья и нимбы и, минуя Герту, помахала ей рукой, но она не отрывала глаз от молитвенника и меня не заметила.

На следующий год директриса моей школы повезла группу старшеклассниц, подумывавших об университетском образовании, на однодневную экскурсию в Оксфорд. Оксфорд меня очаровал. Он воплощал в себе все то, чего не было во мне: он был в ладу с самим собой и со своим прошлым — аристократичный, насквозь английский.

Миссис Диллон завела со мной разговор, подсев ко мне на диван в гостиной. Она начала с того, что мне уже шестнадцать; не нахожу ли я, спросила она, что, когда закончится учебный год, надо оставить школу и пойти работать?

— Но я хочу попытаться поступить в Оксфорд, — и я залепетала про необъятное книгохранилище в Бодлианской библиотеке, про залитую солнцем Хай-стрит, про студентов в черных мантиях, катящих на велосипедах на лекции, про обшитые деревянными панелями залы, про колокольни и тихие зеленые дворы в университетском городке, про украшенные резьбой арки, ребристые своды и изъеденные временем лица святых.

— Генри Джеймс где-то писал про «боль от вековых ран[41]», — сказала я, чувствуя, что вот-вот расплачусь.

---

[41] Примечания: 41

Из романа американского писателя Генри Джеймса (1843–1916) «Женский портрет».

Миссис Диллон, в своем вечном цветастом хлопчатобумажном платье в синих тонах, лишь беспокойно моргала, с тревогой глядя на меня. Было ясно, что мои речи про красоту и историю для нее пустой звук.

— Просто мне кажется, дорогая девочка, что теперь, когда твой отец скончался… Позволь тебе напомнить, что твоя мама по-прежнему вынуждена работать на этой жуткой ресторанной кухне.

— Но мама *хочет*, чтобы я получила высшее образование, — возразила я. — Герта тоже поступает в университет. Она сдала экзамены в Кембридж и будет получать стипендию.

Встретив Герту на улице, я рассказала ей о своих планах. Тучная Герта была в новом твидовом костюме, в нем ее фигура уже выглядела по-взрослому. Глядя на меня сквозь очки, она спросила:

— Надеешься, что Оксфорд сделает из тебя христианку?

Ее родители в конце концов нашлись в Гонконге, и Герта ждала только, когда сможет съехаться с ними в Палестине, в кибуце ее брата. «Я вне себя от счастья», — призналась она.

По-моему. это была наша последняя встреча. Однако вскоре в Комитет по делам беженцев

пришла миссис Монтгомери — посоветоваться с миссис Диллон: Герта призналась, что не хочет ехать в Палестину, а хочет остаться и креститься. Миссис Монтгомери всполошилась: так себя молодые девушки не ведут, повторяла она. Надо и о родителях подумать.

В это время я была целиком поглощена собственными планами, вовсю готовилась к экзаменам, потом ждала результатов и была убеждена, что Герта поступила в Кембридж. Только годом позже, приехав на рождественские каникулы в Оллчестер, я узнала, что Герта выбросилась из окна своей спальни на четвертом этаже дома миссис Монтгомери и разбилась насмерть.

Оксфорд готов был меня принять, но лишь на следующий год. Я сразу поняла, что в моих обстоятельствах ждать целый год невозможно, но обида оттого, что пришлось согласиться на второразрядный университет, жгла меня много лет. Ощущение было такое, будто я получила увечье на всю жизнь. Думаю, что в этом повинны мисс Даглас и миссис Диллон; пять лет подряд — а я тогда была очень впечатлительна — они оказывали на меня большое влияние, стремясь привести еще одну душу в лоно англиканской церкви, но вместо этого превратили меня в сноб-

ку — правда, лишь на некоторое время, а вот в англофилку — навсегда.

Глава восьмая
Лондон:
Одежда, книги и никаких мужчин

Колледж, в который я поступила, входит в Лондонский университет, но в то время там учились исключительно девушки. Он занимал нескольких современных зданий из красного кирпича. В этих непритязательных постройках не было и намека на красоту, но когда я впервые открыла небольшую калитку и вступила на территорию кампуса, отделенную от Риджентс-парка черной железной оградой, сквозь мелкий осенний дождь вдруг, откуда ни возьмись, пробился мягкий золотистый свет; меж просторных лужаек по обсаженным платанами дорожкам: бродили студентки. Они немедленно сбросили плащи и сдернули косынки. А ведь я тоже буду учиться в этом колледже! — подумала я.

В очереди на регистрацию мое внимание привлекла стоявшая рядом со мной девушка: у нее были широкое белое лицо и прямые, туго стянутые на затылке волосы. Я сообщила ей, что меня зовут Лора и что я еврейка. Рада познакомиться,

сказала девушка и представилась: Моник, американка. А я-то с ходу решила, что она англичанка, и была сильно разочарована.

Большинство студенток жили в общежитиях колледжа, но из соображений экономии мы с мамой сообща сняли комнату. Ее окна выходили на неухоженный район Примроуз-хилл. Стены были оклеены шершавыми коричневатыми обоями, на окнах висели древние поблекшие шторы темно-зеленого цвета, создавая впечатление серо-бурой унылости. Я неустанно боролась с этой тоскливой атмосферой, переставляя мебель самым непредсказуемым образом. Но однажды в холле первого этажа, у столика, на котором оставляли почту для жильцов, я увидела молодого человека. На нем был шарф цветов Кингз-колледжа[42]. Он оглянулся, но я, сообразив, что на мне зеленая кофта, которая меня совсем не красит, отвела глаза, побежала наверх, там поспешно набросила белую шелковую блузку, увидела, что она мятая, сняла, опять надела зеленую кофту, пригладила волосы: что бы моим волосам быть длиннее, а носу короче, подосадовала я, а тут еще и очки, и помчалась вниз. К тому времени, разумеется,

[42] Примечания: 42

Кингз-колледж — самостоятельное учебное заведение в составе Лондонского университета.

молодого человека уже и след простыл, зато на столике среди прочей почты я обнаружила конверт с чеком — стипендия!

(Оглядываясь на прошлое, я изумляюсь щедрости тогдашней стипендии: она полностью покрывала стоимость моего обучения и «содержания», и при этом — никаких вопросов о моем статусе иностранки или о моих планах на будущее. От меня требовалось лишь раз в полгода присылать отчет о регулярном посещении занятий, а также перечень необходимых расходов на жилье, еду, одежду, книги, транспорт и прочее. Их тщательно подсчитывали и ежемесячно присылали мне конверт с очередным чеком.)

Все три года учебы в колледже я, как мне теперь представляется, только и делала, что бродила по Лондону — по элегантным торговым кварталам, картинным галереям, церквям и букинистическим магазинам. Я пребывала то в восторге, то в тягостном отчаянии, потому что мне не в кого было влюбиться, а от сознания, что я манкирую учебой, я ощущала себя виноватой. Я восхищалась преподавателями, но вместо предметов, которые они нам читали, я изучала, как каждый из них подает материал. Лекций не конспектировала; мои блокноты были изрисованы лицами,

танцующими фигурами, замысловатыми зданиями, даже целыми кварталами. Книги читала, но не те, какие требовались по программе, и никогда не добиралась до конца. В первом семестре я решила, что мое исследование должно базироваться на сравнительном обзоре произведений мировой литературы прошлого. Начав с восточной литературы, я наткнулась на одну цитату из дневников госпожи Мурасаки[43]; описывая годы, проведенные в школе, она замечает: «Очень скоро я горько пожалела, что …превзошла успехами многих, поскольку одноклассницы одна за другой стали уверять меня, что даже у мальчиков решительно меняется отношение к однокашникам, как только выясняется, что те любят учиться. А для девочки последствия, естественно, куда тяжелее… Я начала скрывать свою любовь к ученью… и в результате по сей день удручающе плохо владею кисточкой». Я закрыла книгу в страшном волнении. То, что я на своем опыте обнаружила у современных школьников из английского среднего класса, существовало, оказывается, еще в одиннадцатом веке при дворе японского императора. Стало быть, у нас с

[43] Примечания: 43
Мурасаки Сикибу (9737–1014) — японская поэтесса и писательница.

госпожой Мурасаки есть одна общая черта: неподобающе высокие интеллектуальные запросы. Она пыталась прятать свои книги, а я старалась умилостивить судьбу, бессистемно читая все подряд. Помню, какого труда мне стоило умерить честолюбивые порывы, которые с младых ногтей поощрялись в Вене. В оллчестерской средней школе я в первый же год учебы просто по привычке вышла первой по каллиграфии, зато четыре года спустя уже писала как курица лапой, так что мой почерк можно было разобрать с большим трудом, а годом позже «блеснула» тройкой за орфографию. Но одноклассники, к моему удивлению, не стали относиться ко мне лучше. В чем-то я просчиталась. Моя близкая подруга Маргарет, умная и элегантная англичанка, по-прежнему получала блестящие оценки, однако именно ее в первую очередь выбирали в любую команду.

Я всегда была уверена, что стоит мне поступить в университет, и я начну выкладываться *по-настоящему* — сразу, с первой же минуты продолжу читать дневник госпожи Мурасаки, вместо того чтобы смотреть в библиотечное окно, на темные от влаги деревья; их ветви уже тонули во мгле, а с оловянно-серого озера тяжело поднялась крупная белая гусыня, вошла, пере-

валиваясь, в железную калитку и двинулась по дорожке к библиотеке. Подскакивая и хлопая крыльями, она одолевала ступеньку за ступенькой и в конце концов столкнулась с выходившим из библиотеки доктором Милсомом, преподававшим нам среднеанглийский[44]. Профессор вскинул руки, черный портфель взвился в воздух, гусыня растопырила белые крылья. Вытянув шею, она повернулась, слетела со ступенек и понеслась по дорожке, не сбавляя ходу, пока не добралась до середины промокшей лужайки. Там она встряхнулась и стала сама с собой обсуждать происшедшее. Профессор же, оправившись после нежданной встречи, с присущим ему достоинством двинулся к калитке и, завидев Моник, приподнял шляпу. Моник величаво шествовала по кампусу, ослепляя встречных ярко-красными ногами, как у какой-нибудь тропической птицы. (Трудно передать, до какой степени случайный яркий мазок способен преобразить английский городской пейзаж. Помнится, в конце того же года я вышла из парка на Бейкер-стрит в час пик и возле станции метро увидела тележку, доверху груженную персиками. Сунув руки в карманы

[44] Примечания: 44
Среднеанглийский — английский язык с конца XI в. по конец XV в.

обтрепанного пальто, продавец таращился на лондонцев, несмотря на сутолоку топтавшихся у его тележки, не в силах оторвать глаз от фруктов, излучавших в зеленоватом октябрьском сумраке жаркий свет, впитанный ими в другое время и совсем в другом месте.)

Когда я вышла из библиотеки, Моник попросила меня ее подождать.

— Ты только погляди на них, — сказала она, кивая на бродивших по кампусу женщин, все как одна в одинаковых плащах, полуботинках на низком каблуке и завязанных под подбородком косынках. — Кто бы подумал, что англичанок не оклеветали и они в самом деле одеваются из рук вон плохо? Выходит, молва не врет. У нас в Нью-Йорке, — продолжала она приятным низким хрипловатым голосом, — все, подражая англичанам, носят плащи, но мы регулярно сдаем их в чистку, а теперь оказывается, что плащам *положено* быть замурзанными.

— Англичане носят плащи не ради моды, а просто чтобы не промокнуть, — объяснила я. — Дожди здесь идут почти без перерыва, так что плащи не успевают почистить.

— Вот именно! — с жаром подхватила Моник. — Об этом я и толкую! Откуда тебе было знать, что

в Англии постоянно льет дождь?

— Я воспринимала здешнюю жизнь без предубеждений. Когда я сюда приехала, мне было десять лет, так что процентов на пятьдесят я уже англичанка.

— Процентов на пятьдесят? Ха! Да ты англичанка на все сто пятьдесят процентов. Загвоздка в том, что стать англичанкой на сто процентов нам никогда не удастся.

Как только я вошла в нашу серо-бурую комнатку, мама сообщила, что нашла работу: будет вести хозяйство у престарелого немца, почтенного профессора Шмайдига.

— Мамочка! Ты же хотела подыскать работу в ресторане. Ты *дала слово*, что в прислуги больше не пойдешь!

— Тут, Лора, совсем другое дело. Я буду для него компаньонкой и экономкой в одном лице. Лондонским ресторанам венские повара больше не требуются. А профессор стар и нездоров, ему нужен уход.

— Опять двадцать пять! Снова будешь нянчиться с больным!

— Нет-нет, он болен, но не настолько, — сказала мама. — Не так, как твой отец. И потом, он человек посторонний. Я прихожу утром, в восемь

часов, убираю квартиру — она очень маленькая, уборка не составит труда, — иду в магазин, готовлю еду, и в пять я свободна. Даже не буду ждать, пока он поужинает. Профессор хочет с тобой познакомиться. Я ему рассказала про твою стипендию.

Профессор Шмайдиг предстал передо мной в старомодной бархатной домашней куртке и сразу меня очаровал. Я слушала его с интересом: он сравнивал английские университеты с университетами довоенной Германии, уважительно и тепло отзывался о моей матери. Ему очень повезло с экономкой, заметил он: мало того, что у нее отличное чувство юмора, с ней можно побеседовать о музыке.

— И она сыграет мне на фортепьяно. Прошу вас, фрау Грозманн.

— С моей стороны это было бы жестоко по отношению к вам, — пыталась отказаться мама. — В последний раз я садилась за инструмент за год до прихода Гитлера.

Тем не менее, он ее уговорил; мама подсела к небольшому пианино и, беспрестанно извиняясь, заиграла этюд Шопена. Где-то в середине этюда я увидела, что профессор уронил голову на грудь: он крепко заснул. Во сне нос и подбородок стари-

ка казались огромными.

Мама встала и подложила ему под спину подушку. Мы на цыпочках выскользнули из комнаты.

— Это возраст, — шепнула она. — Он частенько засыпает даже посреди еды. Поезжай домой, тебе надо заниматься. А я подожду, пока он проснется, и подам ему на подносе ужин.

В семь часов вечера мама позвонила и сказала, чтобы я за нее не волновалась. Она сидит с профессором, ждет его сына, он едет с другого конца Лондона. Бедный профессор после сна неважно себя чувствует, и она не хочет оставлять его одного.

На следующий вечер мама вернулась почти в одиннадцать часов вечера.

— А утром ты ушла спозаранку, еще шести не было! — подосадовала я.

— Это временно, пока он нездоров. Что мне, потвоему, делать? Не могу же я оставить больного перепуганного старика в полном одиночестве.

— У него есть сын! — напомнила я.

— У его сына жена и трое детей. Он не может все время сидеть с отцом.

— Чересчур уж ты хорошая и добрая, — с трудом сдерживая слезы, буркнула я. — У меня уже сил нет это терпеть!

— При чем тут «хорошая»? Когда я с ним, *мне самой* спокойнее, чем сидеть дома и волноваться за него. Кроме того, ты, Лора, по вечерам занимаешься. А мне что делать?

— Сходи куда-нибудь. Постарайся с кем-нибудь познакомиться. Посмотри на Лиззи!

Лиззи Бауэр, наша приятельница со времен Клинтон-лодж, зашла нас проведать. Она приехала в Лондон, чтобы попытаться ускорить иммиграцию сына в Англию, а еще, призналась она, после стольких лет одинокой жизни в Оллчестере она не прочь с кем-нибудь познакомиться. Как-то раз она пошла в Гайд-парк, села на лавочку и обратила внимание на очень красивого мужчину. Он подошел, подсел к ней, и они разговорились. Незнакомец оказался русским, на родине работал юристом; словом, обворожительный мужчина. Она ему тоже очень понравилась. Они вместе гуляли вдоль Серпантина[45], он держал ее за руку и умолял отужинать с ним, но Лиззи заявила, что не в ее правилах идти ужинать с человеком, которого случайно встретила в парке.

— Ну, и что толку в этой встрече? — спросила мама.

---

[45] Примечания: 45
Серпантин — узкое искусственное озеро в Гайд-парке.

— По крайней мере Лиззи пытается что-то делать! Однажды я тоже уйду на свидание… с одним человеком, — запинаясь, сказала я, имея в виду того юношу в шарфе цветов Кингз-колледжа; утром я как раз видела его со спины — он входил в свою комнату ниже этажом. — И меня все время будет мучить мысль, что ты сидишь тут одна! Знаешь, у тебя есть один-единственный недостаток. Ты даже не пытаешься жить своей собственной жизнью.

— Да, я унаследовала его от моего бедного отца, — сказала мама. — Мы оба очень скучные, только и умеем, что исполнять свой долг. Но из-за того, что я сижу одна, не волнуйся. Лиззи пригласила меня сходить с ней в Венский клуб, когда она снова приедет в Лондон. Надо только дождаться, чтобы профессор поправился.

На следующий день мама пришла домой в половине шестого. Профессору стало гораздо лучше.

— Он хотел подарить мне золотые часы покойной жены, — сообщила мама.

— Где они? Покажи!

— Разумеется, я не могла принять от него такой ценный подарок. Часы принадлежат его сыну и внукам. А еще он говорит, что хочет жениться на мне, — мама покраснела и смущенно рассме-

ялась.

— Ну, и?..

— Лора, дорогая! Неужели ты хочешь, чтобы я вышла за больного старика?! Кроме того, ему на самом деле нужна вовсе *не я*. Он благодарен за то, что я его не бросила, когда он заболел. Бедняга очень боится оставаться один.

— А почему ты исключаешь самую мысль о том, что ты ему нравишься — такая, какая ты есть? — продолжила я свою воспитательную беседу.

— Ладно тебе, — отмахнулась мама. — И вообще, мы же хотим уехать в Доминиканскую Республику, как только ты закончишь университет.

— Мамочка, мы действительно хотим уехать в Доминиканскую Республику?

— А разве тебе не хочется опять увидеть Пауля и дедушку с бабушкой?

— Конечно, хочется, но не в Доминиканской Республике. Представляешь, я опросила всех своих подружек по колледжу, и никто, кроме американки, и *слыхом* о ней *не слыхал*!

— Но мы же не останемся там навсегда, — возразила мама. — Только пока не получим официального разрешения на въезд в Америку.

— Мамочка, а мы впрямь хотим уехать в Аме-

рику?

В книге Джойса Кэри[46] «Путем паломника» я наткнулась на абзац, посвященный Англии:

«Летом, в пору уборки урожая, выдаются деньки вроде нынешнего, когда воздух насыщен тяжелыми запахами земли до самой небесной сини — она тоже замарана этими испарениями, как бывает с коровьим водопоем, который удобрен и уже не чист. Землю здесь возделывали тысячу лет, и оттого чудится, что и деревьям, траве, хлебам, и даже небу и солнцу — всему вокруг свойственно нечто, присущее лишь очень старым странам… Форма поля, поворот тропинки способны тронуть меня до глубины души, словно они — мои дети».

Поскольку всё это способно тронуть и меня, подумалось мне, значит, я — англичанка, пусть даже на правах приемной дочери. Я выписала себе эту цитату, а также то, что Кэри писал про «новые земли, где в погоде столь же мало толку, как смысла в ненароком упавших деревьях», и показала свои выписки Моник.

— Моя беда в том, что я не могу просить английское гражданство, пока мне не исполнится двадцать один, а к тому времени я, возможно,

---

[46] Примечания: 46

Артур Джойс Лунел Кэри (1888–1957) — ирландский писатель и художник.

уже буду в Америке! — посетовала я.

— Как знать, не исключено, что Америка еще понравится тебе, — заметила Моник.

— Но я вовсе не хочу, чтобы она мне нравилась, — сказала я.

С той поры я засыпала Моник примерами политической наивности Америки, ее грубого меркантилизма. Наткнувшись на американскую статью про Советский Союз, которую иллюстрировал мерзкий рисунок, представлявший всех русских уродами, я немедленно показала журнал Моник. Она отреагировала мгновенно:

— Мне кажется, судить об Америке по иллюстрированному еженедельнику вряд ли стоит, верно?

— Пожалуй, но… — промямлила я; меня взбесило и изумило, что американка превзошла меня в споре.

Однажды на углу нашего квартала я столкнулась наконец с тем студентом Кингз-колледжа, и мы пошли домой вместе. Он сообщил, что уже сдал последний экзамен и теперь не знает, чем себя занять; рассказал, что приехал в Англию из Канады, получив стипендию на год, и все это время не поднимал головы от книг. Может быть, до его отъезда на родину я покажу ему Лондон? Я

была не готова к столь быстрому повороту событий: наше знакомство только-только завязалось; словом, на полноценное приглашение его просьба не тянула, и я сказала:

— Вообще-то у меня на носу экзамены, надо корпеть над книгами. Ведь я целый год только и делала, что шаталась по Лондону.

Тем не менее на следующий день мы пошли в Тауэр.

— Лондон был бы куда приятнее, если бы не постоянные дожди, верно? — заметил он.

— А мне так нравится Лондон, что и дожди стали нравиться, — ответила я. — Наверно, у меня тяга к сырости и туману.

Если я буду чересчур умничать, то не понравлюсь ему и он меня бросит, свербила мысль, и в то же время я опасалась, что, если не сумею поддерживать умный разговор, он заскучает и бросит меня. Уж лучше бы сидеть тихо дома, думала я.

На следующей неделе мы осмотрели Букингемский дворец и Парламент. Каждый раз, когда он за мной заходил, я, чтобы не выказать радость, заводила одну и ту же канитель: мол, мне надо бы остаться дома и заняться делом.

В воскресенье дождь прекратился, и мы прогулялись по набережной Темзы. В конце недели он

уезжал домой в Канаду.

— Скоро ты отправишься в Доминиканскую Республику, — сказал он. — Сейчас все путешествуют по свету. Как знать, может, мы еще встретимся.

Он повернул меня к себе и, глядя мне в лицо, положил руку на мое плечо. Я застеснялась и от смущения задорно подхватила:

— Если не в этой жизни, то в следующей — непременно.

Чуть помедлив, он убрал руку. Мы пошли дальше.

— Я все хотел тебя спросить, — снова заговорил он. — Ты какой nom de plume[47] возьмешь? Чтобы мне не пропустить твою первую книгу.

Я не поверила своим ушам: уж не ясновидящий ли он?

— Поразительно! Как ты догадался, что я хочу стать писателем?

— Да ты сама без конца об этом твердила! — сказал он.

Следующим вечером в дверь моей комнаты постучали.

— Можно войти? — узнала я голос канадца.

---

[47] Примечания: 47
Псевдоним (*франц.*).

— Конечно! — сказала я, чувствуя себя искушенной дамой — ведь я была одна, мама задержалась у профессора Шмайдига — ему опять нездоровилось.

— Ты уж прости, я должна заниматься. В среду начинаются экзамены.

— Ничего, ничего, — успокоил он, плюхаясь на один из наших коричнево-бурых раскладных диванов, — я и сам смертельно устал. Все утро укладывал вещи, днем носился по Лондону: надо было взять билет, отправить багаж… Завтра утром уезжаю. Возьми книжку, сядь рядышком.

— Нет, — отрезала я, — лучше останусь за столом, тут светлее.

Он откинул голову на диванную подушку. Я достала книгу и начала с показным увлечением что-то выписывать. А обернувшись, увидела, что канадец крепко спит. Я смертельно обиделась, и когда он спустя некоторое время собрался уходить, я попрощалась небрежно, не глядя ему в глаза.

Весенняя сессия была в разгаре. Возвращая мои работы, профессор Мидсом спросил, не попадалось ли мне в процессе чтения научной литературы слово «асинтаксис». Нет, ответила я, не попадалось.

— Вот как. Не попадалось, говорите. Термином «асинтаксис» принято обозначать патологию, которая мешает ее носителю выражать свои мысли законченными предложениями.

— Да, да! — воскликнула я. — Я отлично понимаю, куда вы клоните. Уже несколько лет я замечаю у себя нарастающие симптомы размягчения мозга, и теперь, даже когда хочется взять себя в руки, мне практически не за что уцепиться, разве только самой тащить себя за уши.

Я пришла в восторг от собственного описания моих затруднений, но профессор Милсом, склоняясь все ниже к моим работам, продолжал:

— Н-да, очень любопытная штука, этот «асинтаксис»! Вы бы посмотрели его в словаре. Очень рекомендую, мисс Грозманн, хороший словарь — большое подспорье! Я бы не сказал, что ваша работа вообще лишена достоинств. Мне кажется, здесь можно было бы найти весьма интересные мысли, но при одном условии: если бы их можно было прочесть, если хотя бы иногда, среди длинных риторических периодов, эти мысли выражались бы посредством полноценных глаголов. Позвольте обратить ваше внимание, мисс Грозманн, на такие существенные элементы письменной речи, как точка и глагол.

Где-то в конце 1946 года у моего деда случился сердечный приступ. Пауль писал, что приступ не опасный, тем не менее мама решила ехать в Доминиканскую Республику, не дожидаясь меня. Я смогла отправиться следом только двумя годами позже, после выпускных экзаменов.

— Сама теперь видишь, какая я «добрая и хорошая», — сказала мама. — Профессор Шмайдиг сейчас очень плох, а я, не раздумывая, готова его бросить.

— Так ведь ты торопишься в Доминиканскую Республику, чтобы ухаживать за собственным больным отцом!

— Кстати, о больных отцах, — подхватила мама, — вчера профессор, впервые за все время, пожаловался на сына. Представляешь, он целых три недели не навещал несчастного старика! Как же ему будет одиноко, когда я уеду!

В тот день, когда мама оставила работу у профессора Шмайдига, он позвонил вечером и весьма чудно́ и даже грубо стал говорить о новой экономке, нанятой для него сыном. Потом заплакал. Он просил маму переменить решение, остаться в Англии и выйти за него замуж. Мама сказала, что не может так поступить, зато ей пришла в голову хорошая мысль: завтра из Оллчестера приезжает

ее подруга Лиззи Бауэр, мы втроем нагрянем к профессору, и мама приготовит всем ужин.

Вечер удался. Лиззи, женщина некрасивая, но опытная и жизнелюбивая, обладала невероятным шармом. У нее был большой рот с крупными желтыми зубами курильщицы, черные, как смоль, волосы и умные зеленые глаза. Носила она исключительно темно-синие платья с непременной белоснежной отделкой: ослепительно белый воротничок, шифоновый шарфик или цветок из белого пике придавали ей шик и женственность. Лиззи была маленького роста с пухлым медвежьим горбом. В двадцатые годы, когда она жила в Вене и была очень состоятельна и успешна, в моде были плоские фигуры, и Лиззи по-прежнему бинтовала себе грудь.

Пока моя мать готовила ужин, Лиззи села за пианино и стала развлекать хозяина фривольными песенками, популярными в венских кабаре до прихода Гитлера. «В твой день рожденья, Джонни, с тобой останусь я — до самого утра», — пела она, нимало не смущаясь полным отсутствием голоса. Поглядывая на профессора сквозь дым сигареты, еще тлевшей рядом в пепельнице, она поводила плечами, откидывала, хохоча, голову, ни на секунду не позволяя старику отвести от

нее взгляд. «Ах, Джонни, был бы день рожденья каждый день… Я о тебе мечтаю ночь и день», — наполовину пела, наполовину проговаривала Лиззи. — «Будь к двери подойти готов сегодня в пять часов». (Я никогда не осмелилась бы зазывно, как она, смотреть в глаза мужчине — сгорела бы со стыда, думала я, наблюдая за Лиззи. Может, что-то со мной не так?) Плечи профессора тоже едва заметно покачивались под домашней курткой, он не сводил с Лиззи восхищенных глаз. Потом по настоянию профессора мы отправились ее провожать. Когда такси остановилось у вокзала Ватерлоо, я краем глаза заметила какое-то движение — вроде бы профессор выпустил левую руку Лиззи из своей правой руки. Я уже решила, что это был обман зрения, но Лиззи, перехватив мой взгляд, усмехнулась и выразительно пожала плечами: «Что тут поделаешь? Он же глубокий старик». Потом профессор отвез нас с мамой до дому и поднялся к нам выпить чашечку кофе. С того дня он стал приезжать каждый вечер и оставался ужинать тем, что мама сготовила для нас с ней. Однажды он спросил, не заедет ли к нам на прощанье наша очаровательная приятельница.

— Из Оллчестера?! — воскликнула мама. — Путь-то не близкий. Такая поездка дорого обой-

дется.

— Позвоните ей и попрощайтесь по телефону. Я охотно заплачу за разговор, — любезно предложил профессор. И скажите, пусть приедет навестить меня, если ей случится снова оказаться в Лондоне. Как вы думаете, она приедет?

— Но мы с Лиззи уже попрощались, — ответила мама. — А вот *вы* можете пригласить ее навестить вас. Я оставлю вам ее номер телефона.

Этот разговор состоялся накануне маминого отъезда. Профессор так горько плакал, что совсем ослабел и расклеился, и нам пришлось везти его домой. На обратном пути мама взяла с меня слово, что я буду время от времени его навещать.

— Хотя бы ради меня, — добавила она. — Он будет ужасно страдать от одиночества!

Визиты милосердия к профессору, как и учебу, я почему-то постоянно откладывала на завтра. Потом мама написала мне, что получила от профессора письмо; ему очень одиноко, сетовал он, и порой он ночь напролет молится о том, чтобы больше вообще не просыпаться. На следующий день я уже была на пороге его дома. Дверь открыла Лиззи Бауэр.

— Я хотела позвонить тебе чуточку позже, — сказала она. — Я случайно оказалась Лондоне.

— И приехала меня проведать.

В дверях кухни стоял профессор, одетый в свой лучший серый костюм. Он выглядел очень элегантно, и вид у него был здоровый, даже веселый. От обиды за маму я разозлилась.

— Мама написала мне, что вы нездоровы, а я как раз оказалась в вашем районе…

— Заходи, заходи. Как поживает добрейшая фрау Грозманн? Пойдемте-ка на кухню. К счастью, сегодня у моей гнусной экономки выходной. Я только что похвастался фрау Лиззи, что могу сварить чашечку знаменитого кофе по-венски.

Лиззи стояла, прислонившись к притолоке; в изящной левой руке с огромным агатом на пальце дымилась сигарета. Она не спускала игривых, манящих глаз с профессора, а он бестолково суетился, готовя кофе; время от времени я ловила и на себе ее озорной взгляд.

После кофе профессор Шмайдиг подвел Лиззи к пианино, и она стала ему петь. Когда я собралась уходить, Лиззи тоже встала. Старик галантно принес ей пальто и помог одеться. Уже на пороге я заметила, что он сунул ей в руку несколько купюр по фунту каждая.

— Он от этого не обеднеет, — проронила Лиззи, когда мы уже ехали на лифте вниз, — а мне не

по карману кататься в Лондон неизвестно зачем. У меня еще час до поезда. Не убегай, давай поболтаем.

Мы зашли в кафе на углу, сели за столик.

— Сегодня он меня прямо-таки допек, — начала Лиззи. — Днем чуть ли не силой усадил к себе на кровать, вытянул из тумбочки ящик и вывалил содержимое мне на колени! Ему, видите ли, захотелось отдать мне *всё*, что там скопилось! Что он себе думает? Интересно, какой мне прок от старых шелковых носовых платков, от костяного рожка для обуви или древней цепочки для ключей? В конце концов откопал там вот что. — Лиззи выпростала из-под белой манжеты запястье и показала мне красивые старинные золотые часики. — От его покойной жены остались, — добавила она.

— Знаю, — сказала я. — Когда-то он хотел подарить их маме, только она не взяла. Знаете, он ведь хотел на маме жениться.

— Она мне говорила, — подтвердила Лиззи. — На посулы-то он горазд.

— Нет, он всерьез предлагал жениться, я точно знаю. Месяцами упрашивал, а неделю до ее отъезда проводил у нас буквально каждый вечер.

— Он мне рассказывал. А теперь говорит, что

все время ждал моего приезда. Твердит: мол, вот-вот мой сынок переселится в Лондон и снимет нам в том же доме квартирку… На мой взгляд, он просто выжил из ума. Посмотрим, чего стоят его обещания! А как твои дела, Лорле? Дружка себе завела? — спросила она, не спуская с меня добрых, умных глаз.

— Никого у меня нет, — пожаловалась я. — Годами не вижу ни единого мужчины. А если б и увидела, он, небось, не обратил бы на меня внимания. Год назад был, правда, тут один студент из Канады.

Лиззи Бауэр молчала, в ее длинных пальцах дымилась сигарета; зачарованная ее вниманием к моей личной жизни, я, к собственному удивлению, рассказала ей про эпизод со студентом, включая даже то, чего прежде сама не осознавала. Она расспрашивала о всяких подробностях, и до меня впервые дошло, что канадец уже готов был в меня влюбиться. Ошеломительное открытие.

— Предположим, но что в этом толку? — сказала я. — Он мне не так уж и нравился. Может, во мне какой-то изъян? Может, я из тех людей, кому всерьез… никто не нравится.

— Нет, дело не в том. Может быть, ты из тех женщин, которые очень долго взрослеют, — за-

метила Лиззи. — Ты столько лет жила с двумя престарелыми дамами и вдобавок училась в женской школе — где уж тут набраться ума-разума.

— Верно, — приободрившись, подтвердила я. — А теперь тоже учусь в чисто женском колледже. Представляете? Вокруг тысячи две англичанок в макинтошах и полуботинках на низком каблуке.

— Лора, милая, есть идея, — сказала Лиззи. — Слушай, в мой следующий приезд я постараюсь улизнуть от старика пораньше, и мы с тобой пойдем и купим тебе новое платье.

— Платье?! Куда мне его надевать-то? И потом, я только что отдала деньги плюс еще талон на одежду за этот вот костюм… С белой блузкой он смотрится гораздо лучше, — добавила я, с горечью понимая, что мой костюм в классическом стиле из коричневой шерсти в елочку Лиззи не понравился. А ведь я целых три недели мучилась, выбирая, что купить; в своем отчете о тратах я никогда не решилась бы написать, во сколько мне обошелся этот костюм.

Когда мы с Лиззи опять встретились в том же кафе на углу многоквартирного дома, где жил профессор, она призналась, что едва не отменила нашу встречу. Выяснилось, что профессор Шмайдиг пожелал взять ее с собой в банковское

хранилище.

— Но тут вдруг явился его сынок; хочешь не хочешь, а пришлось нам, как воспитанным деткам, сесть за стол и пить с ним чай.

— Рада слышать, что сын проявляет к отцу хоть какое-то внимание, — заметила я. — Пока там работала мама, Шмайдиг-младший неделями носа не казал.

— Что ты, теперь он то и дело заходит, — сказала Лиззи. — Следит за мной в оба, хотя, разумеется, предельно любезен и рассыпается в благодарностях за то, что я не даю отцу скучать. Он, конечно, и не подозревает, какую штучку старик перед моим уходом тайком сунул мне в сумку. — И она вынула из ридикюля маленькую, усыпанную жемчугом брошь. — Сейчас за нее много не дадут. По его словам, самое ценное он хранит в банке.

Потом Лиззи поинтересовалась, ношу ли я еще синее платьице, в котором ходила в Клинтон-лодж. Оказалось, она привезла мне белый пикейный воротничок, изящно обвязанный крючком. Воротничок лежал в розовой папиросной бумаге, в которую Лиззи завернула его еще в Вене, в 1938 году.

Я надела синее платье с белым воротничком на чаепитие, устроенное в комнате отдыха Обще-

ством любителей английского языка и культуры. Когда я красила губы в туалете, точнее было бы сказать, что я намазала помадой подушечку указательного пальца, а уж потом провела им по губам, туда вошла Моник. Стоя перед соседним зеркалом, Моник смело очертила алой помадой изгибы своего рта. Я легонько пошлепала пальцем по губам, чтобы придать им яркости. Получилось красиво.

— Готова? — спросила Моник.

— Одну минутку, — я быстро стерла помаду с губ. — Теперь готова.

Собравшиеся в комнате отдыха студентки все как одна были в твидовых костюмах. Мне показалось, что в своем синем платье с венским воротничком я буду выглядеть нелепо, и не стала даже расстегивать плащ.

На заседание Общества был приглашен молодой поэт, еще только добивавшийся известности. Высокий, в мятом костюме и небесно-голубых носках, притягивавших удивленные взоры публики, с некрасивым, но привлекательным насмешливым лицом, поэт до того разволновался, что выглядел нездоровым. Он стал рассказывать о поэтах-метафизиках, об их религиозности и учености, с большой любовью, — словом, совер-

шенно в моем вкусе! Однако я его не слушала: готовилась задать ему чрезвычайно умный вопрос. Время вопросов наступило и прошло, а я все никак не могла унять волнение и озадачить его вопросом: боялась, что у меня дрогнет голос. Объявили, что пора пить чай. В одно мгновение замечательного молодого человека окружила стайка девушек — он словно стал сердцевиной этого цветника. Моник держала перед ним тарелочку и с веселым смехом кормила шоколадными печеньями.

Я собрала учебники. На этот раз я действительно решила пойти в библиотеку заниматься, но почему-то присела на скамейку под самым раскидистым платаном и вдруг увидела, что по дорожке, увлеченные разговором, идут американка и поэт. Моник помахала мне рукой. Я смотрела им вслед: вот они прошли через железные ворота, пересекли по мостику озеро и зашагали по Бейкер-стрит.

Профессор Шмайдиг влюблен в нее по уши, сообщила мне Лиззи; он стал совершенно несносен — вечно упрашивает ее остаться на ночь, хотя она дала ему ясно понять, что она не из тех, кто легко идет на идет на подобные вещи; и потом, вдруг к нему вздумает нагрянуть его сын, что тогда?

В конце месяца Лиззи опять позвонила и попросила встретиться с ней в Венском клубе. Но мне в самом деле нужно заниматься, сказала я, на носу выпускные экзамены. Всего на полчасика, взмолилась Лиззи. Кое-что произошло.

Мы уселись за столик. Мой *Torte*[48] со *Schlagobers*[49]на вкус ничем не отличался от тех тортов и пирожных, которыми я лакомилась в Вене: тогда каждое воскресенье приезжала бабушка, и мы шли в *Kaffeehaus*, где нас уже поджидали мои многочисленные тети и дяди. Я огляделась; позади меня сидел пожилой мужчина с крючковатым носом, неподалеку две женщины пили кофе и оживленно болтали; их вид и манера говорить были мне до того знакомы, будто я знала их всю жизнь.

Лиззи пребывала в расстроенных чувствах. Она специально приехала в Лондон пораньше, они с профессором, улизнув из дома, направились в банк и уже сидели за столом перед открытым сейфом, но тут, откуда ни возьмись, в хранилище врывается — угадай, кто? — да, представь себе, его сыночек. То ли он сообразил, куда они рванули,

---

[48] Примечания: 48
Торт (*нем.*).

[49] Примечания: 49
Взбитые сливки (*нем.*).

то ли, что более вероятно, устроил слежку. И там, в присутствии банковской охраны, он закатил абсолютно *чудовищный* скандал. Заявил, что если еще хоть раз увидит Лиззи рядом с отцом, то добьется, чтобы старика признали невменяемым и упрятали в сумасшедший дом.

— Какой ужас! — воскликнула я и, живо представив себе эту картину, покраснела. — Что же вам делать?! Теперь вы даже не можете его навестить, но и оставить его тоже не можете!

— Почему это я не могу его оставить? — удивилась Лиззи. — Уверяю тебя, я никому не позволю так со мной разговаривать, и точка! Лора, милая, расскажи лучше о себе. Как у тебя с мальчиками?

Я только открыла рот, чтобы поведать ей о том, что не выходило у меня из головы — о чайной церемонии после заседания Английского общества, о поэте и о том, как Моник ушла с ним, — но вдруг заметила во взгляде Лиззи некую странность, уклончивость, что ли. Она смотрела мне прямо в лицо, но при этом меня явно не видела.

— Как поживает Франци? Что она пишет? — поинтересовалась Лиззи, однако мне показалось, что ее вопрос предназначен кому-то неподалеку, за моим плечом. Я обернулась. Позади стоял

пожилой господин с породистым крючковатым носом; он держал в руках чашку с кофе и улыбался.

— Вы так оживленно беседуете, дамы, — сказал он, — что одинокого человека терзает зависть.

— В таком случае почему бы одинокому человеку не взять стул и не присоединиться к оживленной беседе? — предложила Лиззи, подняв на него чарующе озорные зеленые глаза.

Я встала:

— Не затрудняйтесь поисками стула. Мне пора домой, заниматься…

Началась экзаменационная страда. Меня до сих пор преследует один и тот же кошмар: я *не* открываю книгу, одну из целого ряда других на многочисленных полках в неисчислимых книжных шкафах, рядами уходящих куда-то в бесконечность, и при этом чувствую, что время медленно, до головокружения незаметно утекает прочь, подобно отступающей волне, которая вымывает песок под моими ногами. Потом я просыпаюсь и понимаю, что мне уже не нужно зубрить, готовясь к надвигающимся экзаменам, зубрежки не будет больше никогда, и жизнь сразу становится невыразимо прекрасной. Выпускные экзамены я сдала из рук вон плохо — разве что

не провалилась.

Видимо, я все время надеялась, что какое-нибудь препятствие помешает мне покинуть Англию ради Доминиканской Республики; тем временем регулярно приходили письма от мамы, полные любви, — она надеялась, что еще до конца лета мы снова будем вместе. Но до отъезда, просила она, пожалуйста, навести профессора Шмайдига и попрощайся с ним.

Я позвонила профессору в дверь, но мне никто не открыл. Я уже собралась написать записку и оставить ее у привратника, но тот сообщил, что почти месяц назад профессора положили в больницу, а накануне моего визита приехал его сын, вывез всю мебель и прочее и запер квартиру. Старый профессор умер.

Я вышла на улицу. Сеял ласковый летний дождик, и Лондон вдруг вызвал во мне острую тоску по прошлому. Все мои английские друзья разъехались по домам. Перед тем как вернуться в Нью-Йорк, Моник ненадолго отправилась в Париж.

Я поехала на метро до Пиккадилли, дошла до Олд-Бонд-стрит и побродила по ней, подыскивая себе платье. *Новое* платье. Я представляла его себе чисто умозрительно — одновременно со-

блазнительное и строгое, элегантное и шикарное. В конце концов я остановилась на платье синего шелка; оно было мне не по карману, и к тому же смелый вырез подчеркивал длинную худую шею и длинный острый нос.

— В вороте продернут шнурок, мадам, — сказала тонная продавщица и стянула вырез у меня на горле. Я поняла, что именно так мне придется носить платье, пока я не расцвету, чего я ждала со дня на день. Стоя на пышном темно-фиолетовом ковре в практичных туфлях на низком каблуке, я видела себя в слегка наклоненном большом овальном зеркале в стиле рококо: лицо осунулось, глаза за круглыми очками смотрят напряженно, нетерпеливо и тревожно. Помнится, я глянула в упор на продавщицу и, как женщина женщину, спросила:

— А *вам* как кажется?..

Но она мысленно уже сбросила меня со счетов как «пустой номер» и, потирая левый глаз пальцем с алым ноготком, лишь сказала:

— Это чистый шелк, мадам.

* * *

В экипаже греческого корабля, на котором я плыла, было много обворожительных офице-

ров. В их компанию я попала благодаря соседке по каюте, которую звали Паула; эта статная, умудренная жизнью полька ехала в Тринидад к нелюбимому мужу. Я нарядилась в платье из чистого шелка с низким вырезом и, не веря, что это не сон, то и дело напоминала себе: это *я*, *я* полулежу на палубе в шезлонге, слушаю гитарные переборы… курю и пью до глубокой ночи шампанское… и досадую, что время от времени проваливаюсь в дрему. Ненароком открыв глаза, я увидела, что молодой офицер, красавец с оливковым лицом, снимает с Паулы туфли, а она только повторяет:

— Перестаньте. Шалун какой.

— Слушай, — окликнула я Паулу, — мы что, спать вообще не идем?

Но они уже уходили по длинной палубе в непроглядную тьму.

— Эй! Вы куда? — крикнула я.

На корабле был еще студент-литовец — мое личное открытие. Мы вели беседы об эстетике света и о сравнительной теологии. Однажды мы стояли на палубе и, опершись на перила, любовались заходящим солнцем; студент обратил ко мне сияющее лицо и прошептал, что хочет сказать мне кое-что важное, но кровь оглушительно

стучала у меня в ушах, перед глазами вспыхивал ослепительный свет, и, не выдержав напряжения, я выпалила:

— Что за книгу ты читаешь?

Ночью корабль сделал остановку в Гваделупе, студент из Литвы сошел на берег, а три дня спустя я тоже сошла на землю Нового Света.

Часть вторая

Глава девятая
Сосуа: Пауль и Илзе

Я приехала в Доминиканскую Республику в 1948 году; дядю Пауля и бабушку с дедушкой я не видела ровно десять лет.

Вскоре после отъезда моих родителей из Вены Пауль пошел работать на одну из учебных ферм, организованных на окраинах австрийской столицы Адольфом Эйхманном при содействии еврейской общины. На этих ахшара[50] молодые евреи, желавшие уехать в Палестину, должны были учиться работать на земле.

Пауль слал письма мне в Англию. В одном я увидела фотографию пухленькой девушки в рабочих брюках и с банданой на голове; она стоит между симпатичным молодым человеком, который жмет ее левую руку, и дядей Паулем в круглых очках на длинном носу, и его левую руку пожимает она. Правая рука моего дяди забинтована и висит на перевязи — что для него вполне типично. Из той страшной поры на меня смотрят

---

[50] Примечания: 50

Ахшара — название ферм, создававшихся для обучения молодых евреев навыкам ведения сельского хозяйства.

три смеющихся молодых лица.

Никаких подозрений насчет серьезности дядиных намерений у меня не возникло: я же помнила тот день, когда Пауль пришел попрощаться и заодно предложил бабушке взвесить все за и против его женитьбы на любимой девушке, которая с радостью согласилась выйти за него замуж; через две недели после первого письма пришло еще одно, в нем Пауль сообщал, что женился на той самой девушке по имени Илзе. Поначалу я отказывалась этому верить, но постепенно свыклась с мыслью о дядиной женитьбе. Меня совершенно очаровало описание их свадьбы, несравнимо более яркой, чем вполне традиционная свадьба моих родителей в 1927 году. Они заключили брак в ином, канувшем в прошлое мире, на торжество съехались родственники из Вены, Будапешта и Пресбурга[51], в приданое входило по шесть дюжин носовых платков, нижних юбок, ночных рубашек, наволочек — с монограммами, вышитыми деревенскими девушками; все это изобилие ожидало молодых в их венской квартире, куда они въехали после медового месяца, проведенного в Италии. Брак же Пауля и Илзе был заключен

[51] Примечания: 51
Пресбург — ныне Братислава, столица Словакии.

возле коровника специально приехавшим в ахшара раввином, а наутро молодые уехали на грузовике, доставлявшем в город яйца. Пауль с Илзе поселились у моих бабушки и дедушки, те по-прежнему жили в квартире тети Иболии. Пауль рассказывал мне, что, когда они вдвоем тащили наверх свои пожитки, уместившиеся в одной бельевой корзине, оба прямо-таки умирали со смеху, так что приходилось на каждой площадке присаживаться, чтобы отдышаться.

В письме к маме бабушка горько жаловалась на девчонку, которую Пауль привел в семью: она бросает в стирку вместе с белым бельем свои черные чулки, хотя бабушка предостерегала ее от этого. По бабушкиному признанию, она чуть ли не на коленях умоляла Пауля не жениться на этом избалованном, необразованном дитятке, с которым он и знаком-то чуть больше месяца. Не говоря уже о том, что она уже была с кем-то помолвлена, но если Пауль, хоть его и считают на редкость нежным сыном, чего-нибудь захочет, отговаривать его — пустое занятие. И буквально во всем он берет сторону этой своей девчонки.

В сентябре бабушка написала, что Пауль и Илзе получили английскую визу при условии, что они будут работать на ферме. «Мы с твоим отцом

вынуждены, разумеется, остаться здесь. Если бы я могла завидовать собственным детям, я бы позавидовела Паулю и Илзе, ведь они сбегают разом от Гитлера и от ворчливой матери».

«Дети уехали, — писала она в октябре, — и очень вовремя. Сегодня утром, когда мы завтракали, явились два эсэсовца; к завтрашнему полудню мы обязаны освободить квартиру. Когда узнаю наш новый адрес, сразу напишу».

Шел 1939 год. Я жила у Хуперов. Мне было непонятно, почему Пауль не приехал повидаться со мной сразу. Лежа в постели, я, бывало, часами ломала голову над этой загадкой. Первую работу он получил на ферме в Уилтшире. Илзе вела хозяйство в их однокомнатном домишке; они завели собаку. Пауль говорит, что в ту пору он мало общался с такими же батраками. Английский язык ему не давался. Все силы уходили на то, чтобы не отставать от наторевших в крестьянском труде работников. Шестинедельный подготовительный курс в ахшара мало чему его научил, и к концу уборочной страды его уволили. Впрочем, благодаря нехватке рабочих рук в военное время он быстро нашел себе другое место. В письмах Пауль и Илзе, главным образом, сообщали о том, что опять поменяли место жительства.

Я расспрашивала Пауля про эту пору его жизни, ведь я о ней мало что знала; однажды он описал себя в третьем лице — мол, был такой молодой человек, «недавно оторванный от родного дома, вельт фремд (чужак), которому в его двадцать восемь лет еще ни дня не приходилось зарабатывать себе на жизнь и чьи представления о жизни сформировались в процессе беспорядочного чтения книг… И вот такому молодому человеку жизнь навязала роль одновременно отца и любовника своей доченьки-жены. Они безумно любили друг друга. Хотя она была лет на восемь моложе мужа, в любовной страсти он стал ее учеником, а она, совершенно необразованная девочка, горела желанием познать с его помощью необъятный мир культуры».

С Илзе я познакомилась только после того, как Пауль попал в лагерь для интернированных. Она написала, что отправляется в Лондон, чтобы вытащить мужа из лагеря, а по дороге хочет заехать к нам. Помню, как впервые увидела ее, хотя от волнения у меня перед глазами все плыло; вопреки моим ожиданиям, она оказалась вовсе не высокой и утонченной, а похожей на мою маму: полненькая, каштановые волосы собраны на затылке в непритязательный валик; самый

обыкновенный человек, как все мы, и очень похожа на свою фотографию.

Весь тот день я внимательно изучала Илзе, ведь она делила постель с дядей Паулем. У нее были ярко-зеленые глаза, загорелое лицо покрыто легким пушком, как на летней ягодке. Я подсела к ней, и она приобняла меня одной рукой. Помню, кожа в ее локтевой ямке и выше была нежная, сухая и необычайно гладкая, приятная — я даже потерлась о нее щекой.

Уже из Лондона Илзе написала маме, что ходила в министерство внутренних дел, чтобы вызволить Пауля, но чиновник твердил одно: «Ваш муж — гражданин враждебной иностранной державы», хотя она ему уже объясняла, что Пауль — еврей и уже поэтому шпионом быть не может. Она сожалела, что плохо говорит по-английски и оттого до чиновника не доходит смысл ее слов.

Из министерства внутренних дел Илзе направилась в Блумсбери-хаус[52]. Когда она сидела в приемной, туда пришел американец, который составлял список желающих поехать на жи-

[52] Примечания: 52

Блумсбери-хаус — так называемый Колледж наставников, построенный в Лондонском районе Блумсбери в 1887 году; ныне — Колледж учителей.

тельство в Сосуа, — эту сельскохозяйственную территорию Доминиканская Республика предоставила беженцам, которые готовы были стать фермерами. Илзе спросила, как быть, если такой желающий находится в лагере для интернированных, и американец сказал, что у него есть возможность добиться освобождения любого, кто готов отправиться в Сосуа. Тогда Илзе попросила внести ее и Пауля в список колонистов.

О таком пристанище в Новом Свете мечтали многие евреи. В 1938 году Франклин Рузвельт обратился к странам Латинской Америки с просьбой принять беженцев. На предложение американского президента из глав правительств этих стран откликнулся только Трухильо, диктатор Доминиканской Республики. Сама мысль о том, что диктатор решился на такое доброе дело, была настолько неприятна, что осевшие в Сосуа поселенцы норовили усмотреть в его поступке некий корыстный умысел. Из своих огромных земельных владений он безвозмездно выделил двадцать пять тысяч акров на северном побережье, которое называется Сосуа, поставив одно условие: ни один поселенец не должен финансово обременять государство. Вскоре группа евреев-филантропов из США организовала

Ассоциацию поселенцев в Доминиканской Республике (английское сокращение DORSA).

Пауль и Илзе покинули Англию вместе с еще двенадцатью беженцами — одиннадцатью мужчинами и одной женщиной — и в феврале 1941 года, тропически жарким утром, сошли с парохода в Сьюдад-Трухильо[53]. Некий мистер Лангли, специалист по сельскому хозяйству из Ассоциации, уже поджидал их на пирсе. Он загрузил их вместе со скарбом в кузов крытого брезентом грузовика, и они восемь часов добирались из столицы на юге острова через Сантьяго в Сосуа, северную его оконечность. По рассказам Пауля, все вокруг казалось ему новым и прекрасным. Он указывал Илзе на диких зеленых попугаев на деревьях какао. Все утро они дивились на обрамлявшие дорогу пальмы (их тут называли королевскими); вершины их гладких серых стволов торчали над кронами, словно кончики зонтов, и на каждой вершине сидела птица.

К полудню жара в грузовике стала непереносимой. Час за часом иммигранты то беспокойно ерзали, то погружались в дрему. Уже близился вечер, когда они услышали крики и стук ко-

[53] Примечания: 53
Ныне Санто-Доминго, столица Доминиканской Республики.

пыт, — ни дать ни взять набег орды индейцев из какого-нибудь американского вестерна. Путешественники выглянули из кузова; по неглубокой долине к ним скакала группа молодых загорелых всадников, их рубахи с открытым воротом хлопали на ветру.

— Wie geht's? Grausliche Reise, nicht wahr?[54] — кричали они, с так хорошо нам знакомыми австрийским или польско-еврейским выговорами.

Грузовик замедлил ход, всадники тоже попридержали коней и окружили машину, точно эскорт.

— Не поездка, а полный кошмар, верно? — сказал кудрявый парень, сдерживая лошадь, просунувшую в кузов нос. — Я — Отто Беккер. А ты, небось, его жена? — спросил он Илзе, сжимавшую руку Пауля. — Ой-ё-ёй! Неужто не привезли девушек?

— Вон в углу спит одна, ее зовут Рената, — сказала Илзе.

Отто был на редкость хорош собой — молодой, светловолосый парень лет двадцати пяти, с плоским животом и мускулистыми руками,

---

[54] Примечания: 54
Как вы там? Жуткое путешествие, правда? (*нем.*).

покрытыми рыжеватыми, золотившимися под солнцем волосками. Он с откровенным вожделением вглядывался в темное нутро грузовика.

— Так это, значит, Рената… От нее нам радости мало. Она помолвлена с Михелем Браунером. Он тут чуть не спятил, ее дожидаясь. Из немцев он здесь один неженатый.

— Тут немцы?! — в один голос воскликнули Пауль и Илзе.

— Ну, то есть из Германии, — а вы «англичане», потому что прибыли из Англии. На самом деле вы из Вены, угадал? Я тоже. Тем немцам — я их терпеть не могу — целых восемь месяцев назад отвели землю возле Лагуны, но они до сих пор обивают порог Ассоциации, выпрашивают подачки. Я работаю в конторе. Три песо на карманные расходы, но их не на что тратить. Слыхали анекдот про двух кенарей? Один говорит другому: «А *ты* куда идешь вечером?» Ха-ха-ха! Боже, досада какая… Что бы вам привезти девушек!..

Грузовик остановился на крутом, заросшем зеленью откосе.

— Вон, за белым забором, здание местной администрации, — сказал Отто. — Там — сарай для техники. А здесь жилые бараки, один для нас, холостых, а другой еще строится — для вас,

женатиков.

Обернувшись, Пауль и Илзе увидели, как два доминиканца с великим трудом пытаются протащить матрац сквозь узкую дверь низкой постройки из свежесрубленной светлой древесины. Подхватив Ренату на руки, Отто спустил девушку с грузовика и поставил ее, только-только проснувшуюся, на землю.

— Меня зовут Отто Беккер, — представился он.

— Погляди-ка, Илзе, девочка моя! — воскликнул Пауль. — Наша новенькая клетка!

Зеленый откос круто спускался к песчаному берегу, который, словно белые руки, обнимал синие воды залива.

* * *

В Сосуа кормилось две-три сотни иммигрантов, осевших в Батейе (по мнению Пауля, «батей» — слово индейское, означает «место, на котором выросло селение»), в двух общих кухнях.

— Какие новости? — закричали сидевшие за длинными столами едоки, завидев новое пополнение. — Гитлер уже сдох?

— Нет еще.

— Стало быть, новостей нет.

Набрав себе полную тарелку, Отто подсел к

приезжим. Потом беженцы задержались на краткий инструктаж, его по-немецки, но с сильным американским акцентом провел мистер Лангли. Он разъяснил план Ассоциации: первым делом новички должны пройти интенсивный курс обучения основам сельскохозяйственных работ, после чего они разделятся на группы — от двух семей до двенадцати человек, — и будут считаться кооперативными хозяйствами. Ассоциация предоставит этим хозяйствам землю, орудия производства, семена, скот и по одному домику на семью. Как только кооператив станет на ноги, каждый его член будет обязан вернуть Ассоциации долг. Пока жилье для членов сообщества строится, они будут жить в бараках. Со всеми возможными вопросами нужно без промедления обращаться в представительство Ассоциации — оно в административном здании, а с вопросами по ведению сельского хозяйства — непосредственно к нему, подчеркнул мистер Лангли; с вопросами о правилах общежития и прочем — к руководителю местного отделения Ассоциации мистеру Зоммерфелду, который скоро прибудет, чтобы лично приветствовать собравшихся. А завтра утром, сразу после завтрака, добавил мистер Лангли, он ждет всех мужчин в поле. Что

касается обеих женщин, они должны явиться в кухню — на дежурство.

После чего все вышли в ясные предвечерние сумерки. Илзе подхватила мужа под руку.

— Пауль, милый, может, пройдемся и посмотрим окрестности?

— Ой, да, давайте! — воскликнула Рената; она жалась поближе к Илзе, потому что нахальный Отто уже взял ее под руку. В результате ее жениху, щуплому Михелю Браунеру, пришлось пристроиться рядом с Паулем.

— Рената говорит, ты уже работал на ферме, — сказал Михель. — Может, когда мы с Ренатой поженимся, нам с вами объединиться, чтобы стать семейным кооперативом?

— Хотя опыта руководства фермой у меня нет, — признался Пауль, — мне ясно как день, что в руководители я не гожусь. Как Сократ, который, как известно, говорил: «Я знаю только то, что ничего не знаю; другие не знают даже этого».

Уловив в своем голосе менторские нотки, Пауль сконфуженно хмыкнул.

— В Сосуа никто ничего не знает, — заметил Михель. — Для начала надо просто застолбить такую возможность.

Отто предложил Илзе пойти на следующий

день купаться в море.

— Но мы же будем заняты на кухне, разве не так? — удивилась Илзе.

— В Сосуа никто не бывает занят, — бросил Отто.

Они с Ренатой ушли вперед, потому что Пауль с Илзе шагали медленно, нога за ногу. После некоторого колебания Михель подошел к Ренате и тоже взял ее под руку; вскоре вся троица растаяла в быстро спустившейся тьме.

Пауль и Илзе так же неторопливо дошли до обрывистого края откоса и легли на темную траву.

— Пауль, милый, как ты думаешь, стоит ли нам вести фермерское хозяйство на пару с Михелем Браунером?

— Способности Михеля Браунера занимают меня куда меньше, чем таланты Пауля Штайнера. Илзе, золотко мое, ты не забыла, что в Англии за неполный год, с октября 1939 года по август 1940, меня трижды выгоняли с работы?

— А с последней не выгнали. Тебя отправили в лагерь для интернированных, и ты сам говорил, что за тот год много чему научился.

— Твоя правда, — согласился Пауль, — на той работе я почувствовал себя увереннее. Теперь я знаю больше, чем многие здешние поселенцы. У

меня, золотко, руки чешутся заняться реальным делом. Хочу стать добытчиком, чтобы у тебя и у наших детей был дом, чтобы все были сыты, ну и чтобы оставались деньги на выплату долга Ассоциации. Бедная моя Mutti! — Пауль неожиданно развеселился. — Лишь в тридцать лет, и то не без помощи Гитлера, ее сынок наконец повзрослел. Короче, поэта из меня не вышло; никакую революцию я не возглавлю… Слушай, я тебе рассказывал про тот случай во времена Дольфуса[55], когда я шел на заседание нашей социалистической ячейки и меня остановил полицейский? А при мне, между прочим, была пачка памфлетов… Но я достал бумажник — он был набит снимками моей маленькой племянницы Лоры. В ответ полицейский стал показывать мне фотографии двух своих сынишек, и мы расстались лучшими друзьями. Сколько же ерунды в духе шпионских романов творилось тогда во имя новой, высоконравственной Австрии! Сегодня я хочу одного: вывезти родителей из Вены и поставить крест на всей этой европейской заварухе.

Внизу в непроглядной тьме ритмично вздымался и влажно шелестел океан. Черный теплый

---

[55] Примечания: 55

Энгельберт Дольфус (1892–1934) — с 1932 г. Федеральный канцлер Австрии, был убит сторонниками аншлюса.

воздух ласкал кожу. Илзе устроилась поудобнее на руке мужа, и Пауль прошептал:

— Ах, Илзе, золотко мое, это же почти что счастье!

И тут же выяснилось, что будущее, которое рисовал для них Пауль, в точности совпадало с *ее* представлением о счастье.

Внутри каждого барака тянулся длинный узкий коридор, в противоположных его концах располагались туалеты, по обеим сторонам — комнаты наподобие купе в поездах дальнего следования. В каждой комнате стояли железная кровать без матраца, умывальник и два деревянных стула. Вместо стен — деревянные перегородки. Пауль назвал их комнатку Badekabine[56] — уж очень она напоминала cabana[57] в плавательном бассейне. Сосуа вообще смахивает на летний курорт, заметила Илзе: утром встаешь, натягиваешь на себя платье — и вперед.

По дороге на завтрак Пауль признался Илзе, что поле навряд ли будет курортом. Человек умственного труда там оказывается в невыгодном

---

[56] Примечания: 56
Здесь: пляжная кабинка (*нем.*).

[57] Примечания: 57
Раздевалка (*исп.*).

положении. Он не способен что-либо понять или освоить непосредственно, интуитивно. На мир он смотрит через очки; буквально всё ему приходится объяснять: он должен уразуметь *теоретически*, что именно ему предстоит делать *практически*. Однако есть у него одно преимущество: он может за годы овладеть тем, что крестьяне усваивали из поколения в поколение.

Мистер Лангли встретил новых учеников в поле, уже очищенном от камней и пней двумя местными жителями, нанятыми Ассоциацией. Там их ждали плуг, запряженный в него мул, рядом стоял бочонок с ростками батата. Посадочный материал представлял собой клубок зеленых стеблей и листьев; мистер Лангли объяснил, что растения следует порезать на черенки длиной сантиметров в тридцать и разложить по бороздам. Пахал ли кто прежде плугом? — спросил мистер Лангли; да, сказал Пауль, но на муле — ни разу. Хесус, один из доминиканцев, — с виду постарше и более темнокожий, чем второй, — показал, как одной рукой направлять мула, а другой налегать на плуг.

— Тут нужен навык, — заметил мистер Лангли. — Я вернусь немного погодя, хочу посмотреть, как пойдет дело.

И ускакал по прибрежной дороге в сторону Батея.

— Ручаюсь, денег у него куры не клюют, — проронил Фарбер, коммивояжер из Польши. — Я у него спросил, откуда он знает немецкий; он ответил, что учился во Франкфурте на ветеринара, а теперь в Америке занимается скотоводством. Миллионер, точно вам говорю.

— Америка, Америка, страна больших возможностей, — вставил Макс Голдингер, лысый мужчина с торчащим, как у старика, животом.

В дальнем углу опытного поля те же два доминиканца рубили высоченную траву, ритмично напевая в такт взмахам мачете какую-то песню.

Пауль изо всех сил старался вести плуг ровно.

— Эй, кто-нибудь, идите сюда, попридержите эту тварь! — крикнул он. — А то плуг мотает во все стороны. Ну, ты, стоять!

Тем временем Илзе и Рената сели на солнышке за кухней и принялись чистить батат, который Ассоциация в огромных количествах закупала на рынке в Пуэрто-Плата, на другой стороне залива, и возила на грузовиках в Сосуа. Внизу белел песчаный пляж, трое молодых мужчин бежали к воде. Перед женщинами простирался Атлантический океан, такой гладкий, что ка-

зался высеченным из лазури; и только вдалеке, на едва заметных волнах там и сям вспыхивали солнечные блики.

К полудню солнце словно замерло в вышине над опытным полем; его лучи, отражаясь от волн, буравили глаза пахарей, точно острые соринки. Вздымавшиеся справа горы колыхались в жарком мареве. Пауль шагал за мулом, подчиняясь ритму нежданно пришедших на ум строк:

Mensch, was du liebst,
In das wirst du verwandelt werden:
Gott wirst du, liebst du Gott,
Und Erde, liebst du Erden.

Обильный пот ручьями тек у него по ногам.

— Эй, Штайнер, оглянись! — крикнул Фарбер.

Пауль обернулся; вспаханные им борозды поначалу шли параллельно, но затем переплелись и покрыли поле беспорядочной паутиной.

— Да кому он нужен, этот батат, — буркнул лысый Годлингер, бывший венский скорняк. — До сих пор мы прекрасно жили без него.

— Позволь тебе напомнить, что в Вене мы жили отнюдь не прекрасно, — сказал Пауль, с трудом шевеля покрытыми пылью губами, и взял в руки мотыгу.

— Что ты надумал?! — взвыл Голдингер. — Уж не собрался ли вручную спрямлять борозды?

— Если кто-то из нас начнет резать стебли батата на черенки, мы, может быть, хоть немного наверстаем упущенное время, — проворчал Пауль.

— Закатывай-ка рукава, Голдингер, — скомандовал Фарбер. Голдингер послушно закатал рукава до локтей, обнажив розовые безволосые руки.

Казалось, в зеленом месиве, вывалившемся из бочонка, невозможно найти ни начал, ни концов растений. Начинающие фермеры подозвали Пауля, и он посоветовал сначала оборвать со стеблей листья и цветы.

Оба доминиканца, собрав свой рабочий инструмент, какое-то время наблюдали за копошившимися на поле белыми, потом зашагали в родную деревню по той же дороге, по которой утром ускакал мистер Лангли, но в противоположном направлении.

К концу дня мистер Лангли так и не появился; начинающие фермеры исправно разложили голые стебли батата в кое-как подправленные борозды и, прихватив мотыги, вместе с мулом пошли обратно в поселок.

После раскаленной дороги бараки показались им спасительными пещерами — темными, сыроватыми и прохладными. Илзе сидела на кровати, волосы у нее были мокрые: она провела день на берегу в компании Ренаты, Отто и примерно дюжины других молодых мужчин, явно болтавшихся без дела. Она принесла Паулю холодной воды и свежую рубаху. Он рассказал ей про испорченную пашню и прочел стихотворение Ангелуса Силезиуса[58], мистика семнадцатого века, которое с утра крутилось у него в голове. Взобравшись на кровать, Илзе села на корточки и смотрела на Пауля снизу вверх, а он, стоя перед ней в нижнем белье и вздернув голову, словно певец, нараспев прочел:

Человек, ты станешь тем,
Что ценишь превыше всего;
Богом, коль любишь Его,
Землею, коль любишь ее.

Мысль о том, что можно стать тем, что больше всего любишь, Илзе восприняла неожиданно легко, и это одновременно восхитило и удиви-

[58] Примечания: 58

Ангелус Силезиус (Силезский Ангел), наст. имя Иоганн Шеффлер (1624–1677) — немецкий поэт-мистик, философ и богослов.

ло Пауля. Он рассказал ей, что по дороге с поля ему наконец пришла на ум последняя строка стихотворения, которое он вынашивал уже много-много лет.

— Я даже помню, где именно возникла первая строчка. В Фишабенде, на берегу Дуная, там есть тропинка… — задумчиво сказал он и прочел:

(Ich denke und du düngst..)

Я думы думаю, ты хлеб растишь.

Если мысли мои тебе ночью помстятся

Бессмысленной ерундой…

— Тут вышло в духе Карла Крауса[59], — недовольно поморщился Пауль.

…Знай, что мой ум выводит на свет

Семя, удобренное тобой.

— А продолжение несколько в стиле девятнадцатого века, — добавил он.

И вдруг остро затосковал по Дольфу, вот уж кто мгновенно распознал бы, где источник каждой мысли, и не скупился бы на похвалы любому мет-

---

[59] Примечания: 59

Карл Краус (1874–1936) — австрийский писатель, поэт-сатирик, фельетонист, публицист.

кому слову или образу. По-дирижерски отбивая рукой ритм, Пауль продолжил:

А когда после жизненной маяты

Замрут наши тени, уйдя на покой…

Пауль еще выше поднял голову и завершил:

— Я стану мыслью, ты ж — тучной землей.

(Alsdann wirst du zum Dung, ich zum Gedanken)

После ужина Пауль и Илзе ускользнули от Ренаты, пока она препиралась с Михелем, и пошли взглянуть на засаженное бататом поле. По дороге Пауль рассказывал жене про Ангелуса Силезиуса и Карла Краузе, про Гейне и, конечно, про Дольфа, поэта и своего большого друга.

— Рената говорит, тебе жизнь в Сосуа не принесет счастья, потому что ты интеллектуал, — сказала Илзе.

— Много она понимает, — отрезал Пауль.

— Я ей пыталась пересказать то, что ты мне утром говорил, — что человек умственного труда смотрит на мир сквозь очки. Странно получается: когда ты мне это объяснял, я все понимала, а вот ей объяснить не смогла. Раз уж он привык к вен-

ской жизни, говорит, то уже не сможет обойтись без музыки и прочего — без культуры и книг.

— Скажи от меня Ренате, что я действительно хорошо знал ту Вену, что мы — жертвы ее культуры и книг.

Когда Пауль приходил в волнение, обнажался оскал неровных зубов, губы отказывались слушаться, и вид у него становился почти свирепый. Илзе крепко сжала его руку, он привлек жену к себе и, с трудом шевеля губами, выдавил:

— Именно моя Вена на меня и ополчилась. И мои книги тоже.

Несколько следующих недель начинающие фермеры пололи сорняки и ждали всходов батата.

— Годлингер, ты бы прикрыл чем-нибудь черепушку, не то получишь солнечный удар, — посоветовал Пауль.

Годлингер вынул носовой платок, накрыл им лысую голову, которая уже угрожающе покраснела, и зашагал дальше рядом с Паулем, опираясь на мотыгу, как на трость.

— Когда мне придет разрешение на въезд в Америку, — говорил он, — мы с братом откроем в Чикаго меховой магазин — небольшое, чисто семейное предприятие. Моя жена не устает

повторять: «Чужаки работают не на тебя, они работают против тебя». Оставь немножко сорняков-то, — раздраженно бросил он, когда Пауль склонился, чтобы выдрать руками глубоко засевший корень. — У нее, жены моей, прекрасная деловая хватка. Она специально осталась в Вене, чтобы без ущерба закрыть наше предприятие, и теперь поедет прямиком в Америку.

В марте из Швейцарии прибыло еще двадцать человек, в том числе толстенная, необъятных размеров мать Михеля, а также его брат Роберт с женой и маленькой дочкой.

— Что нового? Гитлер уже сдох? — первым делом спрашивали переселенцы первой волны.

— Ничего нового, — отвечали «швейцарцы».

Мистер Лангли привел новую партию пахарей-стажеров на поле, которое Хесус с напарником как раз очищали от поросли и камней.

— Если вам вдруг понадобится батат, — обратился Фарбер к мистеру Лангли, — то могу предложить бушель отличного розового батата; для Ассоциации готов сделать скидку.

На загорелом обветренном лице мистера Лангли, сменяя друг друга, выразились замешательство, недоумение и конфуз.

— Батат… — пробормотал он. — Не уверен, что

нам нужен еще батат. — Внезапно в его голосе послышалась прежняя уверенность: — Впрочем, ценю вашу предприимчивость, Фарбер. Очень ценю. Зайдите в контору, я скажу мистеру Зоммерфелду, чтобы он с вами расплатился.

— Ну-ка, Фарбер, признавайся, откуда у тебя батат? — спросил Пауль.

— От фермера, который его выращивает, — ответил Фарбер. — Слушай меня, Пауль: нет такого товара, на который хороший коммерсант не найдет спроса, и нет такого спроса, который хороший коммерсант не сумеет удовлетворить. Ты погляди, как Годлингер разливается соловьем.

Пауль обернулся; Годлингер, в рубахе с закатанными рукавами, из которых торчали розовые руки, и с головой, повязанной носовым платком, стоял, опершись на мотыгу, и беседовал с мистером Лангли. Пауль с Фарбером подошли ближе и услышали, как Годлингер говорит:

— Мой брат работает в Чикаго в большой меховой компании, называется она «Силвермэн». Может, слыхали?

На что мистер Лангли с чисто франкфуртским акцентом сказал:

— Я сам из Техаса.

— Одну минуточку, мистер Лангли, — сказал

Пауль, когда тот уже прыгал в седло. — Хотя я учился фермерскому делу в Вене и Англии, мои познания, естественно, невелики и, безусловно, малоприменимы к этой новой для меня культуре, почве и климату. — Он изъяснялся с многословной учтивостью, с какой привык в свое время обращаться к профессорам Венского университета. — Хотел бы заметить, сэр, что всем нам был бы очень полезен более глубокий курс обучения. К примеру, какое время требуется батату, чтобы дать всходы после посадки?

Прикрыв глаза ладонью от слепящего солнца, мистер Лангли смотрел на Хесуса с напарником, расчищавших очередное поле для следующей группы переселенцев, на этот раз из Италии.

— Время, требуемое батату, чтобы дать всходы после посадки, конечно же, зависит, как вы справедливо отметили, от почвы… времени года… Мы с вами это обсудим, когда я вернусь из Пуэрто-Платы. Сегодня мне привезут из Штатов двух быков.

— Простате, мистер Лангли, еще один вопрос, если позволите, — быстро проговорил Пауль, чувствуя, что мистеру Лангли не терпится прекратить беседу и уехать. — Каковы у меня шансы перевезти в Сосуа моих родителей?

— Насчет визы обратитесь к Зоммерфелду, — бросил Лангли, слегка стегнув коня. — Визами занимается он.

— Was singt der Schwarze? — спросил Фарбер у Пауля. — Ну, давай, переводи, профессор, вы с Илзе ведь только и делаете, что штудируете испанскую грамматику. О чем поет тот чернокожий?

Пауль прислушался. Шагая в такт взмахам мачете, Хесус напевал:

…¿Donde esta Pedro?
Ya no le veo
Ya me parece
Que me tiene miedo.

И Пауль перевел:

Где же Педро?
Я его не вижу.
Сдается мне,
Что он меня боится.

— А спроси-ка его — может, он знает, сколько времени нужно батату, чтобы дать ростки? — предложил Фарбер.

Переговорив с доминиканцем, работавшем на

соседнем поле, Пауль сообщил:

— По его словам, они взошли бы еще две недели назад, если бы мы не оборвали листья и молодые побеги. Но ведь он видел, как мы их обрывали, — стоял на дороге и наблюдал, я точно помню. Отчего ж ничего не сказал?

— Все равно взойдет — неделей раньше, неделей позже, — сообщил Хесус.

— А Лангли почему нам этого не говорит?! — вспылил Пауль.

— El Señor Лангли no sabe nada, — сказал Хесус. — Он сам ничего не знает. Про быков и коров — да, знает.

Они вернулись к работе. Ритмично орудуя мачете, Хесус запел:

El Señor Langley
El no sabe nada.
Ya me parece
Que él tiene miedo.

Мистеру Лангли доставили двух великолепных племенных быков и сразу завели в загон. Один, правда, не оправился от морской болезни после качки и сдох, но второго сразу же заняли делом — улучшать местное поголовье рогатого скота.

«Швейцарцы» уже успели посадить получен-

ный у Фарбера батат и теперь пололи сорняки. «Англичане» продолжили прополку своего батата — он наконец взошел, как и предсказывал Хесус. Наблюдая с обочины за прополкой, Хесус заметил:

— *No se necesita*[60]. Батат, он крепкий, через несколько недель сам убивает сорняк.

— Слушай, Пауль, не стоит сообщать об этом «швейцарцам», — сказал Фарбер. — А то им нечем будет заняться, и они падут духом.

Тем временем «англичане» присоединились к бьющим баклуши жителям Батея. Днем, в жару, Пауль и Илзе лежали на пляже, учили испанский язык и плавали. Рената, Михель, Отто и другие молодые бездельники резвились в несильном прибое или, сидя на солнцепеке, рассказывали друг другу анекдоты, пели старые студенческие песенки, вставляя в текст непристойности, или же просто брюзжали.

— Уж это мне Сосуа! Скорей бы американцы выдали визы.

— А чего стоит Лангли, с его фальшивым американским акцентом! Да он типичный выходец из Франкфурта, это сразу видно.

---

[60] Примечания: 60
Это не нужно (*исп.*).

— А Зоммерфелд? Больно много о себе воображает. Кто он такой, чтобы заставлять нас красить бараки? Ему что, Schwarze[61] не хватает?

— Зоммерфелд отлично знает, что делает. Чтобы показать богатым американцам и доминиканским шишкам, с которыми он приятельствует, какой он эффективный администратор, он меньше чем за месяц обеспечил всех «немцев» жильем в Лагуне. А здесь за последние восемь месяцев не поселили ни единого человека.

— Зоммерфелд не дурак: как только все будут устроены, он лишится работы.

— Разумеется, он не дурак, — присоединился к разговору Пауль, — однако он с удовольствием манипулирует людьми и умеет убирать их с дороги. С другой стороны, только представьте: ему нужно расселить три сотни евреев, типичных горожан, на тропическом острове, где им предстоит поднимать целину!

— Очень уж ты умничаешь, профессор, — заметил кто-то.

— Пауль, ты согласен стать нашим представителем в совете поселенцев? — спросил Отто.

— Нет, спасибо. Политика — не мое занятие.

---

[61] Примечания: 61
Черномазых (*нем.*).

Молодежь потянулась наверх по каменистой тропке, Пауль и Илзе смотрели им вслед. Через некоторое время на вершине склона появился Годлингер и, оскальзываясь, засеменил вниз.

— Я все утро прождал в здании администрации, но у Зоммерфелда не нашлось для меня минуты. Попробую пробиться к нему завтра. Вы слышали, что «итальянцы» рассказывают о новых погромах в Вене? Говорят, теперь там забирают и женщин. Я хочу, чтобы Зоммерфелд перевез сюда мою жену.

— На прошлой неделе я зашел к нему насчет моих родителей, — сказал Пауль. — Он показал мне длинный, на двух страницах, список поселенцев, хлопочущих о визах для родственников.

— Он сказал, чтобы я зашел к нему завтра…

Годлингер смолк. Он сидел, откинув голову в носовом платке на песчаный холмик. Рот у него приоткрылся, уголки губ уныло опустились, и он мирно заснул на солнцепеке.

Бататовое поле покрылось ковром из зеленой листвы и розоватых цветов. Пауль повел жену любоваться на прущие из-под земли клубни. Спустился ласковый вечер, и они пошли прогуляться в сторону местной деревушки. Вдруг Илзе задрожала:

— За нами кто-то идет…

Пауль оглянулся.

— Илзе, солнышко, это Хесус. Como esta[62], Хесус? Мы с женой решили посмотреть на молодые клубни батата. — Пауль зашагал в ногу с доминиканцем, надеясь попрактиковаться в испанском. — Сколько еще нужно времени, чтобы клубни дозрели до приличного размера?

— Еще пять месяцев, и они станут очень-очень крупными, — ответил Хесус. — Но если бы хозяином был я, то собрал бы батат сейчас. Как только клубни полезут из-под земли, за ними надо смотреть в оба, не то украдут. Спокойной ночи тебе и señora[63].

Хесус приподнял шляпу и, обогнав их, зашагал вперед; на фоне тускнеющего блеска лагуны им отчетливо был виден лишь его силуэт. Карманы Хесуса сильно оттопыривались — явно набитые клубнями батата.

В мае Эрих Мархфелд, врач из Вены, для которого Ассоциация наскоро обустроила больницу, сообщил Илзе, что она беременна. Она была од-

---

[62] Примечания: 62
Как дела? (*исп.*).

[63] Примечания: 63
Сеньоре (*исп.*).

новременно и счастлива, и испугана. Пауль стал относиться к жене с удвоенной заботой. Он раздобыл в Ассоциации подушечку, чтобы она клала на нее ноги; делал наброски, чтобы показать, как матка увеличивается в размере и почему из-за ее роста Илзе плохо себя чувствует. Понимая, что младенцу предстоит жить в Badekabine и ничему хорошему он в Сосуа не научится, Пауль решил подать заявку на семейный кооператив. Вместе с ним в администрацию отправились Отто и Михель. Михель был особенно активен, потому что Рената пообещала выйти за него замуж, как только им выделят домик. «Какой смысл въезжать в барак, — твердила она, — а потом снова перебираться куда-то?!» Отто безостановочно составлял уморительные списки вещей, без которых им не обойтись. Пауль обнаружил, что выступает сразу в двух ролях — руководителя будущего кооператива и соглашателя, призывающего считаться с реальной жизнью. В первой половине июня члены «Группы Штайнера», как их прозвали в Сосуа, отправились со своими заявками в контору Ассоциации. Они просили предоставить им по пять коров и по одной лошади на семью и одного мула на весь кооператив, а также кур, свиней, двухколесную повозку, сарай для инвентаря,

место для хранения удобрений, семян и урожая, навес для дойки коров и три домика.

— Очень толковый список, — одобрил Зоммерфелд. Это был пожилой американец родом из Польши, маленький, плюгавый, с не по росту большой головой, изрытой глубокими, как у бладхаунда, морщинами, с маленькими слезящимися глазками и отвислыми слюнявыми губами.

Трое заявителей вошли в светлый, устланный ковром кабинет управляющего и стали перед его столом. Все молчали. Пауль не сводил глаз с карандаша Зоммерфелда, которым тот отмечал каждый пункт списка. Наконец Зоммерфелд поднял глаза на просителей:

— Мы строим в Белла-Висте парочку домов…

От волнения Паулю стало дурно: подумать только, он вот-вот получит собственный дом и начнет фермерствовать!

— Но, как я вижу, вы просите создать товарищество из трех фермерских хозяйств, — продолжил управляющий.

— Мы это уже обсуждали, сэр, — сказал Пауль. — У Михеля на попечении его мать, но Отто мог бы пожить какое-то время вместе с нами.

Зоммерфелд утвердительно кивнул огромной головой и что-то черкнул на полях.

— А кто, собственно, сказал, что мы не можем построить еще и третий дом? — сказал он, и обаятельная улыбка разом преобразила его неказистое лицо.

— Я хотел бы добавить, сэр, — сказал Пауль, — что у меня за плечами есть некоторый земледельческий опыт: еще в Вене я прошел полуторамесячный курс ведения сельского хозяйства, а потом, уже в Англии, почти год проработал на фермах. Впрочем, я отлично понимаю, что это только начало.

— Очень верно замечено — только начало, — подхватил управляющий. — Именно этим, друзья мои, мы здесь и занимаемся. Тяжелое-претяжелое начало. Давайте так: я обсужу вашу просьбу с мистером Лангли, мы посмотрим, как обстоят дела с поголовьем скота, а о результате я вам сразу же сообщу. До свиданья, господа.

Трое просителей откланялись и повернули к двери; вдруг она распахнулась, и в кабинет вошел ослик, на котором восседал человек по имени Хальсманн, из поселка в Лагуне. Подъехав ближе, Хальсманн вывалил управляющему на стол корзину помидоров и закричал:

— Вот мой подарок вам и вашей Ассоциации! Я ухлопал на помидоры пять месяцев, вырастил

урожай, а ваша кухня отказывается их покупать, потому что получает помидоры из colmado[64] Ассоциации, а colmado закупает их в Пуэрта-Плате.

Он резко дернул уздечку, словно пускал в галоп арабского скакуна, и маленький ослик затрусил к выходу. Опустившись на колени, члены группы Штайнера принялись собирать раскатившиеся помидоры, но Пауль украдкой поднял глаза и увидел, что нимало не смущенный инцидентом Зоммерфелд завороженно, по-детски раскрыв рот, смотрит в окно вслед ослику с седоком.

В июле Пауль решил напомнить Зоммерфелду о визах для родителей, хотя его раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, он опасался чересчур докучать управляющему, с другой — без напоминаний управляющий мог легко забыть о его просьбе. Он отправился в контору и обнаружил в приемной Годлингера. Вскоре прибыл Зоммерфелд и по дороге в кабинет бросил:

— Годлингер, похоже, вы здесь уже прижились. Сегодня я вас не приму, занят. Ко мне из Сьюдад-Трухильо должен приехать сеньор Родригес, представитель нашего, так сказать, благодетеля. Пауль Штайнер, дружище! — приветствовал

---

[64] Примечания: 64
Магазина (*исп.*).

он моего дядю, чем его сильно удивил. — Как поживает наша будущая мамочка? Необходимо позаботиться о фермерском доме для вашей семьи еще до появления сына и наследника!

— Век не забыл бы вашей доброты, сэр, — отозвался Пауль. — Но сегодня я зашел узнать, как продвигается дело с выездом моих родителей из Австрии.

— И моей жены тоже, — вставил Годлингер.

— Скажите, Годлингер, вы в Вене были меховщиком, да?

— Да, господин управляющий: фирма «Меха от Годлингера». Может, слыхали? На Рингштрассе. Я занимался производством, а жена — магазином. У меня брат тоже меховщик, у него свое дело в Чикаго.

— И вы хотели бы стать его компаньоном в Штатах, не так ли?

Годлингер просиял:

— Ах, мистер Зоммерфелд, если бы это удалось…

— Как я понимаю, Годлингер, вы считаете обучение фермерству пустой тратой времени! Стало быть, вы поставили себе целью попытать счастья в Штатах, а Сосуа для вас интереса не представляет. Любопытно узнать, Годлингер, с чего вы взяли,

что Ассоциация обязана проявлять к вам и вашим делам особое участие? Будь у меня возможность перевезти сюда чью-то родню, — а чего нет, того нет, — я перевез бы родителей Штайнера, он по целым дням вкалывает в поле, а не посиживает в приемной Ассоциации. Родригес! Дружище! — вскричал Зоммерфелд, расплывшись в улыбке при виде высокого элегантного доминиканца, возникшего на пороге приемной. — Заходите, заходите, добро пожаловать в Сосуа. Хочу познакомить вас с двумя нашими поселенцами, Годлингером и Штайнером, мы тут говорили о визах для их родственников, которые все еще находятся в Германии. Буду настоятельно просить вас обсудить, в числе прочих, эту тему с Президентом, нашим добрым и щедрым благодетелем.

Подхватив высокого гостя под локоть, Зоммерфелд стремительно увел его в кабинет.

Вечером многие видели, как управляющий и посланник Президента, потягивая из огромной бутыли шампанское, ехали на джипе Ассоциации в Пуэрто-Плату, где и провели ночь, после чего сеньор Родригес вернулся в столицу. Не прошло и недели, как из президентской администрации пришли письма, предоставлявшие поселенцам некоторые поблажки и привиле-

гии: было приказано вернуть на стройку два грузовика пиломатериалов, отобранных ранее, а также выдать тридцать виз для родственников иммигрантов, осевших в Сосуа. Управляющий Зоммерфелд распределял визы исключительно по своему усмотрению. Ни Годлингер, ни Пауль виз не получили, а Хальсманн из поселка в Лагуне получил одну, хотя он подавал прошение на визы для своих родителей и родителей жены. Жители Лагуны рассказывали, что каждую ночь из окон их дощатого домика слышатся истерические рыдания.

Где-то к середине августа пришла пачка писем из Красного Креста. Увидев, что Пауль читает знакомый бланк на двадцать пять слов, Фарбер поинтересовался:

— Сдох уже Гитлер?

— Нет, но двадцать восьмого мая мои родители были еще живы, — ответил Пауль.

Они сидели у Бокманна, на лужайке позади дома: с некоторых пор Бокманн стал подавать кофе с тортом, который пекла его жена.

К ним подошел доктор Мархфелд и сказал:

— Пришлось положить Макса Годлингера в больницу. Ему сообщили, что его жену депортировали, и он прямо-таки рехнулся. Твердит,

как заведенный: это оттого, что я мало работал в поле.

— Lieber Gott[65]! — воскликнул Пауль. — Впрочем, оно и понятно…

В ту же неделю в Сосуа произошло первое самоубийство: один из молодых мужчин, живших в бараке холостяков, повесился в своей комнате. Так на горе позади Белла-Виеты возникло кладбище.

Первого сентября Михель Браунер узнал от малышки Сузи, дочки его брата Роберта, а Сузи узнала в школе от Ханси Нойманн, что Нойманны вот-вот получат ферму в Белла-Висте. Группа Штайнера немедленно отправилась в контору к управляющему Зоммерфелду.

— Что вы от меня хотите? — удивился Зоммерфелд. — Вы же вели речь о трех домах. А в Белла-Висте всего-навсего два дома.

— Но ведь мы с вами, сэр, это уже обсуждали Помните, мы сказали, что можем пока обойтись и двумя домами? Вы еще у себя пометили.

— Пометил? Где? Не вижу никаких помет! Вот, в вашем списке прямо сказано: три дома. Смотрите сами. Для Белла-Виеты ваша группа чересчур

---

[65] Примечания: 65
Боже мой (*нем.*).

велика.

— А как насчет домов, которые возводятся в Барозе, сэр?

— Для товарищества в Барозе вас слишком мало. Я направляю туда всю швейцарскую группу целиком.

— Но они же приехали позже нас, — не выдержал Михель. — Это несправедливо!

Зоммерфелд снова уставился в список.

— У меня здесь помечено, что Штайнер полтора месяца обучался земледелию в Вене, — пробурчал он.

— В учебном хозяйстве, сэр.

— Ну, тогда вы, безусловно, крупный специалист,

— Он же целый год работал в Англии, — оторопев от его язвительного тона, сказал Отто.

— Я же говорил, это лишь первые шаги, — одновременно вставил Пауль.

— Вы прошли шестинедельный курс земледелия в ахшара и, по всей видимости, полагаете, что пользоваться нашей программой обучения вам уже ни к чему. Я беседовал с мистером Лангли; он говорит, вы посадили батат. Приехали вы в феврале. Сейчас сентябрь, и вы лишь недавно удосужились посадить батат. Идите, друзья мои,

и учитесь. Учитесь, учитесь, учитесь! И когда будете готовы вести свое хозяйство, вот *тогда* приходите, и мы поговорим о кооперативе.

* * *

Пришел ноябрь. Начался сезон дождей. Илзе почти не выходила из Badekabine, — как выражался Пауль, вила «гнездо». А он надевал плащ и шел в совет поселенцев. Иммигранты избрали его и еще двух мужчин своими представителями для переговоров с местной администрацией.

В столовой при одной из кухонь, где проходило пленарное заседание совета, царило общее недовольство. Во время засухи (накануне сезона дождей) у Хальсманна в результате перевыпаса пали две коровы. Он жаловался на мистера Лангли, который по всей стране скупал скот для большого «швейцарского» поселения, а в результате, когда за скотом являлись жители Лагуны со своими грошами, добытыми непосильным трудом, Schwarze стали заламывать непомерные цены.

— Так, мол, платит «американо», объясняют доминиканцы, а когда мы обращаемся за помощью в Ассоциацию, нам говорят — нет денег. Тем временем наши уважаемые представители, кото-

рые должны отстаивать наши интересы, вместо этого торгуются с Зоммерфелдом из-за стульев и столиков для кафе, которое Бокманн намерен открыть в Батейе…

— Слушай, Хальсманн, чего ты раскричался? — со своего места в другом конце столовой, набычившись, поднялся Бокманн; казалось, он вот-вот через всю комнату упрется крупным туповатым лицом в разъяренное лицо противника. — У меня было лучшее кафе на Пратер-Аллее; нацисты его конфисковали, меня отправили в Терезиенштадт[66]. а моего старшего сына увезли в Польшу. Хотелось бы знать, имею я право поставить пять столиков и двадцать стульев на травке позади моего дома или нет?

— А у меня забрали бойню, — крикнул Хальсманн. — Между прочим, она снабжала мясом пол-Франкфурта; вот я и хочу спросить: неужто Ассоциация потерпит большой ущерб, если раздобрится на какие-то несчастные три коровы для меня?

— У тебя, Хальсманн, уже было три коровы. И шесть было. И девять, — вступил в перепалку

---

[66] Примечания: 66

Терезиенштадт (Терезинское гетто) — нацистский концентрационный лагерь, созданный в ноябре 1941 г. на территории бывшего города Терезин в Чехии.

Отто Беккер. — Если помнишь, я раньше работал в конторе и точно знаю, сколько у тебя было коров.

— И позволь тебе заметить, — гнул свое Бокманн, — если я получу столы и стулья, то таскаться в контору за подачками точно не стану. Уж я-то знаю, как управлять кафе.

— Ага, главное, чтобы толстозадым жителям Батейи было удобно сидеть, — в сердцах бросил Нойманн; недавний переезд на ферму в Белла-Висте стоил ему немалых волнений и трудов; вид у него был нездоровый.

— Некоторым, представьте себе, фартит, ихних матерей и братьев перевозят сюда! — выкрикнул Хальсманн, в упор глядя на маленького Михеля Браунера, который залился краской. — А я два года подряд вкалываю по тридцать часов в сутки, но не могу добиться визы для родителей жены!

Не вставая со стула, в разговор вступил доктор Мархфелд; голос его звучал спокойно и холодно:

— То есть вы поддерживаете Зоммерфелда и его метод расправы с теми, кому не повезло обосноваться здесь, как следует: Зоммерфелд отказывает им в спасении ближайших родственников. Позвольте вам напомнить, что этот метод довел Годлингера до помешательства.

Пауль переводил глаза с одного оратора на другого и наконец не выдержал:

— Господа, разрешите мне взять слово.

— Ja, ja[67], — воскликнул Хальсманн. — Сейчас ты нам все как есть растолкуешь.

Пауль чувствовал в голове восхитительную ясность, а слова с такой готовностью шли на ум, что он даже рассмеялся.

— Хальсманн, остынь немного. Дай сказать. Если не ошибаюсь, речь шла о том, должна или не должна Ассоциация, вздувшая цены на скот так, что покупка коров стала Хальсманну не по карману (опустел карман из-за его неумелого хозяйствования или по иной причине — к делу не относится), предоставить ему еще трех несчастных коров. Однако, я, возможно, по невнимательности потерял нить дискуссии. Как мне представляется, сейчас мы взялись обсуждать другое: несет ли Хальсманн ответственность за депортацию жены Годлингера?.. — Оглядев зал, Пауль убедился, что его внимательно слушают.

После собрания, когда все вышли под нескончаемые потоки дождя, Отто Беккер обнял Пауля за плечи и сказал:

---

[67] Примечания: 67
Да, да (*нем.*).

— Здорово ты им мозги прочистил, профессор.

— Знаю-знаю: старый болтун Штайнер, — Пауль засмеялся. Ему не терпелось рассказать Илзе, как успешно он провел собрание; наконец-то подвернулось дело, в котором он на месте.

Дома он застал Илзе в постели.

— Ты заболела?

— Нет-нет, просто когда сидишь в Badekabine, в общем-то, без дела, ничего не остается, как лечь в кровать, особенно если на улице льет дождь. Днем ко мне заходила Рената. Она ушла от Михеля.

— Бедняга Михель, — посочувствовал Пауль. — Сегодня на него все шишки валятся. На собрании ему Хальсманн задал жару. И как Рената объясняет свое решение?

— Говорит, что в Берлине Михель собирался стать врачом, а тут ему не добиться ничего, и вообще, она даже не припомнит, почему согласилась выйти за него замуж. Но ей его жаль. Она даже заплакала.

— Ага, потом осушит слезы и выйдет за Отто, — сказал Пауль.

— Она говорит, Отто недостаточно интеллектуален.

— Не повезло Ренате: глотнула культуры, а

переварить ее не может.

— К твоему сведению, *ты* ей нравишься, вот кто, — промолвила Илзе.

— Я?!

— А я плохо с ней обошлась, — призналась Илзе. — Раньше я обожала болтать про мальчиков, ссоры-раздоры и все такое, но сегодня, пока она тут сидела, все толковала про себя и про Михеля, я мечтала об одном: чтобы она встала наконец с кровати, потому что мне негде было заняться твоими рубашками. Видишь, в одну стопку сложены рубашки с длинными рукавами, а в другую — с короткими. И еще я разобрала чемодан и освободила место для вещичек нашего малыша. Неужели ты ничего не замечаешь? Я передвинула мебель. Умывальник и стул поменяла местами. Теперь комната выглядит просторнее, правда же?

В тот год погода вела себя странно, часто не по сезону. В декабре дождь прекратился, и установилась сильная жара. Мистер Лангли начал обучать поселенцев основам животноводства. Вернувшись домой с обожженных солнцем полей, Пауль увидел, что Илзе лежит на постели и плачет. Она была испугана: у нее открылось кровотечение.

— Пауль, бедненький, ты такой измученный, а

тут еще со мной одно беспокойство.

— Илзе, солнышко, я просто устал, а от тебя беспокойства не бывает. Где тот рисунок, который я для тебя набросал? Помнишь, я тебе объяснял, как плод в утробе постепенно опускается вниз.

— Расскажи, как ты впервые наблюдал за рождением ребенка, — попросила она.

— Хорошо, только ты лежи, не вставай. — Он снова описал ей роды — впервые он присутствовал при них еще студентом. В палате было четверо: роженица, врач, медсестра и студент Пауль Штайнер. А через минуту на свет появился новорожденный, и людей стало пятеро.

Наутро Пауль зашел в больницу.

— Пауль, вы прямо-таки позеленели. Что случилось? — спросил доктор Мархфелд.

— И вы туда же! Хватит того, что меня Илзе постоянно жалеет. Просто устал. Доводилось вам когда-нибудь загонять в стойло шесть телят, хотя они явно предпочитают остаться возле своих маток? Я надеялся, что со временем привыкну к жаре, но в этом году она меня угнетает больше прежнего. Вдобавок мы не спали прошлой ночью. Я пришел к вам за советом, Эрих, скажите, отчего у Илзе кровотечение?

— Так-так, коллега. О чем говорит вам кровоте-

чение на последнем месяце беременности?

— Placenta previa[68], — ответил Пауль, чувствуя искорку удовлетворения, как дипломат, предъявляющий безупречные верительные грамоты. В то же время где-то между лопаток его обжег ужас. — Вы считаете, ее лучше отправить в больницу в Пуэрто-Плату?

— Несомненно, лучше, но в данных обстоятельствах я не стал бы рисковать: схватки могут начаться на этой жуткой дороге. Оставим ее здесь и будем держать под наблюдением.

Когда Пауль вернулся в свою комнатенку, Илзе от страха тихонько хныкала. Он помчался за врачом, но когда они вошли, кровь уже хлестала из Илзе фонтаном, и ребенок из-за разрыва плаценты — ему нечем было дышать — погиб от удушья.

— Бедный мой Пауль, — прошептала Илзе.

— Ничего он не бедный, — отрезал доктор. — Пауль, сядь на стул, а ты, Илзе, положи голову на подушку.

Доктор говорил так деловито, что у Пауля вспыхнула безумная надежда, но, взглянув на Мархфелда, он похолодел: лицо врача налилось

---

[68] Примечания: 68
Предлежание плаценты (*лат.*).

кровью, на лбу выступили крупные капли пота.

Ночь Пауль просидел у изголовья жены, массируя ей руку. Лицо Илзе потускнело, стало цвета теста, по нему пошли пятна, вокруг больших глаз появились синие тени.

— Ты бы, Пауль, прилег, — прошептала она.

— А ты бы лучше перестала за меня волноваться, это страшно утомляет!

Его резкость испугала ее, она затихла, и он, скорее всего, закрыл глаза, а когда очнулся, увидел, что доктор Мархфелд складывает полотенце.

— Она умерла, Пауль, — сказал доктор. — Ступай, приведи себя в порядок.

— Я накричал на нее, — признался Пауль. — А все потому, что хотел еще разок с ней поговорить.

— Я договорюсь, чтобы тело отправили в больницу. Надень чистую рубашку. Действуй.

— А все потому, что хотел с ней поговорить, — повторил Пауль.

Доктор Мархфелд подтолкнул его в сторону туалета.

Под душем Пауль окончательно проснулся. В голове у него прояснилось. Ощущая, как приятна чистая рубашка его растертой полотенцем коже, он безучастно представлял свою дальнейшую

жизнь — всё будет как всегда, но он станет совершенно бесчувственным.

Пауль укладывал вещи в чемодан, когда в комнату вошел Отто.

— Шарлатан чертов, а не врач! — сказал Отто и заплакал.

Пауль взял листок бумаги и провел линию — первую в его воображаемой диаграмме.

— Тут не ошибка в диагнозе или неправильное лечение, все куда сложнее, — сказал он. — Я знаю. Я ведь когда-то изучал медицину. Слышал, как врачи говорили: «Если только случится вот это…» — и Пауль начертил другую линию, пересекающую временную прямую, — «прежде чем случится это…» — и он продлил вторую линию, — «за эти пять минут я смогу спасти жизнь…».

— Нечего его защищать! — возмутился Отто. — Я принес тебе кофе.

— Спасибо, не надо, — сказал Пауль.

— Выпей хоть немножко, — попросил Отто с таким отчаянием на лице, что Пауль смягчился:

— Давай вместе выпьем кофе. На умывальнике два стакана.

Отто прожил у Пауля неделю — днем занимался делами, к ночи возвращался с кучей новостей о том, что происходит в Сосуа. Фрау Хальсманн

ушла от мужа и переехала в Батей. В новой группе иммигрантов, прибывших из Люксембурга, есть женщина, ее зовут Сара Ханкель, так ее чуть было не сняли с парохода, потому что в эмиграционной анкете, в графе «профессия» она написала «проститутка» и чиновник заставил ее порвать анкету и заполнить все заново. Двое мужчин сбежали из концентрационных лагерей, и Отто пересказал Паулю их истории — тогда они были в новинку. На следующее утро Пауль опять пошел к Зоммерфелду просить визы для родителей и без колебаний прибег к шантажу, используя недавнюю семейную трагедию в качестве аргумента.

Известие о смерти молодой жены Пауля пришло и к нам в Англию. В ту пору неудовлетворенной молодости и любовных грез оно меня потрясло. У Пауля была настоящая любовь, но он ее потерял, и это повергло меня в такой ужас, что прошло несколько лет, прежде чем я решилась ему написать.

В ответ я получила поразительное послание. Пауль опять писал в третьем лице, словно о ком-то постороннем, «о двух людях, которые, когда мир полетел в тартарары, укрылись в своем коконе, сплетенном из любовной страсти и мечтаний первопроходцев, настолько далеком

от реальности, что даже им самим было трудно в него поверить. Когда этот этап жизни окончился, к Паулю вернулся холодный рассудок, но душа его онемела. Он понимал, что должен жить, потому что родители все еще в Вене и без его помощи они погибнут; следовательно, он обязан безостановочно донимать местных чиновников Ассоциации просьбами и жалобами, и такая канитель может тянуться долго. Холодным умом он понимал все, но сердце его окаменело».

Мои бабушка с дедушкой все же добрались до Сосуа, но лишь в сентябре следующего года. Бабушку — к тому времени уже совершенно больную — спустили на берег на носилках. Пауль раздобыл в конторе подушку, чтобы страдавшая бессонницей бабушка могла сидеть по ночам. Он массировал ей ступни, три раза в день приносил из общей столовой еду, но бабушка, замечательная и очень привередливая кулинарка, есть ее не могла. Она не сомневалась, что сына стали мучить частые расстройства желудка только потому, что в столовой готовили на оливковом масле. Видя, что ему с родителями совершенно необходим свой дом, Пауль стряхнул с себя апатию, в которой пребывал последний год, и заново собрал распавшуюся группу Штайнера. После

того как Рената и Отто поженились, Михель откололся от группы, но вместо него к группе присоединился старший брат Михеля Роберт, жаждавший выйти из многолюдного сообщества «швейцарцев».

Бабушка была категорически против этой затеи.

— Да какой из Пауля фермер? У него же с детства все из рук валится. И потом, сами поглядите, у него просто-напросто силенок не хватит.

— Мамочка, у меня всю жизнь вид человека, который вот-вот умрет с голоду. Зато чувствую я себя уже много лучше.

— Нам надо переехать и город и открыть лавочку, вроде той, что мы держали в Фишабенде, — заявила бабушка.

— Нет, — отрезал Пауль. — Нет, нет и нет. Никаких лавочек.

Переговорив с Зоммерфелдом, члены группы пришли в полное отчаяние. После вступления Америки в войну строительство в Сосуа фактически прекратилось из-за нехватки средств и любых строительных материалов. Пауль и дедушка пошли работать на склад Ассоциации. Оправившись от своих недугов, бабушка поссорилась с Ренатой и перестала разговаривать с фрау

Хальсманн, у которой завязался роман с одним парнем из холостяцкого барака, на одиннадцать лет моложе ее. Лишь к весне 1944 года в Феррокарриле закончили строить ферму, которую и предложили группе Штайнера.

Где-то к середине войны Сосуа развился настолько, что стал вносить свой вклад в экономику страны. Переселенцы начали собирать приличные урожаи, за местный скот — потомков племенного быка мистера Лангли — давали на рынке высокие цены, и без того взлетевшие из-за естественной для военного времени нехватки продовольствия. После того как Фарбер завез в местный магазин (он уже стал в нем управляющим) партию черепаховых звезд Давида и наказал своей новой жене-доминиканке надевать звезду, отправляясь в гости, брошки пошли «на ура». А его прежний партнер по черепаховому бизнесу не знал, куда девать груды крестиков, которые он надеялся с прибылью продавать туземцам. На какое-то время дельцы даже перестали разговаривать друг с другом. Молочный кооператив, открытый в порядке эксперимента, начал приносить прибыль всем, кроме бабушки: ей запретили торговать сливочным маслом и творогом, которые она делала у себя на кухне.

И когда она приходила в кафе Бокманна — где теперь подавали горячие обеды по-венски и даже завели кегельбан с одной дорожкой, — она усаживалась за угловой столик и *ни с кем* не разговаривала.

В разгар всеобщего процветания фермерское товарищество Штайнера первое время испытывало большие трудности. Баклажаны, посаженные Паулем, не уродились — при соприкосновении с землей буквально все плоды загнивали.

— У меня руки не оттуда растут, в этом, видимо, все дело, — говорил Пауль. — Ладно, в другой раз попробую посадить их на месяц раньше и собрать урожай до сезона дождей, а один угол засажу так же, как в этом году, — для сравнения. Тогда плоды избегнут соприкосновения с влажной почвой, если, конечно, дожди не польют на месяц раньше и не вмешаются какие-то иные, пока неизвестные факторы. Ничего, займусь этим в свободное время.

— Ты бы лучше посидел немножко в свободное время, — заметила бабушка.

— Садиться опасаюсь. Вдруг не захочу больше вставать, — отшутился Пауль.

Но силы у него убывали. Жару он воспринимал как неотступную кару. Что бы он ни сделал, всегда

оставался недоволен результатом и принуждал себя начинать все заново.

Второй урожай был уже не так плох, тем не менее ферме пришлось просить у Ассоциации существенную дополнительную ссуду, и здоровье Пауля резко пошатнулось. Бабушка выхаживала его, готовила ему и убеждала открыть в городе магазинчик.

Война окончилась. Гитлер сдох. Рената уговорила Отто вернуться в Батей, перекупить концессию на грузовые перевозки и вывозить на городские рынки продукцию местного молочного кооператива, а также сосиски с возникшего в Сосуа частного заводика. Роберт Браунер, мечтавший взять ферму Штайнера в свои руки, выкупил у Пауля его долю, и Пауль открыл в Сантьяго магазинчик.

Помню, мы с Паулем как-то бродили по Сантьяго и говорили об Илзе. Ни он, ни я не упоминали ее имени. Что предпочтительней для человека, страдающего от недавней потери любимой, — чтобы окружающие оставили его в покое или окружили заботой и вниманием, спросила я. Чтобы оставили в покое, ответил Пауль, но ему лично очень помогло, что рядом был Отто.

— Хотя меня раздражало, что он постоянно под

боком, это все-таки отвлекало: я вынужден был с ним разговаривать и уже не мог думать только о своей потере.

Недавно ему на ум пришли три строчки стиха, признался он.

— Я точно знаю, что они про мою бедную жену:

Ты — словно луч луны при свете дня,
Невидима, но различима,
Застывшим сердцем уже не любима.

Как это на меня похоже — сочинить три первых строчки и не знать, что с ними делать дальше, — добавил он.

— Пауль, что же ты с собой будешь делать? — спросила я.

— Пока не пришло разрешение на выезд, вплотную займусь магазином, чтобы не прогорел. А в Америке буду искать работу, может, где-нибудь в лаборатории, там мое неполное медицинское образование пригодится.

— Я не про то. Ты никогда никуда не ходишь.

— Не беспокойся обо мне, Лора.

— Не могу не беспокоиться. — Я чувствовала, что вот-вот расплачусь. — Подумать только: сегодня бабуля даже заявила, что тебе не стоит

выходить по вечерам гулять!

— Боюсь, твоей бабуле больше хочется, чтобы я сидел дома, чем мне — пойти прогуляться.

— Но тебе надо стоять на своем.

— Ничего подобного, — возразил Пауль. — Я слишком стар, чтобы отстаивать какие-то принципы. Если когда-нибудь мне захочется заняться чем-то, что стоит отстаивать, я так и поступлю, даю тебе слово. Но пока что, милая Лора, мне не хочется ничего.

Глава десятая
Сантьяго-де-лос-Кабальерос[69]: Бабуля и дедуля

Я приехала в Сьюдад-Трухильо к концу знойного лета. На причале меня встретила мама, мы сели в маршрутное такси: за отсутствием железной дороги более или менее состоятельные люди передвигались по стране именно так.

Мама не видела меня два года и теперь не сводила с меня глаз, а я смотрела в окно, и новая страна, где мне предстояло жить, не очень-то мне нравилась. Гористые районы, казалось, возникли совсем недавно, причем как-то бессистемно, в спешке, что ли. Выжженные солнцем равнины выглядели однообразно; лишь изредка на них встречались убогие лачуги из пальмовых листьев или же купы буйной растительности с листьями и цветами невиданных размеров. И над всем этим высился неприятно белесый, немилосердно раскаленный небосвод. На каждом перекрест-

[69] Примечания: 69

Сантьяго-де-лос-Кабальерос, или просто Сантьяго, — второй по величине город в Доминиканской Республике; основан испанскими колонизаторами в 1495 г.

ке машина останавливалась, мы шли на пост досмотра. Солдаты перебрасывались шутками с водителем и тремя болтливыми доминиканцами, устроившимися на заднем сиденье. Они благодушно переносили зной, оглушительную merengue[70] из радиоприемника и дребезжание колес по неровной дороге.

Меня стало мутить, я высунулась из окна, но даже ветерок от быстрого движения машины показался несвежим, нарочно подогретым. Я надеялась, что на обед мы остановимся в каком-нибудь жарком городке и мне станет легче, но водитель подвез нас к засиженному мухами придорожному ресторанчику, где хромой китаец подал курицу с рисом с пылу с жару и теплую кока-колу.

Потом мы вернулись в такси, там было жарко и душно, как в оранжерее; водитель включил радио на полную мощность. Через несколько часов мы прибыли в Сантьяго.

Сантьяго-де-лос-Кабальерос, пыльный доминиканский городок, расположен далеко от моря в окруженной горами долине. Узкие улицы, крашеные деревянные дома. На уровне второго этажа

---

[70] Примечания: 70
Меренга, народный танец (*исп.*).

по каждому фасаду тянется узкая galería[71], где обитатели дома либо качаются в креслах-качалках, либо стоят, опершись на резные деревянные перила.

— А вон тот, желтый, — наш! — сказала мама, и я увидела, что на веранде, широко улыбаясь, выстроилась моя родня. Было видно, что они мне ужасно рады. Последний раз мы виделись, когда мне было десять лет, а приехала я двадцатилетней барышней. Я заметила, что волосы бабушки все так же убраны под сетку и на ней полосатый ситцевый фартук — в точности такой, какой она носила в Фишабенде; вспомнилось, что дедушка всегда был лысым и тщедушным. А вот Пауль, худой, в очках на крючковатом носу, разительно отличался от того дяди Пауля, который все эти годы жил к моей памяти. Они дружно двинулись за мной по galería в бывшую гостиную, которую родственники отвели под бакалейную лавочку: вдоль стен тянулись аккуратные полки, на них стояли разнообразные продукты, а также весы, машинка для нарезки колбас и кассовый аппарат. В примыкавшей к лавке гостиной были голые деревянные стены, дощатый пол и странные

[71] Примечания: 71
Галерея (*исп.*).

окна без стекол. Их не застекляют, чтобы свежий воздух, которого ничтожно мало, мог свободно циркулировать по дому, объяснил Пауль.

— Лора, солнышко, посмотри, что тут есть! Пауль поставил сюда пианино прямо в день моего приезда, — сказала мама.

— Хочешь покачаться в моем кресле? — предложил дедушка, по-прежнему с сильным венгерским акцентом.

— Она хочет сесть за стол и выпить кофе с тортом, — передразнивая акцент мужа, сказала бабушка; точно так же она его передразнивала в моем детстве.

— Ja so, — отозвался дедушка.

Я разволновалась не на шутку.

— Как все это непривычно и в то же время знакомо! Sacher Torte со Schlagobers, и где? В Санто-Доминго, и торт со сливками мы едим в комнате рядом с магазином, чтобы было видно: вдруг кто-нибудь зайдет за покупками. Все точно так же, как было в Фишабенде.

— А помнишь, Лора, как мы часами покатывались со смеху? — спросила мама.

— А помнишь, — вступила бабушка, — как однажды твои родители уехали отдыхать и ты жила у нас? Ты мне не давала покоя, требовала,

чтобы я разрешила тебе кому-нибудь что-нибудь продать. В конце концов я показала, где лежат шнурки для ботинок, разрешила обслужить первого покупателя, которому понадобятся шнурки, и буквально следующий вошедший в лавочку человек спросил шнурки, а ты так смеялась, что даже пришлось бежать в уборную, помнишь?

В бакалейную лавку кто-то вошел; Пауль, мама и дедушка дружно вскочили на ноги со словами: «Сидите, сидите. Я обслужу».

— В лавку пойдет Франци, — распорядилась бабушка. — А ты, Йосци, сядь.

Вернувшись, мама доложила:

— Это Мерседес. Просила на пять центов сливочного масла для дружка сеньоры Молинас.

— Слушайте, как по-вашему, узнали бы вы меня, если бы случайно увидели на улице? — спросила я.

Пауль ответил отрицательно, но бабушка заявила, что я чем-то смахиваю на ее старшую сестру Иболию:

— У них в глазах что-то общее. У твоей двоюродной бабушки Сари были такие же светлые глаза, а у всех мальчиков — темные, как у меня.

— Сними очки, бабуля, — попросила я. — Ты же не всю жизнь их носишь, правда? У тебя не

какие-нибудь темные, а *черные* глаза.

— Помню, сижу я однажды в кафе «Норштадт», в Вене, конечно, — начала бабушка. — Я там поджидала Йосци; вдруг поднимаю глаза и вижу: в дверях стоит Миклош Готтлиб и смотрит на меня не отрываясь. Потом подходит и говорит: «Фрау Роза, вы совсем не изменились. У вас по-прежнему черные-пречерные глаза». А я уже давно была замужем за Йосци.

— У твоей бабули всегда были прекрасные глаза, черные, как у цыганки, — вставил дедушка.

— Доедай, Йосци, и ступай наверх, — скомандовала бабушка, — готовься, скоро доктор придет.

— Ja so, доктор, — промолвил дед.

— Я помою посуду, мамочка, а ты посиди, — сказала мама.

— Ты лучше побудь с Паулем в лавке. Не хочу, чтобы он сидел там один, — возразила бабушка.

— А почему Пауль не может побыть в магазине один? — спросила я, когда помогала бабушке убирать грязную посуду. — Покупателей-то сейчас нет.

— Мало ли кого принесет нелегкая. Это тебе не Европа. Здешние людишки без ножа в кармане из дому не выходят.

— Как, все? Неужели все поголовно? — удиви-

лась я; тут мы с бабушкой схватились бы всерьез, но из гостиной меня окликнула мама:

— Лора, иди-ка сюда. К нам пришли друзья, хотят тебя повидать. Вот моя Лора. Солнышко, герр и фрау Фрайберг пришли познакомиться с тобой и попрощаться. Они послезавтра уезжают. В Вену. Садитесь, пожалуйста. А я пойду сварю кофе.

— Aber bitte[72], не затрудняйтесь ради нас. Мы же к вам не есть пришли.

Пожилая чета не вызвала у меня никакого интереса.

— Вы уезжаете навсегда? — спросила я фрау Фрайберг.

— Вы же представляете, каково жить в этаком пекле, — сказала фрау Фрайберг и скривилась, выказывая неодобрение Доминиканской Республике. — Для людей вроде нас местный климат вреден. Взгляните на вашего дядю Пауля. Герр Пауль, вы плохо выглядите. Лучше бы вам вернуться в Вену и завершить медицинское образование.

— Вена вышибла меня из университета, — сказал Пауль. — Предпочитаю жариться в бакалейной лавке в Сантьяго.

— А у меня там сестра, — сообщила фрау Фрай-

---

[72] Примечания: 72
Сделайте милость (*нем.*).

берг, — с сыном Эди, он был мне как родной. Помню его трехлетним малышом, с тех пор я его не видела… А теперь ему четырнадцать, представляете?! Вы бы посмотрели, какие он пишет письма! Зиги, у тебя последнее письмо от Эди с собой? Во время войны они жили в Голландии и годами прятались от фашистов. Ужас! Мой брат погиб в Польше… Но Элли с сыном вернулись в свою квартиру на Рингштрассе.

— Ах, Вена! «Wien, Wien, Nur Du Allein[73]…» — пропел герр Фрайберг. — Музыка, еда, женщины… А, Пауль?

— Ja, ja, — подхватила его жена. — Мне тоже очень любопытно узнать, как, по-вашему, следует обходиться с теми женщинами!

— И чем же вы намерены там заниматься? — спросила я.

Супруги нерешительно пожали плечами.

— У Зиги есть связи. То письмо от Карла Хабера у тебя с собой, Зиги? Это друг мужа еще по певческому кружку, Wiener Gesangverein. А, вот и вы, фрау Штайнер! — Фрайберги поднялись и поочередно пожали бабушке руку. — Как поживает герр Штайнер, не болеет? И каково снова

---

[73] Примечания: 73
Вена, Вена, лишь ты одна (*нем.*).

встретиться с уже взрослой внучкой?

Склонив голову набок и как-то странно улыбаясь, бабушка лишь молча кивала, а когда гости ушли, сказала моей матери:

— Как это понимать: к нам приходят люди, а ты меня не зовешь? Лору зовешь, а меня — нет.

— Я же тебя звала, — ошарашенно пролепетала мама.

— Я тебя прекрасно расслышала. Ты сказала: «Лора, к нам пришли друзья, хотят с тобой повидаться». А мне — ни единого слова.

— Aber Mutti[74], — начала было мама, но тут в дверях возник Пауль:

— Лора, познакомься: это герр Грюнер, фрау Грюнер и Руди Грюнер. Моя племянница Лора.

Грюнеры были помоложе Фрайберга, но такие же пошляки, решила я про себя. Они подарили мне украшение из ассортимента своего магазина — отвратительную черепаховую брошку, утыканную поддельными жемчужинами. Их раскормленный белолицый сынок Руди, оккупировавший кресло-качалку, не произнес ни единого слова. Я непринужденно болтала с фрау Грюнер.

---

[74] Примечания: 74
Но послушай, мамочка (*нем.*).

— Непременно приходите к нам в воскресенье на чай, — пригласила она. — Мы просто обожаем вашу маму и хотели бы видеть ее как можно чаще.

В гостиную вошел Пауль вместе с невысоким щеголеватым человеком в белом костюме; в руке франт держал шляпу-канотье.

— Доктор Перес, дедулин врач, — представил его Пауль.

У доктора было приятное, живое лицо, оно мгновенно менялось в зависимости от того, о чем он говорил.

— Вы очень… Как это?.. Muy linda. Очень хорошенькая. — И он одарил меня плотоядной, но в высшей степени дружелюбной улыбкой. — Мы с вами… Cómo se dice?[75] А, соседи. Вам это известно?

— У доктора Переса очаровательная дочка. Хуаните уже восемнадцать, верно? — обратилась к доктору мама. Вид у нее был убитый: она явно страдала от того, что ненароком обидела бабушку.

— Возможно, вы преподайте английский? — предположил доктор Перец.

---

[75] Примечания: 75
Как это говорят? (*исп.*).

— Сначала мне бы лучше освоить испанский, — сказала я. Супруги Грюнер тут же насели на своего Руди, и он, скрепи сердце, предложил учить меня испанскому на дому.

Когда Грюнеры удалились, мама попыталась увести бабушку из кухни, но бабушка в ответ сказала только:

— Фрау Грюнер пригласила тебя с Лорой на воскресный чай, а меня, как я заметила, не пригласили.

— Mutti, она пригласила нас двоих, просто потому, что в ту минуту тебя не было в гостиной. Я уверена, она тебе обрадуется.

Но простить дочь бабушка была не в силах.

— Однажды, когда мне только-только исполнилось шестнадцать, Иболия и Сари, — им тогда, значит, было девятнадцать и восемнадцать, — собрались на загородный бал, туда съезжалось много молодежи. В том числе, помнится, и Миклош Готтлиб… «А почему бы вам не взять с собой Розу?» — сказала сестрам мама, но я, разумеется, наотрез отказалась ехать.

И стало ясно, что даже после стольких лет бабушка не простила сестер.

Верхний этаж дома был разделен на три части: в одной спали бабушка с дедушкой, в другой —

Пауль, а в третьей — мы с мамой. Разделяли эти «спальни» лишь низкие вращающиеся дверки наподобие калиток — такие, судя по американским вестернам, были в барах дикого Запада. Проснувшись наутро, я взглянула на часы: восемь! Семья в полном составе уже собралась внизу, комната была залита солнцем, как в полдень. Из дома напротив неслись оглушительные звуки все той же меренги: радиоприемник работал на полную мощность. Я высунулась из окна. На улице бурлил базар. Разносчики в соломенных шляпах, перекрикивая друг друга, нахваливали свои овощи, девушки в сущих отрепьях расхаживали взад-вперед с корзинами товара на голове — в полном соответствии с местными традициями. На углу остановился ослик, груженный мешками ананасов. На его спине боком, без седла сидела женщина; попыхивая сигарой, она кормила грудью младенца, не забывая при этом бить ослика кактусом по ушам и пинать пятками в живот, а чтобы не потерять тапочки-шлепки, загибала пальцы ног вверх. Прямо под моим окном остановился человек в одеянии из перьев. Приглядевшись, я поняла, что он держит на плече шест, на котором болтается несколько десятков кур со связанными лапами; такие же

связки висели у него на поясе и обрамляли шею наподобие воротника. Я решила, что птица битая, но тут на galería вышла бабушка и стала тыкать пальцем в тушки под перьями. Куры всполошенно захлопали крыльями и закудахтали так, будто она их щекотала.

— Cuánto?[76] — грозно спросила бабушка, будто только и ждала, что ее обсчитают. — Cómo?[77] Сорок сентаво?! Раз я не говорю по-испански, ты решил меня надуть! — громко сказала она по-немецки. — Думаешь, я не знаю, что с сеньоры Молинас ты берешь двадцать пять сентаво! Вот тебе двадцать пять сентаво. Ах, нет? Adiós[78]. — И она повернулась к нему спиной.

— Señora! Qué venga[79]! Тридцать сентаво! — завопил продавец. Бабушка развернулась, отсчитала нужную сумму и по монетке опустила в огромную смуглую пропыленную лапу. Продавец закинул голову, так что мне стала видна широ-

---

[76] Примечания: 76
Сколько? (*исп.*).

[77] Примечания: 77
Как? (*исп.*).

[78] Примечания: 78
До свиданья (*исп.*).

[79] Примечания: 79
Ладно, пойдет! (*исп.*).

кая брешь на месте передних зубов, и громко, горестно запричитал по-испански — наверно, справедливо обвиняя бабушку в грабеже средь бела дня, подумала я.

Когда я сошла вниз, бабушка уже собачилась с нашей служанкой, которую звали Пастора, — низкорослой чернокожей теткой устрашающего вида; ее лицо и фигуру, казалось, слепили второпях. Ее нижнюю юбку покрывал кусок черной неподрубленной марли, неряшливо, большими стежками сшитый сзади. Я-то понимала, что Пастора принарядилась, но бабушка поспешно сняла с себя длиннющий, до щиколоток, ситцевый фартук и протянула ей:

— Прикройся хоть. Скажи ей, Пауль.

От изумления большие глаза бабушки вылезли на лоб, нос походил на клюв сердитой птицы. Волосы под сеткой на резинке приплюснуты, почти как под шейтлом, то есть париком, какие, в отличие от непутевых представительниц прекрасного пола, носят ортодоксальные иудейки.

— Бесстыдница! — возмущалась бабушка. — В таком виде выйти на galería, да еще на глазах у торговца курами! Ступай наверх. Марш! Застели кровати. Она вдобавок *босая*! С души воротит. Посмотрите только на ее ноги. Дети, завтракать!

Лора! Йосци! Пауль! — громко позвала бабушка всех, кроме мамы.

Пока мы рассаживались за столом, Пауль сказал:

— Очень просил бы тебя, Франци, не вскакивать в шесть утра и не мчаться вниз. Дай мне возможность хотя бы полчаса побыть одному и без свидетелей сделать зарядку.

— Если Франци не нравится рано вставать, в лавку буду спускаться я, — не глядя на дочь, вызвалась бабушка. — Не хочу, чтобы ты, Пауль, оставался в лавке один.

— Я, мамочка, встаю, потому что мне нравится вставать в это время, — сказала мама, гладя бабушкину руку. — А тебе незачем ходить в лавку в такую рань.

— Магазин я открываю только в половине седьмого, — сказал Пауль. — Потому что я сейчас не в лучшей форме. К обеду вообще никуда не гожусь. Но я заметил, что после получасовой утренней разминки в чем мать родила я весь день чувствую себя намного лучше.

— А тебе, Vater[80], зачем вставать спозаранку? — спросила мама дедушку. — Доктор считает,

---

[80] Примечания: 80
Отец (*нем.*).

что тебе надо больше отдыхать.

— Да я всю жизнь, как проснусь, так прямиком иду в лавку, — возразил дед. — Нужно же до открытия смахнуть пыль с полок и вообще навести порядок. А ты, Mutter[81], могла бы еще часок поспать. Мы с Паулем вполне способны состряпать себе завтрак.

— Как это характерно для еврейских семей, — сказал мне Пауль. — Ты замечала, что родственники прямо-таки не могут спокойно видеть домочадца за работой.

(Наутро, ровно в шесть часов, услышав, что Пауль спускается в лавку, мама вскочила и побежала ему помогать. Тогда Пауль решил вставать на полчаса раньше, но провести маму ему не удалось, она ловила каждый звук.)

После завтрака я понесла в кухню грязную посуду, но обнаружила, что возле раковины уже стоит бабушка и, переминаясь с ноги на ногу, как теннисист перед подачей противника, ощипывает курицу.

— Бабуля, сейчас всего только полдевятого, а ты уже готовишь обед?!

— Суп — дело долгое, — объяснила бабушка. —

---

[81] Примечания: 81
Мать (*нем.*).

Я и так припозднилась. Тридцать сентаво за этакую тощатину! Из нее приличного супа, как из наших фишабендских кур, нипочем не сварить. А морковь!.. Ты только взгляни на эти дохлые хвостики.

— Хочешь, я их почищу?

— Нравится — чисти. Нож не тот взяла, вот каким надо. Не срезай, а соскребай кожицу, так будет красиво.

— Да какая разница? Главное, чтобы было чисто.

— Большая разница, *как* ты работаешь — красиво или нет.

— Бабуля, а почему ты не берешь местные овощи, которые продают на улице, они же очень хорошие?

— Нам они не подходят, — отрезала бабушка и, заметив в дверях маму, распорядилась: — Франци, иди, поскобли морковь.

С того дня, когда Фрайберги пришли знакомиться со мной, а мама забыла позвать в гостиную мать, бабушка впервые обратилась к дочери напрямую. У мамы явно отлегло от сердца, она бросилась к бабушке, обняла ее и поцеловала. Я вышла.

Остаток утра я слонялась по лавке. «Productos

de Sosua»[82] — значилось на вывеске: здесь продавались особые сорта сыра и колбасы, производившиеся переселенцами. Но у наших нищих соседей наибольшим спросом пользовался нехитрый набор продуктов; по утрам покупатели шли один за другим, и каждый просил взвесить совершенно мизерное количество чего-то съестного.

В двенадцать часов мы сели за стол, покрытый все той же противной лоснящейся клеенкой, знакомой мне еще по фишабендской кухне. Грациозно привстав на цыпочки, бабушка разливала по тарелкам вкуснейший, наваристый суп. Тарелки заполнялись лишь на две трети, но насыщенный вкус неразбавленного бульона с лихвой возмещал скудость порции. У супов моей бабушки была такая особенность: не успеет едок приятно изумиться изысканному букету куриного бульона, как обнаруживает, что в тарелке уже пусто.

— Чудесный супчик, Mutter, — одобрил сквозь усы дедушка. — С тех пор как я женился на твоей бабушке, Лора, не устаю удивляться и радоваться ее кулинарному искусству.

— Не болтай, а ешь, — оборвала его бабушка. —

---

[82] Примечания: 82
Продукты из Сосуа (*исп.*).

Ешь, Пауль. Ешь, Лора.

После обеда дедушка с бабушкой ушли наверх отдыхать — так у них было заведено еще в Фишабенде. Я сказала, что посижу с Паулем.

— Пауль тоже хочет отдохнуть, — заметила мама, направляясь в свою комнату.

— Вот она, значит, какая, моя взрослая племяшка Лора! — сказал Пауль, усаживаясь в кресло-качалку, чтобы присматривать за магазином. — Вообще-то вряд ли кто зайдет в лавку во время сиесты.

С улицы не доносилось ни звука. Хотя ставни были закрыты, казалось, яркий полуденный свет застрял в нашей кухне; жара в ней стояла нестерпимая. Пауль разложил бухгалтерские книги, но почти сразу начал клевать носом, в конце концов, уронив голову на грудь, вздрогнул, метнулся к двери в магазин, и кресло за его спиной отчаянно закачалось. В залитой ослепительным светом лавке было пусто. Пауль вернулся в кухню и сел на стул.

— Зря я сел в кресло. Завтра же четверг. Из Сосуа придет грузовик, а заказ я еще не составил.

Он решительно придвинул к себе гроссбухи и мгновенно заснул. Голова его опустилась на плечо, под ней на рубашке расплылось пятно

пота. Пауль так и не приобрел навыка спать в общественных местах и мало-помалу соскальзывал с сиденья, пока колени у него не подкосились.

В половине третьего бабушка с дедушкой спустились вниз. Стоя в дверях, бабушка смотрела на спящего сына со смешанным выражением жалости и привычного раздражения. Внезапно она рассмеялась. Пауль приоткрыл один глаз.

— Ты бы только посмотрел на себя — в какой неудобной позе ты спишь.

Пауль хмыкнул и выпрямился.

Жара чуточку спала. Уже можно было про нее забыть. Снаружи опять неслись звуки меренги. Улица просыпалась, но не для бойкой торговли, как утром, а для общения: она стала напоминать гостиную на открытом воздухе. На розовой galería соседнего дома появилась сеньора Молинас — женщина ростом с ребенка, с серым лицом; раскачиваясь в кресле, она наблюдала за Мерседес, своей семилетней служанкой. Та кормила рисом с бобами малютку Америку-Колумбину, дочку сеньоры Молинас.

— Посмотри на тощую женщину в черном, вон там, на другой стороне улицы, она разговаривает с доктором Пересом. Они нам кивают, видишь?

Cómo está?[83] — спросил он и продолжил: — Ее здесь прозвали «La Viuda», что значит «Вдова», хотя она ни разу не была замужем. Прежде ока жила в том же доме с младшим братом, противником Трухильо. У него был чересчур длинный язык, семь лет назад его, по слухам, забрали и с тех пор держат в городской тюрьме. Все эти годы она носит траур — в знак протеста. Рядом на веранде качается жена доктора, сеньора Перес с дочкой Хуанитой.

Позже, когда мы пили кофе, Пауль спросил:

— Ты заметила, что у малышки Молинас искривленная стопа? Такой дефект здесь совсем не редкость, но о лечебной физкультуре тут и слыхом не слыхали. Я все думаю, не поступить ли мне на заочное отделение какого-нибудь южного университета США. С университетским дипломом и медицинским образованием я смог бы открыть небольшую клинику, а потом, глядишь, бросить лавку и перебраться в Сьюдад-Трухильо.

— Не поедем мы ни в какой Сьюдад-Трухильо, — оборвала его бабушка. — И диплом тебе ни к чему.

— Перестань, бабуля! — прошипела я.

---

[83] Примечания: 83
Как поживаете? (*исп.*).

— Что еще за «Перестань, бабуля»?!

— Раз Пауль хочет чем-то заняться, не надо его отговаривать.

— Пауль всю жизнь хочет заниматься чем угодно, только не тем, чем положено. Экзамены на медицинском факультете он так и не сдал, потому что начал писать стишки и ввязался в политику. А теперь на́ тебе, новая блажь — лечебная физкультура.

— И чем же, по-твоему, он должен тут заниматься? — вскипела я.

— Нужно бросить все силы на магазин, наша торговля и так уже на ладан дышит, — сказала бабушка. — А Пауль — копия своего папаши: у того любая затея тоже рано или поздно кончалась пшиком. Помню, мы, когда поженились, открыли в Вене канцелярский магазин, и я втолковывала твоему деду: «Йосци, если у тебя не хватает духу взять ссуду и завезти товар, то лучше уж сразу прикрыть лавочку». И как в воду глядела: мы обанкротились и были вынуждены перебраться в Фишабенд. А там евреи сроду не жили, и, когда дети подросли, пришлось отправить их учиться в Вену. Сколько я твердила Йосци в Фишабенде: «Если ты и дальше будешь отпускать антисемитам товар в долг, наша лавочка пойдет прахом».

Зато нацисты отплатили ему сполна: заграбастали магазин целиком, мы даже обанкротиться не успели.

Я подошла сзади к сидевшему в кресле дедушке и обхватила руками его исхудалую грудь: мне хотелось защитить его от бабушкиных нападок, однако он, к моему удивлению, сказал:

— Твоя бабуля совершенно права. Она смолоду отличалась деловой хваткой, куда мне до нее!

— А-а, ты решила, чти я слишком крута с дедушкой, — сказала бабушка, сверля меня блестящими черными глазами. — Так многие думают, но они ведь не были за ним замужем.

В тот же день к вечеру к нам пришла сеньора Родригес: она брала у мамы уроки игры на фортепьяно. Немка по происхождению, она вышла замуж за доминиканского дипломата. Им принадлежал большой летний дом неподалеку от Сантьяго. У сеньоры Родригес была великолепная осанка, затейливая прическа из тщательно сплетенных перевитых косичек и ярко-синие глаза, а губы до того тонкие, что невольно думалось: может быть, она их жует? Когда мама на минуту вышла, сеньора Родригес стала меня уверять, что она очень высоко ее ценит:

— Изумительная женщина! Вот поживешь

здесь какое-то время и сама поймешь, как важно познакомиться с человеком, которому можно излить душу и даже вместе помузицировать. Уж как я ее уговаривала переехать в столицу!.. И учеников ей нашла бы. Фрау Франци, я тут говорила вашей дочке, что вам есть прямой смысл переехать в город; а первое время, пока не устроитесь как следует, вы могли бы пожить у нас.

Мама предложила сеньоре Родригес сыграть этюд Черни[84], и скоро под окном столпились соседи — они внимали ее игре. Потом сеньора исполнила прелюдию и фугу Баха, и соседи, взявшись за руки, пустились в пляс.

Перед уходом сеньора Родригес пригласила нас всех в воскресенье на чай, но дедушка, сославшись на нездоровье, отклонил ее приглашение, а Пауль отговорился тем, что не хочет оставлять больного отца. Позже Пауль сказал мне, что Родригесы — нацисты.

— Неужели все немцы нацисты? Все без исключения? — спросила я.

— У немцев есть склонность к нацизму, но исключения встречаются. Другое дело Родригес: ему не было еще и тридцати, когда он стал генераль-

---

[84] Примечания: 84

Карл Черни (1791–1857) — австрийский пианист, педагог и композитор чешского происхождения.

ным консулом во франкфуртском консульстве, влюбился в Германию, женился на ней и привез сюда, такую, какая есть.

Я собралась было поспорить с ним, но после сиесты в лавку косяком пошли покупатели.

После ужина, когда их поток иссяк, я попросила дядю:

— Позволь и мне что-нибудь продать.

Пауль показал, где хранится сливочное масло, и тут же явилась наша соседка, миниатюрная Мерседес. Ее голые ножки были серого цвета, так же как и стираное-перестираное драненькое платьишко; казалось, она с головы до ног покрыта слоем пыли. Даже смеющаяся мордашка была черно-серой, за исключением невероятно блестящих глаз. Мерседес свернулась калачиком на полу под прилавком и, хихикая и прикрываясь растопыренными пальцами, стала строить мне рожицы. Перегнувшись через прилавок и гладя девочку по голове, Пауль стал ее урезонивать:

— Ладно, Мерседес, хватит. Сейчас не время играть. Que quieres, tu? Что тебе надо?

— Cinco centavos de mantequilla.

— Лора, Мерседес просит дать ей сливочного масла на пять сентаво — для дружка сеньоры Молинас.

Следуя указаниям Пауля, я отвесила кусочек масла. Тут пришла моя бабушка, снова положила масло на весы — для проверки, обнаружила перевес и, сняв с кусочка тончайшую стружку, добилась идеально точного веса.

— Бабуля!..

— Когда продаешь такие крохи, взвешивай аккуратно, иначе дохода не жди: все уйдет на покрытие убытков, оплату труда и оберточную бумагу, — объяснила бабушка. — А вот тем, кто берет много, стоит и добавить капельку.

— Но это же несправедливо! — возмутилась я.

— Когда я был еще мальчишкой, отец держал постоялый двор, — послышался из-за двери голос дедушки. (Помнится, всякий раз, когда он вступал в разговор, я удивлялась его неизменному венгерскому акценту; в уголках его губ при этом пряталась едва заметная улыбка. Он как-то признался маме, что порой его тянет высказаться, но едва он вспомнит, что говорить придется на немецком, — а это для него всегда было непросто, — и охота изливать душу пропадает.) — В базарный день, — продолжал дед, — крестьяне, вернувшись домой, каждый раз напиваются в стельку. «Кёрмёши, — говорит мой отец, — ты уже выдул девять порций сливовицы», хотя на

самом деле — всего восемь.

— Так это же грабеж! — возмутилась я.

— Верно, — согласился дед. — А я тебе рассказывал, как меня, еще малолетку, атаман разбойников возил в школу? В ту пору в лесах между нашим селом и городом орудовала шайка. Дважды в год, весной и осенью, отец оставлял на опушке бочонок токайского, за это Бетьяр Баши — я звал его дядя Разбойник — заезжал за мной, сажал перед собой на коня и вез в школу. А вечером привозил обратно.

Вместо нашей лавочки в Сантьяго, с прилавком и кассовым аппаратом, передо мной вмиг возникла темно-зеленая лесная чаща из сказок братьев Гримм, а в ней — дюжина разбойников в зеленых охотничьих костюмах.

— Ладно, Йосци, ступай в дом, — распорядилась бабушка. — Что без толку стоять на ногах.

— Ja so, — отозвался дед и скрылся в недрах дома.

Остальные вышли на galería и, опершись на перила, продолжили беседу.

— А твой отец, бабуля, чем занимался? — спросила я.

— Детей плодил, — ответила бабушка. У нее на шее был зоб — когда она гневалась, он раздувался,

и ей приходилось откидывать назад голову; эта горделивая поза ее очень красила.

— Он ведь был виноторговцем, да? — спросил Пауль.

— Это уж потом. А когда мы приехали в Вену, он был полный ноль: жена, пятеро детей, и ни гроша за душой. Иболии тогда минуло семь, за ней шли меньшие, Сари, я и Кари, да бедняжка Ферри, еще грудничок. Нам пришлось оставить его в Венгрии, у дедушки с бабушкой, и мама проплакала всю дорогу до самой Вены. Три недели спустя она родила Веттерль, та сейчас живет в Парагвае. У нас было две комнатки и кухня, и каждый год мама уходила в дальнюю комнату, ложилась на большую кровать, рожала очередного ребенка и вручала его нам, чтоб мы за ним приглядывали. После Веттерль появился Писта, потом Хильда — она теперь в Канаде… — И бабушка перечислила всех братьев и сестер числом тринадцать. — Куда ни глянь, повсюду ползали малыши. В ночь накануне маминой кончины мне приснился ребенок, весь в белом, и я поняла, что ее ждет. Ей пришлось умереть в сорок пять лет. Оплакивали ее только бедняжка Ферри да я. Помню, он стоял в изножье кровати и ревел в три ручья, не мог остановиться. Худой был, кожа

да кости… — И неожиданно добавила: — Мама к нему плохо относилась.

— Как понимать: плохо? Чем плохо?

— Кричала на него. Он вечно болтался у нее под ногами, и она его отпихивала. Отец мне как-то сказал, что даже когда они везли его на поезде в Вену, — ему уже пять лет исполнилось, — мать уклонялась от его прикосновений. Однажды он обморозил ноги, — сказала бабушка и осеклась, словно передумала рассказывать про тот случай, но через минуту продолжила: — Мать сказала, что обмоет ему ноги, и обмыла, да только кипятком. После этого старшие дети перестали с ней разговаривать. Как-то я повела малышей в парк; вдруг следом за нами выбежала мать — без пальто, в одном шарфе; она повязала его на Ферри, опустилась на колени, стала обнимать его, целовать, говорить ему по-венгерски ласковые слова, а потом кинулась назад в дом. Но вечером бедняга Ферри расплескал суп, и мама отправила его спать без ужина.

— Но ты же ее все равно любила, правда, Mutti? — спросила мама.

— Ко мне она была добра, — сказала бабушка. — Куда бы Иболия и Сари ни собрались, она всегда наказывала им взять меня с собой. Они называли

меня ее любимицей. Я им не нравилась, а на мать они сердились из-за этой бесчисленной малышни. Потом, когда я вышла замуж и забеременела первенцем, а мама, уже очень больная, носила Хайни, я ее как-то спросила: «Warum haben Sie so viele Kinder gehabt?» (Зачем вы, мама, нарожали столько детей?) — мы никогда не говорили родителям «ты», — и она ответила: из страха — если, мол, она перестанет рожать, отец уйдет к другим женщинам. Вообще все делалось ради отца. За ужином мясо подавалось только ему; он сажал кого-нибудь из детей себе на колени и кормил со своей тарелки.

— Дедушку я помню с тех пор, как он переехал к нам в Фишабенд, — сказала мама. — Красивый был старик, очень опрятный, любо-дорого посмотреть (мама употребила немецкое слово appetitlich).

— Бабник был страшный, причем до самой смерти, — вставил Пауль. — Ему стукнуло восемьдесят семь, уже и с кровати не вставал, однако ж ущипнул служанку — я сам видел.

— А какой мужчина упустит случай щипнуть служанку, — заметила бабушка.

— Ручаюсь, дедуля на такое не способен, — заявила я.

— Много ты про своего дедулю знаешь! — фыркнула бабушка. — Я иду наверх. Пошли, Йосци. Пауль, не забудь запереть кассу, лавку и черный ход. Ты когда к себе поднимешься?

— Как только составлю на завтра заказ товаров из Сосуа, — ответил Пауль.

— Но, бабуля, сейчас только половина десятого!..

— Пауль устал, — сказала бабушка. — Ему нужно отдохнуть. Не забудь всюду выключить свет.

В четверг после полудня из Сосуа прибыл красный грузовик, за рулем сидел Отто Беккер. Обняв Пауля рукой за плечи, он спросил:

— Ну, профессор, как жизнь?

— Ну, и как она, Отто? — не отвечая, спросил Пауль и неловко приобнял друга, — тот был на две головы выше и вдвое шире.

— Толстеешь, Отто, — заметила моя бабушка.

— Поесть люблю, — признался тот. — Другое дело ваш профессор, мистер Кожа-да-Кости.

— Я тоже люблю поесть, — сказал Пауль, — но стоит мне дать себе за столом волю, желудок поднимает бунт, и в результате я только больше худею.

— А я еще обожаю сиднем сидеть, — продолжал Отто.

— Будь у меня такая возможность, я бы вообще со стула не вставал, — сказал Пауль. — Как там Черчилль про себя говорил? «Никогда еще такую гигантскую работу не проворачивал такой лентяй, причем с таким ничтожным результатом».

Разгрузив машину, Отто сел попить кофейку, и бабушка принялась расспрашивать его обо всех знакомых в Сосуа:

— Как там фрау Хальсманн? Вернулась к мужу? Я ей как-то сказала: «Фрау Хальсманн, вообразите, что у вас появилась еще одна пара глаз — по одному в каждом ухе, — уж вы бы всласть флиртовали с тремя мужчинами зараз?» А как твоя жена, Отто? По-прежнему торчит вечерами у постели доктора Мархфелда, он же лет пять умирает и все никак не умрет? Она напоминает мне мою сестру Сари. Когда бы я ни приехала к ней в Вену, она либо у больного соседа полы моет, либо ушла за покупками для соседки, а ее собственные дети сами стряпают себе обед. Иболия вышла замуж позже других сестер, а вот Веттерль пошла в меня — для семьи готова была в лепешку расшибиться. Зато Хильда предпочитала обедать в ресторанах, да и завтракать и ужинать там же.

Бабушка вознамерилась перемыть косточки своим семерым сестрам на предмет домовитости,

но Отто предстояло еще часов пять объезжать городские рынки. Когда его уже и след простыл, бабушка все еще сидела за столом, на ее губах играла прелестная, но ядовитая улыбочка.

— Пауль, милый, ты можешь припомнить хоть одного из наших знакомых в Сосуа, которому я не плюнула в душу?

За ужином я затеяла спор с бабушкой и повздорила с Паулем. Бабушка послала меня выключить свет в кухне.

— Но мы же через десять минут понесем туда грязную посуду, — возразила я.

— Ничего, можно снова включить, — сказала бабушка. — Зачем нам кормить электрическую компанию, она и так богатая.

— И сколько же, по-твоему, за десять минут нагорит от одной лампочки на семьдесят пять ватт? — спросила я и увидела, что лицо Пауля перекосилось от ярости.

— Марш в кухню выключать свет! — прорычал он, и я повиновалась.

Следом за мной вышла мама.

— Лора, солнышко, постарайся не ссориться с бабулей, — попросила она.

— Это я-то ссорюсь с бабулей?! Она сама со всеми ссорится! Мы скупердяйничаем, недовешивая

сливочное масло, и это, считает она, нормально, а когда продавец говорит, сколько стоит цыпленок, он хочет, видите ли, нас облапошить! Пастора шьет себе новое платье? Ясное дело, она шлюха. Чужую точку зрения бабуля ни в грош не ставит!

Мои слова поразили маму в самое сердце.

— На самом деле бабуля всю жизнь была добра к людям, — сказала она. — В Первую мировую войну наши родственники часто посылали нам из Венгрии посылки, и бабуля готовила еду на всех фишабендских ребятишек.

Заперев магазин, Пауль позвал меня прогуляться. Заметив сеньору Молинас, в такт меренге качавшуюся в кресле вместе с дружком-полицейским, он приветливо сказал: «Buenas noches[85]», отвесил поклон La Viuda, доктору Пересу и юной Хуаните, прохлаждавшимся на galería. Мы шли по улице мимо весьма солидных магазинов, миновали кинотеатр, почту и вскоре оказались в небольшом, четко распланированном квадратном сквере. Там мы остановились, чтобы посмотреть церемонию спуска флага, — ее проводили ежедневно на закате солнца. Зашли в китайский ресторанчик на углу, съели по пор-

[85] Примечания: 85
Добрый вечер (*исп.*).

ции мороженого. В сумеречном воздухе повеяло свежестью. Мы повернули обратно.

— Мама говорит, что я не должна ссориться с бабулей, — начала я. — Но бабушка бывает совершенно несносной. Она считает, что вправе нами командовать, но стоит сказать хоть слово поперек, она смертельно обижается и сутки напролет молчит.

— У твоей бабули есть признаки паранойи, — заметил Пауль. — По-видимому, ей с самого детства мерещилось, что сестры сговорились всячески ее третировать.

— Вот-вот, и сестры! И дети! Весь мир против нее! Однажды в Вене мы встретили бабулю в Kaffeehaus. Она отдыхала в Бадене или где-то еще и только что вернулась в столицу. На ней были, как сейчас помню, светло-серый шелковый костюм в черную крапинку и шляпка набекрень. Выглядела она изумительно — не наша фишабендская бабуля в фартуке и сетке на волосах, а совсем другой коленкор. Рядом сидели тетя Иболия, Сари и дядя Писта… Словом, куча родственников, и бабуля описывала им свою жизнь на курорте: сетовала на фрейлейн Н., которая жутко надоела ей своими россказнями о любовных победах, на фрау Как-Там-Ее, у которой декольте

было чуть ли не до пупа, и на одного антисемита, который даже не здоровался по утрам. Вдруг бабуля улыбнулась и добавила: «А еще там были *горы* и *деревья*». Слушатели так и покатились со смеху. Нет, правда, Пауль, она в самом деле уверена, что, за исключением родни, все поголовно носят за пазухой нож, чтобы ограбить нас и зарезать.

— Если вспомнить, что всего лишь шесть лет назад бабуля жила под нацистами, а на старости лет оказалась среди людей, лопочущих на непонятном ей языке, ничего тут странного, милая Лора, нет. А вон и она.

Мы свернули на нашу улицу и увидели бабушку; она стояла на galería, озираясь по сторонам; бледное лицо осунулось, в глазах ужас.

— Я понятия не имела, куда вы ушли, — сказала она. — Думала, что-то стряслось.

— Что это Пастора делает на galería? — утром следующего дня спросила бабушка. — Она подметала ее битых полчаса.

— Стоит, опершись на перила, и беседует с торговцем курами, — сказал Пауль. — В волосах у нее красные бантики.

— Какая гадость, — заявила бабушка.

— Почему? Мне нравится, когда кому-то весело, — с вызовом заметила я.

Когда Пастора с мрачным видом направилась наверх, я попыталась перехватить ее взгляд, но она не обратила на меня внимания. Когда она сошла вниз, на ее губах играла улыбка, а на груди красовалась черепаховая брошка, которую мне подарили Грюнеры.

— Воровка! Грабительница! — завопила бабушка.

— А может, брошка не моя, — предположила я. — Сама посуди, она приколола ее на самом виду.

Пастора воздела руки к небу и застрекотала по-испански.

— Она говорит, что она — честная женщина, — перевел Пауль. — Говорит, будто нашла брошку в мусорной корзине.

— Скажи ей, что она врунья, — потребовала бабушка.

— Бабуля! Мне эта уродливая брошка сто лет не нужна, — сказала я.

Но на следующий день пропали мои часы.

— Пауль, вызывай полицию, — распорядилась бабушка и заставила Пастору высыпать на стол содержимое сумочки.

— Вот, сами видите, — твердила Пастора. — Ничего нет. Я честная женщина.

— Ты, небось, вчера их украла, — предположила бабушка. — И утащила домой.

— А ты зайди в мой дом! Обыщи меня! — кричала Пастора.

— Пошли, — решила бабушка. — Шевелись, Лора.

Под удивленными взглядами соседей мы с бабушкой шагали за Пасторой, а она торопливо семенила впереди, согнувшись и прихрамывая; тут я впервые заметила, что она хромает.

— Бабуля, пойдем домой, — попросила я.

Знакомые улицы остались позади, мы вступили на незнакомую территорию: дорога с глубокими неровными колеями засохшей грязи напоминала рваную рану; по сторонам стояли лачуги из обрезков досок и рифленого железа, они вполне могли сойти за собачьи будки. Голые младенцы и маленькие длинноногие свиньи бултыхались в канаве, по которой вниз по склону стекали нечистоты. Отовсюду неслись громкие звуки меренги.

Пастора распахнула дверь в одну из лачуг, и мы увидели комнату размером со стенной шкаф, с усыпанным всякой дрянью земляным полом и без единого окна, свет сочился лишь сквозь щели между досками, к которым был прикноплен

огромный плакат с фотографией Бетти Хаттон[86]. Такую фотографию я видела в журнале «Лайф», который долго валялся в нашей ванной комнате. Кровать Пасторы представляла собой деревянный сундук без крышки, он же, видимо, служил и одежным шкафом, потому что был набит разным тряпьем, словно прилавок в отделе уцененных товаров, ютящемся в подвале универмага. Мне бросился в глаза бабушкин ситцевый фартук.

— Что за бред, — сказала я. — В этом ворохе я копаться не стану.

Мы вышли из лачуги и оказались, судя по всему, в кухне Пасторы, потому что там на трех почернелых кирпичах стоял наш жестяной кофейник, полный тухлой воды.

— Куда ты спрятала часы? — кричала бабушка, тыча пальцем в мое запястье. — Хочешь, чтобы я пошла в полицию? Policía? Sí? Policía?

— Sí, sí, la policía, — поддакнул неизвестно откуда взявшийся торговец курами. — Hay justicia aquí. Ella, — он указал на мою бабушку, — le hace accusación a esta señora, — и он указал на Пастору, — de robar. Son testigos ustedes! — Он обвел указательным пальцем кучку собравших-

---

[86] Примечания: 86
Бетти Хаттон (1921–2007) — американская певица и актриса.

ся малышей и поросят. — Es testigo usted! (Но и здесь есть правосудие. Она обвинила эту даму в воровстве. Вы свидетели! Ты — свидетель!) — И он ткнул пальцем в меня. — La policía, sí, sí, sí! — визжал он, так близко подступив ко мне, что волей-неволей пришлось глядеть в черную пещеру его беззубого рта.

— Пойдем, бабуля!

— Встретимся с тобой в полицейском участке. Policía! Addiós[87]! — заключила бабушка.

Вечером Пауль понес четверть фунта сливочного масла сеньоре Молинас на galería, чтобы посоветоваться с ее дружком-полицейским. Из разговора он понял, что полиция вроде прекрасно все знает про торговца курами, — он помешан на законе о клевете.

— Es un loco[88], — полицейский скроил идиотскую рожу и постучал себя по лбу. — Каждый раз одно и то же. Сначала этот тип начинает увиваться за какой-нибудь служанкой, потом девчонку ловят на мелкой краже. Потом пропадает что-то еще, и когда служанку обвиняют в воровстве — откуда ни возьмись возникает продавец кур

---

[87] Примечания: 87
Прощай (*исп.*).

[88] Примечания: 88
Есть такой псих (*исп.*).

и грозит привлечь к суду за клевету. Но он неизменно портит дело сам. Взять хоть ваш случай: свидетели у него только с той улицы, плюс ваша мать и племянница. Не волнуйся, дружище. Я позабочусь о тебе и твоей чудесной семье.

Больше мы Пасторы не видели. А по утрам на нашей улице стал появляться увешанный курами парнишка с едва отросшей козлиной бородкой и кричал нараспев:

—

Llego las gallinas! Llego las gallinas hermosas![89]

В воскресенье магазин после обеда закрылся. Сеньора Родригес должна была прислать за нами шофера. Моя мама красиво уложила бабушкины седые волосы. Бабушка надела свое лучшее светло-серое шелковое платье — в нем на ее старое лицо ложился необычный золотистый отблеск. Очки она сняла.

— Бабуля, с распущенными волосами ты просто красавица! Да еще без очков.

Услышав комплимент, бабушка только отмахнулась, но было видно, что она довольна.

— Теперь, вспоминая прошлое, я понимаю, что была, видимо, хорошенькой, но в ту пору меня

---

[89] Примечания: 89
А вот куры! Вот отличные куры! (*исп.*).

мучило одно — слишком большой нос. Красавицей была Иболия; и у нее носик был маленький. У Сари тоже, но слишком широкий. У Писты был крупный нос, но для мужчины это неплохо… — И бабушка стала последовательно перебирать носы своих тринадцати братьев и сестер. — Не забуду, как я ждала Йосци в кафе «Норштадт», там ко мне подошел Миклош Готтлиб и сказал: «Фрау Роза, вы совсем не изменились». И я еще долгие годы была уверена, что он говорил про мой нос. Теперь, однако, припоминаю, что на самом деле он сказал: «Глаза у вас все такие же — черные-пречерные». Забыть не могу, как он на меня смотрел…

По всей видимости, сеньора Родригес с огромным увлечением занималась домом и садом. На фоне пропыленного, выжженного пейзажа зрелище пышной буйной зелени просто завораживало. Капустные кочаны там были на редкость крупные; куры исправно неслись; гуси чистили клювами перышки до безупречной белизны. Чернокожая кухарка была одета в приличное синее льняное платье. Сеньора Родригес повела нас по дому. Усаживая нас в тени на большие мягкие стулья, она похвасталась, что сама расширила обложенную красивым кафелем galería, с трех

сторон опоясывавшую дом. Поодаль раскинули огромные листья тропические растения в медных горшках. К нам присоединился и Родригес, стройный, красивый мужчина с великолепной военной выправкой, выглядел он намного моложе жены. Он был пострижен очень коротко, почти наголо, отчего казался лысым. Сеньор Родригес сел между моими мамой и бабушкой. Кухарка прикатила столик на колесах, на нем уже был накрыт чай. Следом за кухаркой шла хрупкая чернокожая девушка в детском платьице.

— Это Тереса, — представила ее сеньора Родригес.

С доброжелательной, чуть натянутой улыбкой Тереса передавала нам чашки и тарелки с тонкими ломтиками намазанного маслом хлеба, каждый раз приговаривая:

— Bitte, Si wollen?[90]

— Тереса, ты можешь сесть рядом с сеньоритой Грозманн.

Я удивленно подняла глаза — оказывается, речь шла обо мне.

— Вот тебе случай попрактиковаться в немецком. На будущий год я поеду в Германию наве-

---

[90] Примечания: 90
Угощайтесь. Не угодно ли? (*нем.*).

стить родителей и свожу туда Тересу. А в это воскресенье она станет протестанткой.

— И что нужно делать, чтобы стать протестанткой? — спросила я Тересу, чтобы завязать разговор.

— Я надеваю белое платье. Я пою гимны, — ответила Тереса. Она сидела очень прямо и по-прежнему сияла наивной улыбкой.

Моя мать и супруги Родригес разговаривали о музыке. Бабушка сидела с чашкой в руке. На ее золотистом лице застыла смущенная улыбка. Очков она не надела, но из-под подола ее серебристого платья, отвернув носы от собравшихся, выглядывали старушечьи зашнурованные туфли.

Днем в понедельник к нам пришел Руди Грюнер, чтобы преподать мне первый урок испанского языка. За нами на цыпочках последовала вся моя родня. Когда урок закончился, бабушка принесла кофе с тортом и спросила, не думает ли Руди, что я очень скоро заговорю на безупречном испанском. Руди и глазом не моргнул, лишь втянул голову в плечи, — так обычно ведут себя мальчишки в присутствии родительских друзей, — и невозмутимо сказал, что я делаю блестящие успехи.

После его ухода мама спросила, понравился

ли он мне.

— Очень, — ответила я. — Точь-в-точь приготовленный на пару пудинг с салом, только без патоки.

— Лора похожа на мою сестру Иболию, — сказала бабушка, — тоже чересчур разборчива.

В среду Руди пришел опять; я снова проявила блестящие способности, вот только с первым неправильным глаголом возникли небольшие трудности. За кофе я расспрашивала Руди про жизнь в Сантьяго; хотя он жил там с девятилетнего возраста, рассказать почти ничего не смог и не задал мне ни единого вопроса.

Позже он на наших глазах остановился возле galería доктора Переса и, болтая с Хуанитой, выразительно жестикулировал и строил забавные рожицы — ни дать ни взять, доминиканский парнишка.

Вечером пришли супруги Грюнеры с письмом от Фрайбергов — те уже прибыли в Вену. Члены хорового клуба встретили господина Фрайберга в аэропорту песнями. Если не обращать внимания на вездесущих русских, писали они, Вена… все та же. Представьте только, в воскресенье едем на

Каленберг[91] на пикник!

В четверг прибыл грузовик из Сосуа.

В пятницу пришел Руди, дал мне третий урок испанского языка, но я по-прежнему не могла справиться с тем же неправильным глаголом. Потом Руди стоял перед galería Пересов и, опершись на перила, перешучивался с Хуанитой.

Я без толку торчала в магазине.

— Мне тоже хочется что-нибудь продать, — ныла я, но бабушка напомнила, что я отпускаю товар с перевесом, поэтому пусть уж лучше торговлей занимается дед. Позже, уже в кухне, она заявила, что я не очень-то тщательно мою зеленый перец, пусть лучше моя мама им займется.

Пауль надел соломенную шляпу — он собрался на почту за письмами, и я напросилась идти с ним, надеясь неизвестно на что.

После нашего ухода в лавке остался один дедушка, и тут вошли двое парней. Один попросил коробку жвачки «Чиклетс», другой — полфунта сыра; пока дед взвешивал сыр, первый парень перемахнул через перила galería и умчался вместе с «Чиклетс»; второй ринулся за ним. Дед выскочил из-за прилавка, просеменил по galería и, оста-

---

[91] Примечания: 91
Каленберг — гора к северу от Вены.

новившись на тротуаре, стал громко поносить воришек. Вечером у него опять случился сердечный приступ.

— Дела не так уж и плохи, — успокоил нас доктор Перес, — но мы подержим его в постели. И ни под каким видом не ходить по лестнице — ни вверх, ни вниз!

— Слышишь, Йосци? — спросила бабушка.

Дедушка разгладил усы:

— Ja so, но сейчас мне гораздо лучше.

— Я вам *сам* скажу, когда действительно станет лучше, — отрезал доктор Перес и подмигнул мне с плотоядной ухмылкой, видимо, считая, что любая женщина жаждет именно таких знаков внимания.

Днем, когда начался наплыв покупателей, мама попросила меня посидеть с дедушкой.

— Много народу сейчас в лавке? — спросил он.

— Тебя это занимать не должно, — сказала я. — Пауль, бабуля и Mutti сами прекрасно справятся.

— Ja so, — проронил дед.

Мы сидели и смотрели друг на друга. Я пожалела, что не захватила с собой книжку.

— Расскажи что-нибудь, — попросила я. — Правда, что тебя возил в школу атаман разбойников?

— Да, до тринадцати лет. А как стукнуло три-

надцать, отец отправил меня в Вену, в магазин тканей — учиться на продавца. Владельца звали Бенедик, он племянник твоей бабули. Он нас и сосватал, но это случилось позже, много позже.

— И что входит в обязанности ученика продавца?

— Перед открытием магазина он должен аккуратно разложить товар на полках, навести порядок. Еще он обслуживает клиентов и доставляет покупки на дом. Нас, учеников, было трое: мальчишка из нашего села по имени Писта, затем Карл — парень из Вены, постарше нас, — и я. Каждый день в пять утра Карл с Пистой стягивали с меня одеяло, чтобы я встал и развел огонь в плите.

Дедушка добродушно усмехнулся, вспоминая проделки молодости.

Я представила себе комнатку позади магазина, полки, заваленные коробками и тюками тканей, — в точности как кладовая в дедушкиной лавке в Фишабенеде, но там, однако, не было трех кроватей. Вспомнилась зима, за окном темень, на часах всего пять утра, плита еще не растоплена… Но тут вошла мама с подносом в руках: она принесла дедушке ужин.

— Ты так занята, — посочувствовал дед. — Луч-

ше бы я спустился. Мне уже гораздо лучше.

— Папочка, ты же слышал, что сказал доктор!

Тем не менее, когда утром Пауль пошел отпирать лавку, он увидел, что на стремянке стоит отец, полностью одетый, и возводит аккуратную пирамиду из банок с кофе.

Пауль страшно рассердился. Он помог отцу спуститься и повел его наверх, приговаривая:

— Прошу тебя, иди, пожалуйста, медленно — как можно медленнее.

После этого мы ни на минуту не оставляли дедушку одного. По утрам у него дежурила мама. Она помогала ему заучивать слова из учебника испанского языка. Закончив стряпать, на смену маме поднималась бабушка. Помню, как я стояла внизу возле лестницы, прислушиваясь к тому, что делается наверху: я никак не могла себе представить, что они могут друг другу говорить. И услышала: «Setz dich. Сядь, Йосци. Я взобью тебе подушку». Днем в магазине работала бабушка, и тогда наступал мой черед сидеть с дедушкой.

— Ну-ка, расскажи мне, почему потребовался кто-то третий, чтобы свести тебя с бабушкой?

— Потому что я все время работал в магазине и копил деньги, чтобы открыть собственную лавочку, — ответил дед.

— Дедуля, а ты помнишь, как впервые увидел бабулю?

— Конечно. В тот день Бенедик повел меня наверх, в хозяйскую квартиру. Твоя бабуля сидела у окна, держала на коленях одного из малышей. И все время пристально наблюдала за мной большими черными глазами. Волосы у нее были тоже черные, как у цыганки. Бабуля твоя всегда была хорошей женой. А уж дела в лавке вела превосходно.

— Эй, дедуля, ты зачем встаешь с кровати?! — воскликнула я. — Куда ты собрался?

— Просто решил отворить ставни.

— А меня почему не попросил? Это двор семьи Молинас, да?

Прежде я видела соседей только на galería, всегда при параде; во дворе же они держались куда более раскованно. Вдоль розовых стен, обрамлявших квадрат утрамбованной земли, стояли алые горшки с цветами, посреди росло лимонное дерево. Под ним сидела сеньора Молинас и расчесывала волосы Америке-Коломбине. Мерседес огромным веником подметала двор, нелепо мотая головой, чтобы отвлечь малышку, норовившую увернуться от гребня.

— Ты помнишь, детка, наш двор в Фишабен-

де? — спросил дедушка.

За ужином я поинтересовалась, помнит ли бабушка тот день, когда впервые увидела дедулю.

— Да, — ответила бабушка. — Мой отец попросил Бенедика, моего двоюродного брата, подыскать мне мужа, потому что мне уже было двадцать четыре года. А я ведь могла бы выйти за Миклоша Готтлиба… —Бабушка пожала плечами и неуверенно кивнула. — Он очень хорошо одевался. Красавец, всегда с какой-нибудь девушкой. Однажды он мне сказал: «Фрейлейн Роза, я из тех мужчин, которые не могут жить без женщин, но сами видите: я всегда возвращаюсь к вам». И все же я не стала с ним разговаривать. А он женился только через четыре года после того, как я вышла за Йосци. И жену его тоже звали Роза.

— Ты помнишь, каким был дедуля в те времена?

— Да. У него был тяжелый характер.

— У дедули? Тяжелый характер?!

— Через неделю после свадьбы я велела ему взять взаймы денег и накупить на них товару, да побольше. А он швырнул в меня чернильницу. Aber ich hab' ihm's Wilde abig 'räumt, — с чистейшим австрийским выговором сказала бабушка, что означало: «Но этим его взбрыкам я быстро

положила конец».

— Все же не забывай, Muttilein, — вступила в разговор мама, — после смерти твоей матери папа взял к себе Ферри, а потом, когда Иболия развелась с мужем, взял и ее. И когда дедушка тоже переехал к нам, папа относился к нему очень по-доброму.

Выслушав этот перечень мужниных заслуг, бабушка лишь кивнула и пожала плечами.

— Да, он не пил и не играл в азартные игры, — сказала она. — Миклош Готтлиб-то ведь пил. Как-то я заглянула в магазин проведать отца и застала их с Миклошем в комнате позади лавки: они распивали вино. Роза Франкель — даром что жена — Миклошу совсем не подходила. Но и я не очень-то подходила Йосци. И ни одному мужчине не подошла бы, — она резко отмахнулась, будто решительно отодвигала от себя тарелку или отметала неприемлемое предложение.

В среду пришла сеньора Родригес. Мама дала ей последний урок: Родригесы возвращались в город, а на Рождество намеревались уехать назад в Сантьяго. Она принесла баночку джема из апельсинов, выращенных в ее саду: «Это для бедного господина Штайнера».

Вечером пришли Грюнеры, чтобы посидеть с

моим дедом.

— Что за нехорошие слухи про вас ходят? — спросили они.

— Ja so, — промолвил дед.

— Мы получили письмо от Фрайбергов, — сообщила фрау Грюнер. — Представляете, бедняжка Эрна сломала ногу, и Зиги вынужден за ней ухаживать. Она пишет, что ее сестра много занимается сыном, а тот ей нахально дерзит. Зиги просит прислать ему черепаховых заколок — он затевает предприятие по импорту и экспорту товаров. В своем хоровом клубе он завел было речь о нацистах, но его голосистые приятели не могут разговаривать ни о чем, кроме русских.

— А как поживает Руди? — спросила бабушка. — Что ж он с вами не пришел?

— Он хотел прийти, — сказала фрау Грюнер, — но вы же знаете, молодых людей хворь отпугивает.

— Он не был у нас уже несколько недель, — гнула свое бабушка, — хотя мы постоянно видим его на galería Пересов: они с Хуанитой там беспрестанно тискаются. Руди превратился в настоящего туземца, верно?

Явно задетая за живое, фрау Грюнер встала и, склонившись к дедушке, сказала:

— Выздоравливайте поскорее, очень вас просим. Вы — человек добрый. *Вас* мы все очень любим.

И, не простившись, повела мужа из нашего дома.

Бабушка язвительно усмехалась.

— Ну, дети, — сказала она, — пора ехать в Сьюдад-Трухильо. В Сосуа я уже оскорбила всех, да и в Сантьяго — чуть не половину жителей.

Дедушка, похоже, смирился со своей немощью и стал заметно слабеть. Когда он поглаживал усы, его пальцы — они казались прозрачными — слегка дрожали. Он больше не интересовался лавкой, просто целыми днями сидел, обложенный подушками, на кровати и наблюдал за тем, как протекает жизнь на заднем дворе дома Молинас.

— Значит, она открывает-таки лавочку по соседству, как я всегда и думал, — заметил он.

— Кто? Сеньора Молинас? С чего ты взял? Я точно знаю, у нее таких планов нет.

— Сама погляди, — сказал дед. — Они складывают постельное белье.

— Дедуля! — воскликнула я. — Просто Мерседес вытрясает скатерть.

— А помнишь, мы тоже всегда вывешивали белье напоказ — скатерти, посудные полотенца,

носовые платки — в том окне, которое выходило на главную площадь Фишабенда?

В выходные начался сезон дождей. Никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы с неба низвергались столь буйные нескончаемые потоки. Америка-Коломбина и прочие ребятишки высыпали на улицу, резвились в затопленных водой сточных канавах, но взрослые, плотно закрыв двери, скрылись в домах.

Спустившись утром вниз, Пауль обнаружил, что на полу крепко спит наша новая служанка Мануэла. Проснувшись, она объяснила, что вернуться домой ей помешал дождь — по дороге у нее намокли бы волосы, а тот, у кого намокнут волосы, заболевает воспалением легких и умирает.

— Ага, идти домой под дождем она не может, а на полу спать может, — заметила бабушка. — Эти люди совсем другие, с нами — ничего общего.

— Да чем мы-то такие уж замечательные? — не выдержала я. — Ты вот только и делаешь, что с ними ссоришься.

Это был уже грубый выпад. Бабушка ушла на кухню и больше в тот день со мной не разговаривала.

Дождь лил изо дня в день, без остановки, иногда сплошным потоком, будто над Сантьяго опро-

кинули гигантское ведро, по сточным канавам понеслись бурные реки. Время от времени ливень немного стихал, лишь негромко шуршал дождь, однако надежды на хотя бы короткую паузу не было. Каждое утро, проснувшись, я слышала, как в соседней комнате бабушка ставит поперек дедушкиной кровати поднос с едой и командует: «Сядь, Йосци!», после чего раздавался голос мамы, звавшей нас завтракать.

В лавку никто не заходил. Пауль сидел в кресле-качалке, углубившись в учебник по лечебной физкультуре.

— Это прямо-таки преступно, — возмущался он. — Информации — с гулькин нос. Вдобавок предлагается заочно обучать желающих упражнениям, освоить которые можно лишь на практике. Но я все это и так знаю. Мне от них нужен только диплом, чтобы приступить к работе. Тогда мы все смогли бы перебраться в город.

Фрайберги переписывались с мамой. Болезнь господина Штайнера их очень огорчила. Они решили вернуться в Сантьяго, писали они, потому что в нынешней Вене нашим делать нечего: повсюду русские, коммерция чуть жива, к тому же наступила осень, приходится топить печки, а прислуга обходится не в четыре доллара в месяц,

как в Доминиканской Республике, а в три раза больше, причем в неделю! Абсурд! К концу года они намерены приехать в солнечный Сантьяго. Большие приветы всем знакомым.

Обложенный подушками, дедушка наблюдал с кровати за событиями в соседском немощеном дворе:

— Смотри! Сеньора Молинас беседует с торговцем в задней комнате — видишь, там свет горит. Он прихватил с собой чемодан с образцами товара.

— Дедуля, это же полицейский, дружок сеньоры Молинас, ты что, забыл? Он вечно торчит у нее на galería и посылает Мерседес к нам за кусочком сливочного масла на пять центов. Чемодан он и правда принес. Небось, вознамерился у нее поселиться.

— Ja so, — согласился дед. — Он любитель съесть вечерком сливочного маслица. Смотри-ка, он показывает ей свой галстук, рубашку, майку, трусы…

Наступил декабрь; дождь прекратился. По утрам я теперь просыпалась под зазывные крики козлобородого торговца курами, нараспев расхваливавшего свой товар; бабушка щупала птиц, они хлопали крыльями и заполошно кудахтали.

Потом пришло Рождество. В каждом доме на нашей улице стояло завезенное из Соединенных Штатов деревце из папье-маше, украшенное стеклянными трубочками, наполненными цветной жидкостью; когда трубочки подключали к электричеству, жидкость начинала пузыриться.

Родригесы проводили праздники в Сантьяго, и мы — мама, бабушка и я — втроем отправились к ним праздновать Сочельник. Сеньоре Родригес по ее заказу привезли с гор тисовое дерево; от него пахло лесом. Тис украсили на немецкий манер — отдававшими медом коричневыми сальными свечками, серебряными цепями, золотыми стеклянными шарами, а также шоколадными конфетами, леденцами и обернутыми цветной фольгой печеньями. На праздники к Родригесам приехал почтенный пожилой немец.

— Он уедет, как только получит паспорт, — шепнула нам сеньора Родригес. — Беднягу только что выпустили из тюрьмы. Его арестовали незадолго до конца войны — хотя муж и пытался вывезти его отсюда, — за шпионаж в пользу Германии. У немцев, как вам известно, дела уже шли плохо, так что любая информация была в цене.

Сеньора Родригес попросила мою маму сыграть «Тихую ночь, Святую ночь».

— Здесь на Рождество солнце садится поздно, и жара — за тридцать градусов! Никак не могу к этому привыкнуть, — сказала сеньора Родригес. — Все время кажется, что тут что-то разладилось.

В ту же неделю брат La Viuda получил помилование, и его отправили домой. Маленький, смуглый, он смущенно стоял на galería рядом с сестрой, а она, в нарядном цветастом платье, будто собралась на прием в саду, принимала поздравления соседей.

Фрау Грюнер — видимо, она простила бабушку, — пришла к нам в магазин и пригласила всю нашу семью в воскресенье к себе, чтобы отметить возвращение Фрайбергов. Бабушка заявила, что к Грюнерам она — ни ногой.

— Она хочет видеть тебя и Лору, — сказала она маме. — Но никак не меня.

— Фрау Грюнер особо подчеркивала, что приглашает тебя, Mutti. Фрау Фрайберг всегда относилась к тебе с большой теплотой. Я уложу тебе волосы. Лора, сбегай, принеси бабулино шелковое платье. Я посижу с папой, а ты, мама, сходи вместе с Паулем и Лорой хотя бы на часок.

У Грюнеров я наблюдала бабушкину беседу с фрау Фрайберг.

— Для таких людей, как мы, в нынешней Вене нет ничего притягательного, — поджимая губы, говорила фрау Фрайберг и качала головой, что должно было означать: Старому Свету пришел конец.

— Здесь тоже ничего хорошего, — говорила в ответ бабушка. — Со времени приезда в Санто-Доминго Пауль беспрерывно недомогает.

— Но венский холод ему теперь тоже будет не по нутру, — не отступала фрау Грюнер. — И там все такие… Даже не знаю, как сказать… Сколько раз я говорила золовке: «Тебе что, трудно подкрасить губы? Хоть бы сходила куда-нибудь». Старую Вену вы бы просто не узнали. Никакой культуры. Вы же помните нашу оперу, театры, музыку. Все, кто чего-то стоит, уехали в Америку.

— Мы тоже никуда не ходили, — твердила свое бабушка. — С двадцати шести лет и до прихода Гитлера я жила под Веной в деревне. Кроме нас, там евреев не было. Ходить некуда, видеться не с кем. Раз в месяц я ездила в Вену навестить детей.

— Старые приятели Зиги из хорового клуба всё обещали нас пригласить, но так и не сподобились. Карл Хабер однажды пошутил: «Откуда нам, все эти годы жившим на тропическом острове, откуда нам знать, через какой ад они там прошли?»

Сначала немцы, потом англичане и американцы, а теперь — русские. Впрочем, американцы вели себя не так уж плохо. Я как раз говорила господину Паулю, что ему надо дождаться визы в Америку и там завершить образование.

— Пауль никогда ничего не завершит, — заявила бабушка и махнула рукой, в знак то ли покорности судьбе, то ли неприятия неизбежного. — Медицинский факультет он так и не окончил. Уже здесь проштудировал курс лечебной физкультуры, получил диплом — и на тебе: выясняется, что в Доминиканской Республике американский диплом не котируется.

— Зато в Америке все иначе, — сказала фрау Фрайберг. — Сестра Зиги живет с мужем в Квинсе. Есть такой район Нью-Йорка. Муж работает на фабрике, производящей застежки-молнии, получает пятьдесят пять долларов в неделю, а убирать их квартирку, по ее словам, труда не составляет. В будущем году они собираются купить телевизор.

— Америка! — фыркнула бабушка. — Один мой знакомый, некий Миклош Готтлиб, живет в Америке, в Нью-Йорке. А я Америку никогда не увижу. Я лягу в землю здесь, в Сантьяго.

И бабушка принялась раскачиваться на стуле взад-вперед, словно еврей на молитве.

Фрау Грюнер принесла поднос с кофе и Sacher Torte. Бабушка шепнула Паулю, что ему есть торт не надо: для желудка он очень тяжел, как бы не вызвал расстройство. Тут мы с Паулем заторопились уходить, но бабушка возвращаться домой не захотела.

В Доминиканской Республике рождественские подарки вручают детям евангельские волхвы, и происходит это в день Богоявления. На нашей улице царило веселье: всюду дети с мячами, обручами и новыми куклами. В лавку зашла Мерседес за четвертью фунта риса; она положила руку на прилавок, склонила на нее голову, потерла левую щиколотку правой ногой и сказала:

— No me dejaron nada.

Это означало: «Мне они ничего не оставили».

Все утро брат La Viuda сновал взад-вперед по улице и спрашивал каждого встречного, слыхал ли тот о несчастном случае на дороге в Сьюдад-Трухильо. И тут же объяснял, что никакой это не несчастный случай, там погиб его друг, выступавший против режима Трухильо: агенты диктатора вытеснили его автомобиль с дороги, и он рухнул с обрыва.

На следующий день два полицейских, решительно шагавших посреди улицы, увели брата La

Viuda. Она вышла на galería, заливаясь слезами от горя и ярости.

В ту ночь бабушке приснился ребенок в черной сорочке, он вел за собой малыша и манил бабушку рукой; бабушка поняла, что нас ждет большая беда. Мы убеждали ее, что такой сон приснился из-за Мерседес, она то и дело приходит в лавку и тащит с собой малышку Америку-Коломбину; а тут еще La Viuda в трауре. Но на той же неделе дедушка умер; умирал он очень тяжело. Мама, упершись руками в стену и уронив между ними голову, горько, душераздирающе рыдала.

Пауль закрыл магазин. Пришли супруги Грюнер с сыном Руди, Фрайберги; по еврейскому обычаю все принесли что-то съестное. Говорили, каким редкостно добрым человеком был мой дед. Когда все ушли, бабушка сказала:

— Знаю я, что у этих доброхотов на уме. Они всегда считали, что я плохо отношусь к Йосци.

— Нет-нет, что ты, — запротестовала мама.

— Я ведь тебе никогда не рассказывала, что́ он устроил в день нашей свадьбы. Отец подарил нам ковровую дорожку для лестницы, так Йосци взвалил ее на спину и понес домой, лишь бы не платить носильщику. Представляете, *в день свадьбы* он вел меня домой с ковровой дорожкой

на спине! Такое женщина простить не может, — сказала бабушка, сверкая глазами, унылый нос на ее бледном лице казался особенно большим.

Самое близкое еврейское кладбище было в Сосуа, поэтому деда похоронили на католическом погосте в Сантьяго-де-Кабальерос.

После похорон у нас собрались соседи — побыть с бабушкой: пришли доктор Перес с женой и дочкой, La Viuda и сеньора Молинас с Америкой-Коломбиной. На третий день Пауль открыл магазин.

Как-то воскресным днем, когда мы с Паулем гуляли по улице, он сказал:

— Я послал заявление на бухгалтерские курсы, ведь благодаря работе в лавке я поднаторел в счетоводстве; может быть, добьюсь успеха по этой части и даже получу работу в городе, пока не придет виза в Америку. Твоя бабуля была бы довольна.

— Где — здесь или в Америке? Считаешь, тут ей уже не с кем собачиться?

— А помнишь, Лора, как ты любила приезжать к нам в Фишаменд?

— До чего ж там было хорошо, — призналась я.

— Когда мы с Франци уехали в Вену, чтобы там ходить в школу, для нас не было большего

счастья, чем, возвратившись на выходные домой, собрать друзей — их набивался полный дом. Бабуля всякий раз устраивала настоящий пир, Франци играла на пианино, и все рассказывали разные истории. Бабуля любила посмеяться. А дедуля то и дело спрашивал, почему все хохочут. Не устаю удивляться, что у женщины, не умеющей быть счастливой, в доме постоянно кипело веселье.

На пересечении Бродвея и Сто пятьдесят седьмой улицы есть треугольный островок безопасности. Там стоят лавки, растут шесть пропыленных деревьев, толкутся голуби. Всякий раз, когда мимо громыхает автобус, идущий на Пятую Авеню, голуби вспархивают с земли, осыпая всех вокруг болезнетворными микробами, как говаривала моя бабушка. Летними вечерами там собираются пожилые немецкоязычные жители района Вашингтон-хайтс. Однажды в 1951 году, беседуя с некоей Хильдой Хомберг, бабушка между прочим упомянула своего старого приятеля Миклоша Готтлиба, и выяснилось, что двоюродный брат Хильды живет с господином Готтлибом в одном доме, хорошо с ним знаком, а Роза Готтлиб умерла год назад после долгой тяжелой болезни. Услыхав, что моя бабушка тоже теперь живет в Нью-Йорке, Миклош попросил разрешения

навестить ее и выразить свое почтение.

Я с нетерпением ждала этой встречи, надеясь на образцово-показательную романтическую сцену. Бабушка нарядилась в шелковое платье и, хотя долго сопротивлялась, словно юная девушка, которая не желает показать, что надеется произвести на гостя впечатление, все же позволила маме уложить ей волосы,

— Знаешь, он ведь хотел жениться на мне, — сказала бабушка.

— Он просил твоей руки, да, бабуля?

— Разговаривал с моим отцом. Спрашивал, какое тот даст за мной приданое. Но даже если бы Миклош и сделал предложение, я бы за него не пошла. Он был большой ветреник.

Я открыла входную дверь и увидела на пороге человека преклонных лет; в моем воображении уже сложился образ дряхлого, трясущегося от немощи старикашки, но, несмотря на старость и малый рост, посетитель ему ничуть не соответствовал. На пороге стоял щеголеватый мужчина в элегантном, отлично сшитом костюме-тройке, в руках он держал трость. Усы, подстриженные по венской моде начала двадцатого века, ему очень шли. Он оценивающе скользнул по мне крошечными ярко-синими глазами, я прочла в

них откровенное восхищение моей молодостью и женственностью, он напомнил мне доктора Переса в Сантьяго, — тот, правда, ухмылялся куда более плотоядно, считая, видимо, что без его одобрения мне не прожить и дня.

В прихожую вышла бабушка.

Миклош Готтлиб повесил трость на запястье и обеими руками обхватил правую руку бабушки.

— Ja, фрау Роза! — воскликнул он. — Все те же прекрасные черные глаза!

В ответ на комплимент бабушка слегка наклонила голову и пожала плечами.

— Mutterlein, — сказала мама, — веди же господина Готтлиба в гостиную. Я сейчас принесу кофе.

Бабушка села на стул у окна, а Миклош Готтлиб рассыпался в похвалах обстановке квартиры, ее обитателям, а чуть позже — угощению и напиткам, завершив их вполне уместными присловьями насчет того, как тесен мир и сколько воды утекло.

— Но вокруг вас, liebe[92] фрау Роза, ваши дети. А я потерял обоих сыновей — Иоганн погиб на Первой мировой, сражаясь с союзниками при

---

[92] Примечания: 92
Милая (*нем.*).

Капоретто, а младший, Францль, — на Второй мировой, в Лондоне, во время налета немецкой авиации.

И он окинул нас взглядом, чтобы убедиться, дошла ли до нас жестокая ирония судьбы.

— Я тоже потеряла близких. Много было потерь, — сказала бабушка, раскачиваясь взад-вперед. — Моя дочь Франци потеряла мужа. Мой сын Пауль — жену, а ей было всего-то двадцать лет. Я тогда была еще в Вене. Ночью, накануне этого известия, мне приснился малыш.

— Если он приснился тебе накануне известия, то это навряд ли можно считать плохим предзнаменованием, — сказала я, — ведь его жена умерла за несколько недель до того, как ты получила письмо от Пауля.

Мне хотелось, чтобы старики перестали оплакивать мертвых родственников.

— Мы странствуем по миру друг за другом, оставляя позади покойников, — заметила мама. — Мой Иго упокоился на огромном кладбище в убогом еврейском районе Лондона. Жена Пауля Илзе лежит на холме в Сосуа, мой отец — на католическом погосте в Сантьяго.

— А Иболия в Аушвице, — сказала бабушка.

— Ах, прелестная Иболия, у нее был такой

очаровательный носик! — вставил господин Готтлиб.

— Сари — в Венгрии, один Бог знает, где именно, — продолжала бабушка. — Ферри и Карри увезли в Польшу. — Она продолжила перечислять одного за другим одиннадцать погибших, братьев и сестер, указывая, где именно их убили. — А из тех троих, что выжили, Веттерль сейчас в Парагвае, Хильда в Канаде, а я лягу в землю в Нью-Йорке.

— А моя дорогая Роза… — Миклош Готтлиб прикрыл глаза; они стали похожи на два подрагивающих в глубоких глазницах гладких камешка. Из-под век проступили слезы. — Бедная, добрая моя жена, золотая моя Розочка, она болела целых пять лет, в последние два года даже не могла встать с кресла и в конце концов умерла, а что я без нее?

— Ein bisserl Kaffee[93], — предложила мама и налила ему кофе, но бабушка встала и вышла из комнаты.

Когда герр Готтлиб собрался уходить, маме пришлось пойти на кухню и там уговаривать бабушку попрощаться с гостем.

---

[93] Примечания: 93
Еще чуточку кофе (*нем.*).

Миклош Готтлиб приободрился, к нему вернулись живость и галантность. Однако на раскрасневшейся скуле все еще блестела идеально круглая слеза. Он осторожно сжал в ладонях бабушкину руку и сказал:

— Видите, дорогая фрау Роза, недаром я вам всегда говорил, что рано или поздно я к вам вернусь.

Но бабушка не удостоила его ответом.

Глава одиннадцатая
Сьюдад-Трухильо: дон Индалесио Нуньес Агирре и я

Дедуля умер, разрешение на въезд в Америку постоянно отодвигалось на неопределенное время, и я пала духом. Небосвод над Сантьяго был раскален добела. Я бесцельно бродила по дому — из лавки в кухню, потом наверх, чтобы глянуть из окна на улицу. Сейчас я не могу понять, почему у меня не было никаких обязанностей по дому. Такое впечатление, что я жила в ожидании скорого и достойного моих талантов поворота в судьбе; эту веру подогревала во мне родня, я постоянно чувствовала на себе их исполненные обожания взгляды. Одна только бабушка твердила свое:

— Лора никогда не выйдет замуж.

— В Сантьяго точно не выйду, — отвечала я. — За кого тут выходить-то?

— А чем плох Руди? — пытала меня бабушка. — Лора напоминает мне Иболию, сестрицу мою. Ей тоже ни один мужчина не нравился: этот недостаточно высок, тот недостаточно умен…

— Но она ведь все-таки вышла замуж! — не

выдержала я.

— Да, в двадцать девять лет вышла — за мясника; тот еще был зверюга. Через полтора месяца она от него сбежала.

У меня отлегло от сердца: если Иболия вышла замуж в двадцать девять лет, значит, у меня есть еще целый год на осуществление семейных надежд. Сколько бы я ни цапалась с бабушкой, в душе я верила ее мрачным пророчествам. И чем больше они расходились с моими мечтами, тем правдоподобнее казались мне самой.

— Лоре нужно решиться на переезд в Сьюдад-Трухильо, — сказал Пауль. — Там она познакомится с новыми людьми, найдет себе интересную работу, например, рисование. А здесь болтаться ей нет никакого смысла.

Он написал письмо владелице отеля «Парижьенн», тоже беженке из Вены, с которой познакомился еще в Сосуа, и договорился с Отто, что тот отвезет меня в Сьюдад-Трухильо, но я заявила, что предпочитаю автобус:

— Раз уж мне предстоит жить в гостинице для переселенцев, то я хотя бы поеду туда, как настоящая доминиканка. Наша беда в том, что мы живем в своем узком кругу и в результате не знаем ни страны, ни ее народа.

— Какой еще народ?! Незачем тебе его знать, — отрезала бабушка. — Помнишь, Пауль, нашу первую служанку? Она выпросила у меня нож для чистки овощей, хороший такой ножичек; наплела, что будто бы повздорила с соседкой, и у той есть нож, а у нее нет.

— Так она же его наутро вернула, — напомнил Пауль. — И сказала, что помирилась с соседкой.

— Вот видишь! — воскликнула я. — Честная была женщина, миролюбивая.

Однако бабушкина паранойя оказалась заразительной. Когда я подошла к остановке автобуса и ко мне разом обернулось по меньшей мере с десяток черных крестьянских физиономий, причем одна из них ощерилась на меня, как в дурном сне, щербатым ртом, меня охватила паника.

В далеком прошлом автобус был, вероятно, окрашен в ярко-синий и оранжевый цвета, но за годы службы ему так расцарапали и намяли бока, что он походил на старую рождественскую игрушку. На крыше высилась гора из жестяных чемоданов, объемистых корзин и живности. Сбоку висела привязанная за ноги индюшка.

Я поднялась по расшатанным ступенькам и подсела к единственной в салоне женщине — бабушке в чистеньком линялом хлопчатобу-

мажном платье.

— Qué me pica el pava![94] — сказала она мне.

Я привычно пожала плечами: мол, очень жаль, но я вас не понимаю. Старуха захихикала и толкнула меня плечом; посмотрев туда, куда она указывала, я увидела красную, без единого перышка голову индейки, заглядывавшую в открытое окно. Висевшая вверх ногами птица ухитрилась исправить свое положение: изогнув шею подковой, она посматривала на толстую черную руку старухи чуть ли не по-человечески подозрительно и раздраженно, прежде чем опять долбануть ее клювом.

— Este pavo, amigo, es macho o hembra? (Эта твоя птица, приятель, она самец или самка?) — поинтересовался водитель у владельца индейки.

— Que va[95], — бросил владелец и, если я правильно поняла, гордо сказал: — Ты только взгляни на это пернатое чудо. Какие могут быть сомнения? Ясное дело, самец.

— Это самец, индюк, — объяснил водитель старухе и сел за руль.

Та застенчиво улыбнулась мне и пожала пле-

---

[94] Примечания: 94
Индейка-то меня клюет! (*исп.*).

[95] Примечания: 95
Какая разница (*исп.*).

чами. Водитель завел двигатель, до полу выжал педаль газа, так что всех нас швырнуло на спинки сидений, а спавшие в полотняных мешках бойцовые петухи — собственность дородного мужчины, одетого в кричащий мелкоклетчатый пиджак, — разом проснулись и взволнованно заклекотали хрипучими голосами. На миг полотняные мешки взмыли в воздух, будто наполненные гелием шары, потом опустились; время от времени в них раздавались негромкие хриплые вскрики, как у тех, кому мешают спать.

Автобус, громыхая, катил по дороге — а доминиканские дороги мостят на такие гроши, что в каждый сезон дождей их бесследно размывает, — и жарища в салоне стояла невыносимая. Солидный мужчина в мелкоклетчатом пиджаке достал бутылку виски, предложил хлебнуть всем пассажирам, кроме нас со старухой, и затеял общую игру: мужчины заключают пари, и тому, кто первым увидит встречную машину, достанется весь куш. Бутылка пошла по кругу.

Вскоре автобус въехал в гористый район. Водитель обернулся и сказал:

— Mira! Accidente por allá abajo! (Посмотрите вниз! Тут была авария!)

Далеко внизу, на дне ущелья, я увидела облом-

ки темно-синего автомобиля. Пока пассажиры таращились на горестное зрелище, водитель крикнул:

— Un carro![96]

Все засмеялись, стали хлопать его по спине, бутылку по рукам отправили к нему. Мужчины повскакали с мест и, держась за спинки передних сидений, подзуживали водителя прибавить скорость — до того им хотелось увидеть, что же там едет навстречу за очередным поворотом, настолько крутым, что автобус проходил его на двух колесах, перескакивая через полные воды ямы, точно мультяшный автобус из фильма про Микки-Мауса. С левой стороны из-под колес веером летели мелкие камни. Старушка крестилась, в голос моля Иисуса и Деву Марию смиловаться над нами, но едва дорога переставала вилять, бабушка, убедившись, что она еще жива, в смущении оборачивалась, на ее губах играла виноватая, но счастливая улыбка. Я же была не в силах выжать из себя ни звука, не говоря уже о том, чтобы улыбнуться в ответ. Оцепенев на сиденье, я сжала зубы и обхватила себя обеими руками. К вечеру автобус стал спускаться на южную равнину,

---

[96] Примечания: 96
Машина! (*исп.*)

вдали показались высокие современные дома главной улицы; только тут я почувствовала, как ноют у меня челюсти и плечи.

Сьюдад-Трухильо (ныне Санто-Доминго) — столица республики и ее крупнейший порт. Возведенный испанцами старинный собор из железистого песчаника окружен такими же белыми, розовыми и грязно-желтыми домиками, как в Сантьяго, их обвивают такие же galería с крашеными балюстрадами, а внутренние дворики точно так же уставлены цветами в красных горшках. Я протянула водителю адрес отеля «Парижьенн» и попросила высадить меня на ближайшей к нему остановке, но, посоветовавшись с пассажирами, тот решил сделать небольшой крюк и доставить меня прямо к двери гостиницы. Вдрызг пьяный владелец боевых петухов в пиджаке нараспашку донес мой чемодан по лесенке до парадной двери и, пошатываясь, с низким поклоном передал меня с рук на руки хозяйке отеля.

Фрау Бадер, аппетитная венская блондинка, провела меня в крошечную комнатку, окно которой выходило на задний двор. Номер предоставляется мне со скидкой, сказала она, в расчете на то, что присутствие в гостинице молодой де-

вушки привлечет постояльцев. В «Парижьенн» обычно останавливались приезжие из Сосуа, там же подолгу жили евреи из стран Центральной Европы, дожидаясь американской визы. В номере рядом с моим обитал Янош Краус, молодой художник из Венгрии; его длинные пейсы, заправленные за уши, настроили меня против него. «Доктор» и «мадам» Леви тоже бежали из Вены. Пока я поедала свой первый в гостинице обед, фрау Бадер сообщила, что Леви — не настоящий врач; просто, когда нацисты реквизировали его ресторан, он успел окончить курсы педикюра. Всю войну они с женой прятались в Париже. «Мадам» Леви преподает французский язык и упорно говорит по-немецки с французским акцентом. Фрау Бергель приехала из Франкфурта, она дает уроки игры на пианино. Фрау Бадер поинтересовалась, чем я намерена заняться. Раньше у нее в «Парижьенн» жила очаровательная девушка по имени Магда Фишер; она работала в отеле «Харагуа» и сколотила приличный капиталец. Может быть, мне стоит попытаться туда поступить? Там останавливается множество американцев.

Так я нашла себе первую работу. В то время на весь город единственным крупным и шикарным отелем был «Харагуа». Мне определили место в

бежево-алом вестибюле, отделанном стеклом и металлом, за стеклянным прилавком возле растущей в кадке пальмы, — там я продавала сигареты и жаждала встретить героя моих мечтаний.

По утрам одно за другим такси привозили к дверям гостиницы пассажиров из Штатов, путешествовавших по островам Карибского моря. Американцы охотно отсиживались в прохладном вестибюле. К моему прилавку подошел загорелый пожилой мужчина в спортивной рубашке и завел разговор. Сказал, что сразу опознал во мне еврейку, и сообщил, что он тоже еврей. Элегантный молодой человек спросил, где тут поле для гольфа, а три престарелые дамы желали узнать, где можно посмотреть что-нибудь нетронутое цивилизацией. Но я глядела мимо них на элегантную пожилую даму в сиреневом твидовом костюме; она сидела со скучающей миной, надменно подняв брови, и пила чашку за чашкой кофе-эспрессо. По вечерам к гостинице снова съезжались такси, чтобы отвезти американцев в порт, откуда океанский лайнер доставит их домой, в Америку.

Когда выдавались свободные вечера, я гуляла по Эль-Конде, главной торговой улице столицы. Тут высились административные здания, в

одном из них располагалось консульство США; возможно, в эту самую минуту, думала я, там рассматривают мои документы на въезд в Америку. Рядом притулился одноэтажный розовый домик, в котором размещались мелкие лавочки, очень похожие на провинциальные лавчонки Сантьяго. Я шла дальше, мимо шикарного салона женского платья под вывеской «Магда», мимо кафе «Мадрид», его зал открывался на улицу, прямо как сцена — в зрительный зал. Немного спустя я поворачивала обратно и шла, стараясь не пялиться на центральный столик в первом ряду, за которым собиралась английская колония. Там последние пятнадцать лет неизменно проводили послеполуденные часы супруги Дарси; не исключено, что они сидят там и по сию пору. Мистер Дарси, старик с длинным бледным лицом и аристократическими усиками, безмолвно и благожелательно смотрел на окружающий мир поверх неизменной кружки с пивом и дымящейся трубки. Зато его жена говорила не умолкая; миссис Дарси была значительно моложе мужа, толстая, с простецким лицом плебейки, зато преданная и здравомыслящая супруга — согласитесь, качества очень полезные. Сотрудники британского посольства, офицеры английского

флота с верфи, а также английские дельцы с домочадцами подходили к этому столику прямо с тротуара. Если это была дама, миссис Дарси просила официанта принести стул и чай со льдом, если подсаживался джентльмен, заказывала пиво. Чужие к столику никогда не подходили. Единственным исключением была я, но обстоятельства этого смелого шага стерлись у меня из памяти. Хорошо помню, что много недель подряд мои мысли были целиком заняты английским столиком; но когда именно, под каким предлогом — может быть, просто в приступе отчаянной решимости, — я преодолела робость и ступила в кафе «Мадрид», забыла начисто. Уже сидя возле миссис Дарси, я, помнится, рассказывала ей, что с десяти лет жила в Англии, то есть провела там ровно полжизни, что училась в лондонском Бедфорд-колледже и получила степень бакалавра по английскому языку.

— Вы же наверняка помните, где находится колледж. В Риджентс-парке. Если устаешь корпеть над «Беовульфом», можно полюбоваться, как гуси бредут по лужайке с озера. Обожаю Лондон! Мечтаю туда вернуться…

Сидевшая за столиком чиновница британского консульства заметила:

— В нынешних условиях это, скорее всего, несложно.

Не прошло и месяца, как мне пришло извещение о том, что я могу явиться в консульство за визой.

Я похолодела от ужаса: сквозь памятную картинку — белоснежные гуси гуляют под раскидистыми платанами по изумрудно-зеленой лужайке — проступила, будто при наложении двух фотоснимков, — я сама в очках, плаще и полуботинках; в июньский, по-английски холодный и дождливый день, я топаю по мосту на Бейкер-стрит, терзаемая таким острым ощущением одиночества, что оно навсегда врезалось мне в память. Помню, я на миг замерла, чтобы понять, почему мне так тошно, почувствовала, что ноги у меня промокли, а в кармане — что-что, а это я знала точно — нет даже шестипенсовика для газового счетчика.

— Виза! В Англию! Потрясающе!… — воскликнула я. — Только в ближайшее время у меня денег не предвидится…

— Визу можно будет возобновить, — успокоила меня чиновница.

— Да, но моя мать рассчитывает, что я вместе с ней поеду в Америку, — выпалила я и покрас-

нела.

Домой я шла в полной уверенности, что англичане навсегда утратили ко мне интерес. Но на следующей неделе, когда я шла мимо, миссис Дарси поманила меня, заказала чай со льдом и сообщила, что посол Х. ищет преподавателя английского языка, и она рекомендовала меня. Короче, благодаря миссис Дарси через пару месяцев у меня набралось немало учеников, желавших изучать английский с британским акцентом, среди них был даже один выходец из Вены. И вскоре я отказалась от работы в «Харагуа».

Лучшим моим клиентом стал посол Х, По утрам, еще до завтрака, за мной заезжал его личный шофер, а в конце каждого урока посол делал мне игривое предложение.

Едва мы выходили на крыльцо посольства, водитель швырял щетку на землю и замирал по стойке «смирно» возле дверцы огромного черного «линкольна-континентал», сверкавшего влажными боками на усыпанной гравием дорожке. Воздев указательный палец, чтобы привлечь мое внимание, посол замирал.

— Ты. — Сосредоточенно нахмурив брови, он тыкал в меня пальцем: — Третится? — вопро-

шал он.

— Встретиться? — предлагала я.

— Встретиться, — исправлял ошибку посол, — меня, — и с плотоядной ухмылкой тыкал пальцем себе в грудь, — в отель «Харагуа» эту ночь? — победно завершал он фразу и гордо вскидывал голову, ожидая похвал. Коренастый, низенький, он был почти одного роста со мной.

Я качала головой и поправляла:

— Давайте встретимся сегодня вечером в отеле.

Посол хихикал и хлопал себя по бедру:

— Я стретим тебя! Я стретим тебя!

— Правильно. Я встречусь с вами завтра утром, как всегда — в семь часов, — отвечала я. — И пожалуйста, повторите главу шестую, про порядок слов в английском вопросе.

Посол мрачнел и разводил руками:

— Ты мой не любит!

По подъездной дорожке уже шагал Яношь Краус с палитрой и коробкой с красками: каждое утро он являлся писать портрет посла и в очевидном замешательстве приподнимал шляпу, не зная, то ли сначала поклониться мужчине, ведь он — посол, то ли такой же, как он сам, беженке, все же она как-никак дама. Посол усаживал меня в

лимузин. Я оглядывалась: венгр, кланяясь, сгибался пополам, а посол, поцеловав на ступеньках веранды собственные пальцы, посылал мне воздушный поцелуй.

— Как дела, учителца? — спросил Хайме, водитель лимузина.

— Учи-тель-ни-ца, — поправила я.

— Учи-тель-ница, — поправился Хайме.

Каждый день он возил меня в резиденцию посла, потом обратно и по дороге бесплатно учился английскому. Он удивлял меня своим небрежным идиоматичным английским, которого, видимо, нахватался у меня за полгода; за те же полгода его патрон не освоил ни единого нового правила и не избавился ни от одной застарелой ошибки. У меня создалось впечатление, что те, кому английский дается, усваивают его с лету, а те, кому он не дается, не выучат его никогда. Путь от незнания к знанию был для меня тайной за семью печатями.

— Какой прекрасный денек! «Прекрасный денек» — правильный?

— Правильно. Да, денек выдался замечательный.

Мы ехали по Малекон — красивой улице вдоль берега Карибского моря; оно неподвижно си-

нело справа от нас. Слева в бескрайних садах прятались затейливые виллы богачей. Там и сям черные ребятишки поливали из шлангов лужайке, — казалось, что они сами извергают эти сверкающие водяные струи, от которых даже под жгучим доминиканским солнцем ярко зеленеет трава.

Светловолосая фрау Бадер принесла мне на galería завтрак и села напротив. Ей было за сорок, но, несмотря на скверные зубы, она была еще хороша собой и намеревалась выйти замуж в четвертый раз. Острая на язык, она не чуралась непристойностей, ее походка, жесты, все ее существо были настолько колоритными и полными жизни, что в ее присутствии я ощущала себя бледной немочью. Фрау Бадер мне нравилась, и я, чувствуя, что разочаровала ее, досадовала на себя: ради меня мужчины в ее отель отнюдь не рвались. Именно поэтому я рассказала ей про заигрывания посла Х., и она пристала ко мне: привези да привези его в «Паризьенн».

— Мы приготовим для вас настоящий венский ужин, он такого в жизни не едал.

— В ваших кулинарных способностях я не сомневаюсь, но не хочу его обнадеживать, — сказала я.

— Почему? — удивилась фрау Бадер.

— Он женат, — ответила я.

— Ну и что? Жаль, что тебя здесь не было, когда у нас жила Магда Фишер. Гостиница ходуном ходила. Еще бы: рыжеволосая пышка восемнадцати лет и вдобавок настоящая красавица! Ты же видела ее салон женского платья на Конде! Сначала, только-только приехав из Венгрии, они поселились у меня всей семьей: Магда, ее маленькая сестричка Ева и их мать. В один прекрасный день ее увидел президент Трухильо и — представь себе! — подкатил к нашим воротам и велел водителю-лейтенанту подняться к Магде и пригласить ее прокатиться по городу! Она, точно истая доминиканка, заявила, что одна не поедет, и лейтенант сказал, что она может взять с собой мать. Что им оставалось делать? Все трое расположились на заднем сиденье, президент сидел между Магдой и ее матерью и, разговаривая с миссис Фишер, всю дорогу жал Магде руку. Потом, когда миссис Фишер рассказывала мне эту историю, она всё приговаривала: «А что я могла поделать?» Неделю спустя он послал за Магдой того же самого лейтенанта, чтобы тот привез ее на прием. Магда отказалась, сославшись на болезнь матери; тогда берите с собой сестренку,

предложил лейтенант, а Еве в то время было… сколько?.. Наверно, лет тринадцать, и она уже была прехорошенькая. На прием съехались важные гости, длиннющий кортеж шикарных машин двинулся в одно из загородных поместий президента, и там, в освещенном фонарями саду, началось fiesta[97]. Магду посадили рядом с президентом, а Еву — возле лейтенанта. Девочке дали вина, и она уснула на его коленях. А мы с миссис Фишер не спали до утра, дожидаясь возвращения ее дочерей… Но надо признать, президент оплатил и операции, которые потребовались миссис Фишер, и услуги медсестер с нянями, и даже похороны. Магда могла получить все, чего бы ни пожелала, — дом, загородное поместье, мало ли что еще, но она никогда не теряла головы. Ей нужно самой зарабатывать на жизнь, сказала она президенту, и ему пришлось раскошелиться на магазин-салон на Конде. А малышка Ева частенько приводила того лейтенанта к нам ужинать. Чего же ты не приводишь своего посла?

Я покачала головой:

— У меня с послом совсем другие отношения. Понимаете, он меня не всерьез приглашает. На-

---

[97] Примечания: 97
Веселье (*исп.*).

верно, считает, что он делает мне комплимент. Такая у него манера любезничать с девушками.

Я ожидала, что фрау Бадер возразит: «Отчего же не всерьез?», но она сказала:

— Вот как? Что ж, если не можешь заполучить его, почему бы не привести сюда кого-нибудь из твоих друзей-англичан?

— Я не так близко с ними знакома.

— Что значит «не так близко»? Когда бы я ни шла по Конде, ты всегда сидишь за их столиком.

— Да, но у нас не такие отношения, чтобы *я* могла приглашать *их*.

— Почему?! — изумилась фрау Бадер.

— А вот и моя следующая ученица, — выпалила я.

Уроки в гостинице я давала некой донье Пири, маленькой сухонькой доминиканке лет примерно пятидесяти. Ее круглое личико, когда-то, наверно, очаровательное, пожелтело и сморщилось, так что ей можно было дать и все восемьдесят. Ее крашеные ярко-оранжевые кудерьки стояли дыбом; длинные ногти были кроваво-красного цвета. В начале каждого урока она ширкала карандашом о подошву туфли, оттачивая грифель до игольной остроты.

— Донья Пири, — начала я, — видите ли, я опа-

саюсь, что три урока в неделю… не слишком ли много? Может быть, вам столько не нужно?.. (На самом деле меня подмывало выложить ей все начистоту: «Донья Пири, при ваших умственных способностях ваш английский лучше не станет; я уже голову сломала — чем заниматься с вами целый час?») Я хочу сказать, вы очень бегло говорите по-английски… — уточнила я.

— Да, но мой акцент?! — взвизгнула донья Пири. — Это же страх и ужас! Мне нравится ваш акцент, сеньорита. Вы говорите на такой образованный английский.

— Гм, спасибо.

— И одеваетесь тоже хорошо. Вы всегда одеваетесь… сейчас скажу… Как дамы.

— Как леди, да? Спасибо, донья Пири, но…

— Я считаю, у вас красивый вкус. Вчера я двигаю мебель. Я бы хотела, чтобы вы пришел и помогал мне устраивать комнату.

— Я бы хотела, чтобы вы пришли, — поправила я. Попытки доньи Пири установить со мной более близкие отношения я всерьез не принимала: она мне не нравилась, и я не могла поверить, что нравлюсь ей.

— Я бы хотела, чтобы вы пришли ко мне на ужин, может быть, сегодня вечером? Я хочу

пригласить несколько друзей… друга… одного джентльмена…

Приглашение стало приобретать совсем иной, неожиданный характер. А не сходить ли на ужин к донье Пири, подумала я.

— У меня есть его картина. Так получилось, он был в газете.

Донья Пири сунула лапку в свою огромную красную пластиковую сумочку и протянула мне газетную фотографию двух весело беседующих мужчин. В одном из них я узнала президента Трухильо. Донья Пири ткнула в заголовок острым кроваво-красным ногтком.

— Вот этот, видите, тут писано: «Don Indalecio Nuñez Aguirre habla con el Generalissimo Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Presidente de la Republica y Benefactor de la Patria…[98]»

Я изумилась: выходит, у доньи Пири такой явно высокопоставленный светский приятель, и вместе с тем отметила, что он отнюдь не тот мужчина, которого я ждала всю жизнь. Толстый и в возрасте.

— Это президент Юнайтед Пикча, старый друг

---

[98] Примечания: 98

Дон Индалесио Нуньес Агирре беседует с генералиссимусом доктором Рафаэлем Леонидасом Трухильо Молина. Президент Республики и благодетель отечества… (*исп.*).

мой семья.

Донья Пири с такой тревогой всматривалась в мое лицо, что до меня дошло, в чем тут дело.

— Я с большим удовольствием отужинаю с вами и вашим другом, донья Пири. — И я понимающе улыбнулась. — Сегодня вечером мне очень удобно.

Я была искренне рада, что у доньи Пири есть друг.

— Драсьте, учителца, — хором поздоровались три хорошенькие сестрички; старшей был семнадцать, а двойняшкам — по пятнадцать.

— Здравствуйте, учи-тель-ни-ца, — поправила я, — Доброе утро. Садитесь, пожалуйста.

Из глубины дома доносилась меренга. Специально для урока на облицованную красивой плиткой galería уже поставили кресла-качалки и стол. Galería опоясывала старинный внутренний дворик, уставленный цветами в горшках; густая тень от увивших стены растений создавала впечатление прохлады, но на самом деле во дворике было очень жарко. Девушки, в свободных халатиках, с папильотками в волосах, раскачивались в креслах, толкали друг друга и хихикали.

— Учителца, почему у тебя нет дружка? — спросила старшая, самая хорошенькая из сестер, хотя

она, как и я, носила очки.

— Откуда ты знаешь, что нет? — спросила я, чувствуя, что заливаюсь краской под взглядами трех пар черных глаз.

— Мы тебя видели. Вчера — con los Ingleses. В кофе «Мадрид».

— С англичанами, — перевела я. — В *кафе* «Мадрид». Я вас тоже видела, вы шли с вашей матерью.

Я готова была попросить девушек перестать качаться, но неподалеку сидела их мать, на манер дуэньи приглядывавшая за нами; она тоже раскачивалась в кресле, и я прикусила язык.

— Эмануэла, — крикнула она кому-то в доме, — выключи музыку и открой входную дверь. Ну и жарища, — пожаловалась она, обмахивая себя под мышками пальмовым листом.

Служанка привела на galería «доктора» Леви. Мы поздоровались. Хор уже в сотый раз орал по радио припев меренги. Донье Марии принесли тазик с холодной водой, она опустила ноги в воду и уже не обращала на нас внимания. Воспользовавшись безнадзорной минутой, я сказала девушкам:

— Сегодня мы будем беседовать по-английски. Поговорим о наших кавалерах. Если бы ваш дру-

жок пригласил вас прогуляться с ним по Конде, вы бы согласились?

На меня уставились три пары красивых черных глаз.

— Да, и мама пошла бы с нами, — сказали девушки.

— А если бы знакомая дама пригласила вас на ужин, вы тоже пошли бы с мамой?

— Да, тоже с мамой, — ответили они.

— А вот английские девушки всюду ходят одни, — сказала я. — Неужели вам никогда не хочется сходить куда-нибудь самим?

— Да, очень хочется, — сказали они явно из вежливости, но, глядя на их очаровательные круглые щечки и шейки, на искрящиеся смехом глаза, я догадывалась, что под материнским крылышком они позволяют себе куда больше, чем я, со всей моей независимостью, которой так горжусь. — А теперь — английский диктант, — объявила я.

* * *

— Тебя спрашивает один господин, он сидит на galería, — сообщила мне фрау Бадер вечером, едва я вошла в дом.

— Господин?! — изумилась я и пожалела, что рядом нет моей мамы и меня некому сопрово-

дить. Лучше бы мне остаться дома.

— Пригласи его отужинать. Хорошая скидка, как ты понимаешь, тебе обеспечена!

На верхней ступеньке лестницы стоял маленький толстый старичок. На нем был легкий пиджак табачного цвета, не сходившийся на объемистом животе, на шее болтался броский узорчатый галстук. Протянув мне на редкость изящную руку, старичок назвался доном Индалесио Агирре и объяснил, что донья Пири попросила его заехать за мной, поскольку ее дом весьма трудно отыскать. По-английски он говорил хорошо, но заметно нервничал, и, желая его успокоить, я сказала:

— Очень любезно с вашей стороны. Впрочем, я привыкла всюду ходить самостоятельно.

— Вот и чудесно, — отозвался дон Индалесио и, подхватив меня под локоть, повел к стоявшему у тротуара огромному автомобилю, за рулем которого сидел шофер.

Меня грело сознание, что фрау Бадер и горничная Хулия наблюдают, как я отбываю на ужин в сопровождении мужчины. Дон Индалесио сел следом за мной на заднее сиденье, но, к моей радости, в некотором отдалении от меня. И мы двинулись прямиком на тропический закат; но

он погас, и почти сразу нас окутала непроглядная тьма.

— Далеко нам ехать? — осведомилась я.

— Да уж не близко, в другой конец города. — Перейдя на испанский, дон Индалесио приказал шоферу ехать по бульвару Benefactor de la Patria[99], после чего объяснил мне: — Месяц назад бульвар открыли заново, я его еще не видел. Вот, глядите: проезжую часть расширили, замостили щебенкой, по обочинам посадили величественные пальмы. Получилась шикарная улица, каких мало, одна беда — она абсолютно никуда не ведет.

Я понимающе фыркнула.

Дон Индалесио указал пальцем в конец бульвара, где виднелись два ветхих домишки, один с заколоченной дверью, в другом — его тускло освещали спиртовки — ютилась бакалейная лавчонка. Дальше простиралась пустошь.

— В зданиях справа — армейские казармы. — продолжал дон Индалесио, — за ними видны огни аэропорта.

— Здесь я не бывала ни разу, — призналась я. — А вообще я люблю знакомиться с новыми районами города.

---

[99] Примечания: 99
Имени Благодетеля Отечества (*исп.*).

Дон Индалесио слегка изменил позу, и я всполошилась, но оказалось, что он всего лишь повернул голову, чтобы получше рассмотреть меня. Сама не понимаю почему, я принялась рассказывать про себя — что я еврейка, приехала из Вены, что мой дядя держит в Сантьяго бакалейный магазин, что я окончила Лондонский университет и теперь преподаю английский. Дон Индалесио слушал не без интереса, учтиво и благожелательно, то и дело кивая головой, и время от времени повторял: «Ага! Прекрасно!» — словно подтверждал мои слова. Тут меня озарило: скорее всего, донья Пири ему про меня уже говорила.

— В основном обучаю дипломатов и их родственников, — похвасталась я.

— Как же, как же — наш местный посольский корпус! Вы, конечно же, заметили, что к нам сюда присылают на редкость потасканный контингент? Посол X. вам случайно не знаком?

— Еще бы не знаком! Пять раз в неделю я спозаранку даю ему уроки.

— В таком случае вам известно, что он, в сущности, дебил.

— В самую точку попали! Дебил, и какой!

— Министр Y. — малый славный, но от посла X. ушел недалеко. В Первую мировую войну ему

все нутро разворотило снарядом. А вот консул Z. мог бы добиться многого, если бы не женился на своей любовнице.

— Что ж тут плохого? — поинтересовалась я, демонстрируя широту моих взглядов, и, довольная собой, отметила, что дон Ингалесио глянул на меня с явным удовольствием.

Машина запрыгала по кочкам засохшей грязи. Свет фар выхватил из темноты изгородь из кактусов, на которой сушилась одежда, и убогие домишки из дощечек и листов рифленого железа — примерно в такой хибаре ютилась в Сантьяго Пастора. Пузатые женщины, застывшие в темных проемах дверей, провожали глазами нашу огромную машину.

Она неторопливо преодолевала рытвины и ухабы недавно развороченной целины — это было уже не поле, но еще не дорога, — и мы въехали в только что отстроенный район. По обеим сторонам стояли новенькие, с иголочки, оштукатуренные одноэтажные домики очень современного вида. На веранде одного из них я увидела донью Пири, она вглядывалась в темноту, высматривая нас.

Мы вошли в домик. Хозяйка крутилась возле меня, точно щенок.

— Вам нравит? — то и дело спрашивала она.

Стены были окрашены в строгие светлые цвета; все выглядело новым, удручающе необжитым.

— Это не напоминает вам театральную декорацию? — шепотом спросил меня дон Индалесио. — Взгляните на оконные занавесочки, диван и накрытый на троих стол.

У меня уже мелькала мысль, что донья Пири подготовила эти декорации специально для нас с доном Индалесио; и в ответ я засмеялась, потом нахмурилась и укоризненно покачала головой. Но дон Индалесио не дрогнул:

— Мне почему-то чудится, дорогая Пири, что как только мы с сеньоритой ступим за порог, эта комната бесследно исчезнет.

Донья Пири, извинившись, вышла в кухню, и я шепнула:

— Будет вам, она же так старалась.

— Вы полагаете? — дон Индалесио повернулся и заглянул мне в лицо, будто искал там подтверждения моим словам.

— Она ведь въехала сюда всего несколько дней назад.

— Ага! Тогда понятно. — Он осторожно потыкал пальцем розовую стену. — Шпаклевка, похоже, еще толком не успела высохнуть.

— Неужели?! — я засмеялась.

Дон Индалесио похлопал ладошкой по дивану, приглашая меня сесть с ним рядом, и предложил мне сигарету. Скрестив пухлые ножки и зажав в тонких пальцах сигарету, он продолжил занимать меня. Он был испанец, но тоже провел какое-то время в Англии; много читал и даже, чуть сконфуженно признался он, сам написал одну книгу. По-английски он выражался изящно и остроумно. Я тоже положила ногу на ногу и непринужденно зажала в пальцах сигарету.

Во время ужина дон Индалесио по-прежнему не оставлял меня своим вниманием, почти позабыв о хозяйке дома. Он едва ли не повернулся к ней спиной, и я пыталась сгладить эту неловкость, вовлекая донью Пири в разговор:

— Мне кажется, что со временем, когда вы обживетесь, у вас будет прелестный дом.

— Однако, мы пока что не знаем, будет ли в нем кто-то жить, — загадочно обронил дон Индалесио.

— Разве вы не останетесь здесь? — озадаченно спросила я донью Пири.

— Вы знали, что я обязана этот дом дону Индалесио?

— Правда? — удивилась я.

А ведь в атмосфере и впрямь ощущалось нечто такое, чего я не поняла или неверно истолковала.

— Насколько я помню, дорогая моя Пири, эта замечательная идея целиком принадлежит вам, — язвительно заметил дон Индалесио; я даже заподозрила, что между ними того и гляди вспыхнет ссора, но, поглядев на их лица, успокоилась: оба улыбались.

— У сеньориты красивый вкус, и она будет мне помогать расставить мебель, — сказала донья Пири.

— Не знаю, с чего донья Пири решила, что я в этом сколько-нибудь разбираюсь. Как вам известно, я живу в гостинице.

— Ничего, очень скоро у вас будет настоящий собственный дом, а не декорация! — сказал дон Индалесио и многозначительно улыбнулся.

Я хмуро глянула на него, потом перевела глаза на донью Пири, но она смотрела на меня так, будто хотела убедиться, что мне у нее хорошо.

— Разумеется, я имел в виду только декорации, — все так же весело продолжал дон Индалесио. — Состав исполнителей — выше всяких похвал, — галантно добавил он.

Сияя улыбкой, донья Пири предложила мне

пойти посидеть на galería, но я сначала скрылась в ванной комнате, чтобы подкрасить губы.

Когда я вышла, донья Пири и дон Индалесио сидели рядом, сдвинув стулья, и разговаривали, но, завидев меня, вежливо смолкли.

— Какое приятное зрелище: двое старинных друзей за беседой, — сказала я. Но в ответ оба так улыбнулись, что у меня вспыхнули щеки, будто я сморозила глупость. Я даже вздрогнула, и донья Пири немедленно вскочила и побежала за шалью.

Шаль, хоть и шерстяная, была маленькая и жалкая. Как и galería, выходившая на искореженную землю ухабистой дороги, над которой где-то вдали неустанно мигали разноцветные огни летного поля. В конце дороги, шедшей вверх, возводилось большое здание, и со стройки доносился беспорядочный шум.

— Пожалуй, мне пора домой, — сказала я.

Дон Индалесио немедленно встал и подал знак шоферу. Прощаясь с доньей Пири, я увидела, что шофер склонился к багажнику, будто поправлял номерной знак.

Дон Индалесио опять уселся на заднее сиденье рядом со мной и сказал:

— Я тут подумал, не заскочить ли на минут-

ку, — если, разумеется, вы не против, — в мой летний домик, он здесь неподалеку. Мне нужно забрать кое-какие документы.

— Пожалуйста, — ответила я.

Я искоса поглядывала на его пухлое плечо, на обвисшую дряблую щеку; в полутьме салона мне казалось, что щека эта колышется чуть ли не у моего глаза. Дон Индалесио как-то странно прерывисто дышал. Может быть, у него астма, подумала я. Когда он нагнулся вперед, давая указания шоферу, его рука прижалась к моей закутанной в шаль руке (донья Пири настояла, чтобы я уехала в ней), — но я не решалась отстраниться, опасаясь его обидеть, — и замерла, едва дыша, изо всех сил избегая соприкоснуться с ним, в тайной надежде, что в конце концов он отодвинет руку.

На развилке машина свернула в сторону; дорога здесь представляла собой полосу сохлой грязи среди густых зарослей. Вдруг автомобиль стал. Во тьме проступили очертания дома. Дон Индалесио не торопился вылезать.

— Вы меня правда простите? Я всего на минутку. А может быть, вы тоже зайдете со мной и мы выпьем по стаканчику на дорожку? Пойдемте, я покажу вам свое холостяцкое пристанище.

От напряжения я плохо соображала и не нашлась, как вежливо отклонить приглашение, — чтобы дон Индалесио не подумал, будто я подозреваю его в дурных намерениях, хотя он не дал никакого повода для таких подозрений. К тому же мне хотелось смело идти навстречу вызовам судьбы.

— С удовольствием, — сказала я.

Шофер открыл дверцу, я вышла из машины. Под ногами захрустел гравий. Вокруг — кромешная тьма. Дон Индалесио уже ушел вперед и, судя по звукам, пробирался по заставленной galería к выключателю, роняя все, что подворачивалось на пути. Зажглась лампа, и я увидела ветхий одноэтажный домишко. Дон Индалесио распахнул дверь, из нее ударил сноп света; на миг лицо шофера показалось мне страшным, перекошенным в злобной усмешке, но я тут же опомнилась, догадавшись, что он мне улыбается.

Войдя в логово льва, я наотрез отказалась сесть:

— Нет, спасибо, мне не хочется сидеть.

— Позвольте взять у вас шаль.

— Благодарю вас, не надо. Мне чуточку зябко, — сказала я, подрагивая.

Дон Индалесио извинился и вышел; я слышала

звяканье цепочки и плеск спускаемой в туалете воды. Мне показалось, что за те двадцать минут, что мы пробыли в его бунгало, он выходил трижды, а я бродила по комнате, обеими руками прижимая к груди сумочку и старательно расправив плечи, как учила меня мама.

Комната была неприглядная, примитивно обставленная — типичная загородная холостяцкая берлога. Прямо у входной двери стоял большой современный холодильник, рядом — уютное потертое кресло и красивый стол красного дерева, на нем вперемешку валялись фланелевые брюки, ружье, присланный авиапочтой старый номер «Нью-Йорк Таймс». На стене над незатейливым камином висел свежо, свободными мазками написанный пейзаж.

Когда дон Индалесио вернулся в комнату, я спросила:

— Чья это работа? Отличный пейзаж.

— Вы полагаете? — Он подошел и стал рядом. — Ее написала моя юная приятельница. Хуанита Ривера. Ее полотна выставлены в Galería des Bellas Artes[100]. Я рад, что он вам понравился. Собираюсь купить у нее еще несколько картин и

---

[100] Примечания: 100
Галерее изящных искусств (*исп.*).

хотел получить ваш добрый совет. У меня-то вкус совсем не развит.

Он с усмешкой покосился на свой жуткий галстук.

В ту минуту я испытала прилив нежности к этому старичку.

— По-моему, картина очень хороша, очень. Мне нравится.

— В доме есть еще один ее холст, хотелось бы, чтобы вы на него взглянули.

И дон Индалесио провел меня в комнату поменьше, там я увидела кровать и поспешила перевести взгляд на стену, где висел небольшой портрет дона Индалесио. Он был изображен в профиль; этот самый профиль я разглядывала в машине, когда его обладатель, не подозревая, что за ним наблюдают, предавался размышлениям, а его обвисшая щека колыхалась рядом. Хватило одного взгляда на портрет, чтобы мне стало ясно: более всего дон Индалесио похож на унылую, проницательную, циничную старуху.

— Очень удачный портрет. Как тонко передано сходство. Но пейзаж мне все же нравится больше. — Развернувшись на каблуках, я двинулась в гостиную. — К тому же он крупнее. При покупке картин вам стоит руководствоваться *ее* советами.

По сравнению с этой художницей я всего лишь дилетант.

— Ладно. Допустим. Но, понимаете, эта молодая дама на меня немножко рассердилась. И больше мне советов не дает. Ну, — заключил он, — поехали.

Взяв со стола пачку бумаг, дон Индалесио подхватил меня под локоть, вывел из домика, запер дверь, выключил свет и опять усадил на заднее сиденье, после чего молча опустился рядом и нахохлился в своем углу.

— Кстати, если вы в самом деле интересуетесь живописью, может быть, приедете ко мне в гостиницу? — предложила я.

Дон Индалесио заметно оживился.

— Есть один художник, Янош Краус, он приехал из Венгрии, очень недурной живописец, — продолжала я. — Могу организовать ужин для вас обоих. Между прочим, в отеле фрау Бадер готовят совсем неплохо.

— Чудесно, чудесно, — отозвался дон Индалесио и так резко отвернулся, что виден был лишь его профиль: уголки губ уныло опущены, обвисшие женоподобные щеки подрагивают.

Я все рассказывала про Яноша — какой он талантливый, хоть и не очень самобытный, — пока

мы не подъехали к гостинице.

Дон Индалесио вылез из машины, чтобы попрощаться со мной, и не сразу выпустил мою руку:

— Может быть, мы с вами как-нибудь поужинаем вместе? Или сходим в Galería des Belles Artes, и вы научите меня разбираться в современном искусстве. А потом поедем ужинать в «Харагуа» или в ваш отель.

— С большим удовольствием! — искренне воскликнула я.

— Правда? — спросил дон Индалесио; он был очень доволен.

На следующий день, когда я вернулась после утреннего урока с послом Х., Хулия, наша горничная, сказала, что мне звонила донья Пири. Она сообщала, что обстоятельства помешали ей прийти на урок, но приглашала меня отужинать с ней и доном Индалесио сегодня или завтра. Хорошо бы любезная донья от меня отстала, думала я, и пусть все идет своим чередом. Перед уходом я сказала горничной:

— Хулия, если это дама позвонит еще раз, скажи, что я верну ей шаль при первой же встрече.

Но, шагая по Малекон на урок в доме сеньоры Феррати, я сообразила, что, скорее всего, это дон Индалесио попросил донью Пири ор-

ганизовать новую встречу. Очевидно, я ему действительно понравилась. Может быть, я даже не догадываюсь, насколько я обаятельна? Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. Я улыбалась плавно мчащимся мимо черным дипломатическим лимузинам и тощим черным ребятишкам, поливающим ухоженные газоны. В этом праздничном мире, где царит вечное лето, даже дурацкий светло-зеленый замок с оштукатуренными зубчатыми стенами — гордость семейства Феррати — вдруг показался мне привлекательным.

Хозяева замка, тоже беженцы, но, в отличие от нас, богатые, приехали из Испании. Меня провели в прохладную спальню с закрытыми ставнями. Хозяйка сидела перед трельяжем.

— А, сеньорита! Ты не против, если сегодня мы позанимаемся только полчасика? Сегодня должен прийти доктор Леви, он делает мне педикюр. А мы с тобой просто поболтаем.

— Тогда говорите, пожалуйста, по-английски.

— Ой, я забыла. Я иду на канаста (верный, да?) к сеньора посол Х. Страшный скука. Вечером мы идем в отель «Харагуа». Слишком много. От этого я нервный.

На мой взгляд, сеньора Феррати ничуть не нерв-

ничала. Дородная, с красивой, теплого оттенка кожей, одетая в элегантный костюм из белого пике, она собиралась на очередной прием. Не жизнь, а мечта! Правда, на лестнице я столкнулась с ее мужем, скучным, аккуратно одетым коротышкой с тщательно подстриженными усиками. Тем не менее от сеньоры веяло довольством. Я давно вглядывалась в нее, пытаясь постичь причину ее довольства.

— Я задам вам вопрос, а вы отвечайте по-английски. Не знаком ли вам случайно человек по имени Индалесио Нуньес Агирре?

Сеньора Феррати, покрывавшая ногти ярко-розовым лаком, подняла глаза:

— У тебя новый друг, оно так?

— Нет. Вовсе нет! Я познакомилась с этим господином в доме нашей общей знакомой. Он тоже испанец, вот я и подумала: вдруг вы его знаете. Полагаю, он президент какой-нибудь крупной компании по продаже фильмов.

Сеньора Феррати наморщила лоб и припомнила, что однажды встречала такого человека. Она смотрела на меня с таким жгучим любопытством, что я подробно описала ей события предыдущего вечера.

— Милая сеньорита, он интересуется тобой, —

повторяла она. — Он, наверно, жутко богатый, и ты его интересуешь.

— Но он же старый, — сказала я. Мы обе уже забыли, что собирались говорить по-английски.

— Сколько же ему лет?

— Пятьдесят, может, даже шестьдесят.

— Вот как? А тебе сколько?

— Двадцать один.

— А-а. Ну ладно, и что же все-таки произошло?

— Ничего. Мы поужинали. Посидели на веранде. Он — человек вполне культурный. У него в загородном доме висит несколько картин молодой художницы, ее зовут Хуанита Ривера.

— Так ты и в загородный дом заходила?

— А что такого? Ему надо было забрать оттуда какие-то бумаги, — объяснила я и покраснела.

— И что же было *потом*? — продолжила расспросы сеньора Феррати.

— Потом он отвез меня назад, в гостиницу «Парижьенн».

— О-о, дорогая моя… Так. А потом?

— Уехал домой.

— Сеньорита, дорогая, ты одержала победу, и какую! Ты хотя бы понимаешь, что такой человек может обеспечить тебя на всю жизнь?

Я пренебрежительно покачала головой, хотя

перед глазами тут же возник мой собственный дом, и не где-нибудь, а на Малекон, с салоном, в котором собираются самые интересные и знаменитые люди острова. Я уже мысленно сочиняла письмо моим английским друзьям, описывала своего мужа: хотя он и бизнесмен, но человек остроумный и культурный. И одновременно я понимала, что все это не для меня.

Сеньора Феррати похлопала в ладоши, чтобы лак сох побыстрее.

— Я как раз вчера говорила про тебя с мужем; сеньорита, сказала я, станет одной из самых завидных невест в городе: она белая, хорошенькая и образованная. Будь она богата, перед ней не устоял бы никто.

Я поправила очки и возразила:

— Но я вовсе не хорошенькая.

— А по-моему, хорошенькая! — вполне искренне повторила сеньора. — Я и мужу сказала: какая же сеньорита одухотворенная!

У меня упало сердце.

— А-а, в этом смысле…

— Мне так часто хочется выглядеть более одухотворенной, — призналась сеньора Феррати, вешая себе на шею красивый крест на массивной серебряной цепи.

— И потом, кто его знает?.. — продолжала я, припоминая кое-какие нюансы вчерашнего вечера; тогда я их не осознавала, но они, как фальшивые ноты, преследовали меня, не давали покоя и на следующий день. — Может быть, он женат. Во всяком случае, он производит впечатление человека степенного.

Сеньора Феррати взяла квадратную косынку ярко-розового шелка и набросила ее на белоснежный костюм, отчего ее оливковая кожа сразу засияла.

— Ах, сеньорита, милая! Не говорите мне о женатых мужчинах! — Она встала. Наш урок закончился. — Знаешь, что я сделаю, пока мы будем играть в канасту? — У меня мелькнула, было, мысль, что она позовет меня с собой, но сеньора сказала: — Там обязательно найдется кто-нибудь из знакомых твоего дона Индалесио. Я про него все разузнаю. Стану твоим сыщиком.

На лестнице я столкнулась с «доктором» Леви. Он хотел ограничиться лишь поклоном, но я остановилась и спросила, как он поживает. Он поблагодарил меня за то, что я порекомендовала его сеньоре Феррати. Я тоже рада, что все так удачно сложилась, ответила я и спросила, не доводилось ли ему встречаться с человеком по имени дон

Индалесио Нуньес Агирре. Нет, ответил «доктор» Леви, с таким господином он не знаком, зато ноги его сеньоры он обрабатывает регулярно.

— Вы имеете в виду сеньору Агирре? Жену дона Индалесио?

— Именно ее, — подтвердил «доктор», — а иногда меня зовут сделать педикюр ее старшей замужней дочери; между прочим, у нее растут две маленькие девочки. В следующий раз с удовольствием порекомендую вас как учительницу английского языка.

После обеда в гостинице было пусто. Все обитатели, включая даже саму фрау Бадер, расползлись по своим комнатам, спасаясь от палящего полуденного зноя. В соседнем дворе верещала индейка. Ну, конечно, я же с самого начала знала! Кто, как не я, сказал сеньоре Феррати, что дон Индалесио, возможно, женат?

В дверь постучала горничная.

— Сеньорита, вам опять звонила та дама.

— А, так-так. Ты передала ей, что я просила?

— Да, сеньорита. А она сказала: «Да хрен с ней, с этой проклятой шалью! Наплевать и растереть! Мне нужно знать, когда она снова приедет на ужин!»

— Ага. Спасибо, Хулия.

Но горничная застыла на пороге: изуродованные плоскостопием ступни, большой живот туго обтянут мало что прикрывающим платьем; мне сразу вспомнились женщины, которых я видела вчера в дверях жалких лачуг.

— Сеньорита, — сказала Хулия, — помните, вы обещали научить меня писать?

— Помню, помню. Ты имеешь в виду, *прямо сейчас*?! Ох! Ну ладно. Сядь сюда.

Я дала ей карандаш, тетрадь (которую купила с намерением написать сложившийся у меня в голове рассказ о девушке, которая живет на тропическом острове в гостинице для беженцев) и сказала:

— Хорошо. Открой тетрадь. Нет, нет! Зачем в середине-то? Открой на первой странице. Смотри, я напишу тебе строчку петелек, это маленькие буквы «е». А теперь ты сама напиши такую же строчку. Нет, Хулия, не там! Начинай *слева*! Я пойду прилягу, а ты позови меня, когда закончишь.

Жара стояла адская. Индейка продолжала верещать. Хулия склонилась над тетрадкой: ее нос был сантиметрах в восьми, не дальше, от судорожно зажатого в кулаке карандаша.

— Хулия, зачем ты переворачиваешь страницу? Ты же ее наверняка целиком не исписала. Дай

посмотреть.

Нацарапав три петельки там, где я ей указала, она вывела гигантскую петлю посреди страницы, потом еще две и уже собралась страницу перевернуть. Я молча смотрела на девушку и думала: у бедняги ведь нет никакого представления о том, что такое страница, что такое книга или картина. Она понятия не имеет о жизни в Англии. Я пыталась поставить себя на ее место, но это было трудно, так же трудно, как вообразить, что я знаю то, о чем не имею понятия, — ту полную страсти жизнь, с которой Хулия наверняка хорошо знакома, предаваясь ей за черным дверным провалом ее домишки.

— Где ты живешь, Хулия? — спросила я.

— Далёко, сеньорита, за городом.

— В другом конце города, близ летного поля, да?

— Нет, сеньорита. Около летного поля живут плохие женщины.

— Постой, я имею в виду, за армейскими казармами.

— За казармами, с этого края летного поля они как раз и живут.

— Нет-нет. Там еще проложили новую дорогу, и дома идут вверх по склону.

— Ну да, там еще строят публичный дом, домики для девушек и дорогу для машин важных господ.

— Вот оно что… Понятно.

Тут меня, хотя и с запозданием, осенило; подобно кадрам уже однажды виденного фильма, передо мной возникла картина: вот шофер дона Индалесио склонился к багажнику машины, но только теперь я отчетливо увидела, что он снимает с заднего номерного знака закрывавший его щиток.

— Сеньорита, опять телефон!

Оторвавшись от канасты, звонила сеньора Феррати:

— Моя дорогая, у меня для тебя новости, да какие! Ты не представляешь! Нам необходимо встретиться. Ужасная досада, что я не могу рассказать все по телефону!

Голос сеньоры радостно звенел.

— Постойте, — прервала ее я. — Вы поедете в «Харагуа» сегодня вечером? Я могу прийти туда, и мы с вами встретимся.

— О, прекрасно! Дорогая сеньорита, жди меня там! Мне нужно бежать обратно к столу. Какой ужас, просто кошмар! До свиданья.

* * *

Вечером, когда я выходила из гостиницы, из темноты вдруг послышался голос Хулии:

— Хорошо вам повеселиться, сеньорита.

Я оглянулась и не без труда различила во мраке платье Хулии — оно было чуточку светлее непроглядных зарослей. Склонившись над живой изгородью, горничная провожала глазами прохожих, и меня как молнией поразило: чернокожая Хулия проводит субботние вечера так же одиноко, а ночи — так же невинно, как и я.

За стеклянным прилавком с сигаретами стояла новая продавщица, в платье с глубоким вырезом и волосами до плеч. Субботними вечерами вестибюль гостиницы заполняли состоятельные доминиканцы — худощавые мужчины в свободных костюмах с подкладными плечами и их упитанные дамы с цветами в волосах, в узких юбках и блузках с драпировкой на пышной груди. Они приезжали, чтобы потанцевать на свежем воздухе во дворе гостиницы.

Я стояла в вестибюле в полном одиночестве, от смущения делая вид, что наблюдаю за житейской суетой. Заметив стоявшего неподалеку хорошо мне знакомого посла Х., я страшно обрадовалась

и энергично замахала ему. Осклабившись, он подошел поздороваться со мной:

— Ага, ты ходишь здесь! А ты говоришь, что не ходишь!

Тут к нам подплыла сеньора Феррати в роскошном цветастом платье. Посол склонился к ее руке, приговаривая:

— Моя жена тоже где-то здесь. А, вы знакомы с сеньоритой! Она учит меня английскому. Прошу вас и сеньора Феррати присоединиться к нам с женой во дворе гостиницы.

Сеньора Феррати пообещала присоединиться, но попозже, и решительно повела меня в дамскую комнату с зеркальными стенами и розовыми неоновыми лампами. Мы сели на обитые бежевой кожей скамеечки и стали держать совет.

— Сеньорита, милая, ты нипочем не догадаешься. Сеньора Лопес, которая тоже играла в канасту, знает чету Агирра с незапамятных времен; короче, дорогая, у него есть жена и две взрослые дочки.

— Знаю. Я же вам утром сама сказала, что он, скорее всего, женат. Помните?

— Погоди! Там, похоже, замешана еще одна женщина, Пилар Крус. Она была его любовницей целых пятнадцать лет! Можешь себе предста-

вить, дорогая?

— Вы удивитесь, но я с самого начала заподозрила, что дон Индалесио и донья Пири любовники, а теперь просто *уверена*, что именно она задумала познакомить его со мной… Слушайте, неужели вы толкуете про *мою* донью Пири?!

— Именно. Донья Пири. Пири Крус. Кто ж ее не знает? Судя по всему, она пятнадцать лет была у него на содержании, — заключила сеньора Феррати, пожирая меня глазами.

— Может быть, они были влюблены друг в друга! — сказала я.

— Ой, брось, сеньорита! Во всяком случае, теперь она слишком стара для любви и промышляет тем, что поставляет ему девушек. Сеньора Лопес призналась, что, по словам ее мужа, дон Индалесио ему жаловался на свою нынешнюю девушку: мол, стала капризничать, то и дело плачет и требует…

— Знаю, знаю, — перебила я. — Она художница, чуткая и ранимая. Помните, я вам про нее говорила?

— Словом, то ли дон Индалесио *пообещал* донье Пири домик, то ли она *выпросила* его у дона Индалесио, — уже не помню, — но при условии, что она раздобудет ему новую девушку. Вот ужас-то!

Только представь! Мне уже надо бежать. А то муж пойдет меня искать.

— Вы будете сидеть за столиком посла? — спросила я в надежде, что она пригласит меня присоединиться к ним.

— Да, но сначала хочу разыскать сеньору Лопес. Она рассчитывала вечером тоже сюда приехать и, кроме того, обещала вызнать у мужа все, что можно. Ну, как? Неплохой из меня сыщик?

Я вышла из дамской комнаты и стала в дверях, ведущих на внутренний двор. В дальнем конце танцплощадки оркестр уже наигрывал меренгу. Между столами, освещенными разноцветными фонариками, сновали официанты в белых пиджаках. Совсем рядом расположилась группа англичан, знакомых мне по кафе «Мадрид», я видела стоявшие возле них стаканы с виски, слышала столь знакомую мне четкую, чуть рубленую речь.

— Драсте, учителца, — хором приветствовали меня три юные девушки.

— О, здравствуйте! — сказала я и обратилась к их тучной мамаше, улыбавшейся мне из-за спин своего потомства. — Как вы поживаете?

Прелестные светлые платья девушек шелестели и мерцали в полумраке; три пары внимательных

ных черных глаз были устремлены на меня.

— До свиданя, учителца, — пропели они.

— Эй, привет! — окликнул меня художник Янош. — Иди к нам. — Он сидел за столиком с «доктором» Леви и «мадам» Леви, там же расположилась учительница музыки фрау Бергель с дочкой Лилли, недавно приехавшей из Нью-Йорка; Лилли тоже стала давать уроки английского языка, но, в отличие от меня, с американским акцентом. Грустное зрелище, думала я, глядя на них: эти иностранные специалисты напоминают придворных, живущих объедками со стола потрепанной жизнью городской знати.

— Идите сюда, — раздались голоса, — подсаживайтесь к нам.

* * *

После этого вечера мы с Яношем стали встречаться. Он во многом походил на меня: такой же самоед, унылый и заносчивый; я его терпеть не могла. Он беспрестанно жаловался, что в этом варварском углу на краю света его таланты пропадают втуне, но мне эти таланты представлялись весьма скромными. В то же время я удивлялась и огорчалась, что мой дар общения остается невостребованным. Заметила же донья

Пири, что я очень подхожу дону Индалесио, да и дон Индалесио нашел меня весьма занимательной собеседницей. Я никак не могла понять, почему ни местное английское общество, ни доминиканцы, ни работники дипломатических миссий мной так и не заинтересовались.

Скоро даже донья Пири перестала мне звонить. И больше ни разу не пришла на урок. Спустя месяц после того званого ужина я увидела ее на улице и устремилась к ней. Мне было совестно: ведь она столько сил потратила, заманивая меня в ловушку, хотя у нее не было ни малейшего шанса на успех. Я считала, что поставила ее в глупое положение.

— Простите, пожалуйста. Ведь я до сих пор не вернула вам шаль, — сказала я и виновато улыбнулась.

Она бросила на меня взгляд, полный откровенной, беспримесной ненависти, тут же отвела глаза и, словно не заметив меня, прошла мимо. Еще год-другой я сталкивалась с ней довольно часто. Видимо, она переехала обратно в город. По ее все более обтрепанному виду я заключила, что для нее настали трудные времена. Не сомневаюсь, что донья Пири считала меня причиной всех бед — при наших случайных встречах она делала

вид, что мы незнакомы.

В газетах вновь появилась фотография дона Индалесио. Подпись гласила: Индалесио Нуньес Агирре, президент «Юнайтед пикчерс», отбывает в продолжительную деловую поездку. Когда я пришла заниматься с сеньорой Феррати, она предложила вместо урока просто поговорить по-английски:

— Я тебе такое расскажу. Помнишь дона Индалесио и его подружку? Ну, вот, похоже, он к ней вернулся, и между ними все пошло из рук вон плохо. У него вроде бы есть загородный дом…

— Это мне известно, — вставила я.

— Они крупно поссорились, и у него, милая сеньорита, неожиданно выстрелил пистолет! Та девушка сейчас в больнице, а дону Индалесио нужно немедленно ехать в Соединенные Штаты и отсиживаться там, пока скандал не утихнет, представляешь? Какой ужас! После этого я с ним разговаривать не стану. Если ты не против, давай поболтаем, но только полчасика, ладно? Мне нужно бежать. Лопесы устраивают в его честь прощальный ужин. Завтра все расскажу. Я же тебе говорила: не связывайся с ним! Помнишь?

— Помню, — проронила я.

А сама живо представила бурную сцену в его

домике, в знакомой мне обстановке, где я стояла, прижав сумочку к груди, словно оборонялась от чего-то. Внезапно мне стало страшно оттого, что я не поддалась искушению. Что, если я вообще неподвластна соблазну? От этой мысли я пришла в ужас.

Глава двенадцатая Нью-Йорк: мой собственный дом

В 1938 году, когда евреи в Австрии осознали, чем грозит им приход Гитлера, они побежали в американское консульство. Каждый получил номер вроде тех, что дают покупателям в некоторых нью-йоркских булочных — чтобы обслужить всех строго по очереди. Но пресловутая «Американская квота» — каким до боли знакомым стало для нас это словосочетание! — очень отдаленно напоминала систему обслуживания в булочной, поскольку просителям с разных улиц выдавали номера разных серий.

До номеров моих бабушки и дедушки, выходцев из Венгрии, очередь по квоте дошла только в 1949 году, спустя почти год после смерти деда. И бабушка, а ей уже стукнуло семьдесят пять, уехала в Нью-Йорк одна. Ничего хорошего в Америке нет, писала она. Еврейский комитет подобрал ей жилье на двоих с некоей Амалией Крюгер, старой каргой, которая даже приличный суп сварить не умеет, а когда бабушка решила ее поучить, та велела убираться с ее кухни; естественно, бабушка

больше никогда не станет с ней разговаривать. Один Бог знает, доживет ли она до нашего приезда в Америку, потому что занемогла от тоски.

В 1950 году пришел черед номера Пауля, и он уехал к матери в Нью-Йорк. Однажды вечером он повел ее прогуляться по Риверсайд-драйв[101], и там они столкнулись с Фрайбергами, — те, прожив в Америке больше года, решили вернуться в Вену.

— Летом в Нью-Йорке вообще невозможно находиться, здесь хуже, чем в Сантьяго. Сами увидите! А уж о культуре и речи быть не может, — твердили они, поджимая губы и дружно качая головами.

Фрайберги предложили Паулю снять их квартиру на 157-й Вест-стрит, поскольку срок аренды еще не истек. От входа узкий коридор вел прямиком в кухню; слева находилась комната бабушки, справа — Пауля. В мае 1951 года мы с мамой тоже приехали в Нью-Йорк, и Пауль перетащил свою кровать в комнату бабушки, купил нам две кушетки и пианино для мамы. Так комната справа стала гостиной и столовой одновременно: там, за кухонным столом с пластиковой столешни-

[101] Примечания: 101

Риверсайд-драйв — улица в западной части Манхэттена, вдоль реки Гудзон; с нее открываются живописные виды.

цей, мы вчетвером и ели. Из прочей обстановки имелись несколько старых громоздких и шатких комодов, полученных от Армии Спасения. И все-таки я была приятно удивлена: комнаты довольно просторные, с высокими потолками. Я мысленно переставила и покрасила мебель, набросила на кушетки дорогие покрывала. В голове роилось множество способов украсить квартиру. Пауль пообещал, что как-нибудь поможет мне преобразить наше жилище.

В первый же вечер он повел меня на Риверсайд-драйв. Мы прошли один квартал.

— Слушай, а здесь красиво! — обрадовалась я. — Не хуже, чем на набережной Темзы! Было бы еще красивее, если бы не эта мерзкая реклама. — Я указала на щиты вдоль шоссе, по которому навстречу нам летели ярко-белые огни фар и в обе стороны удалялись красные габаритные огоньки. Дорога без конца, подумала я. (Мысль мне понравилась; не забыть бы вставить ее в письмо моим лондонским друзьям по университету.) С другого берега, из Нью-Джерси, реку устилали неоновые рекламы, их яркие, без полутонов призывы дрожали на поверхности воды. — Особенно вон там, — продолжала я. — Даже глаза режет. Смотри, из-за них небо кажется фиолетовым.

Наутро мы с мамой решили сходить в агентства по трудоустройству. Бабушка провожала нас до порога.

— Носовой платок взяла? А деньги? Ключи не забыла? А ты захватил пакет с едой? — обратилась она к Паулю, который шел на работу. — Возвращайся скорее! — напутствовала она каждого из нас.

Над 157-й улицей вставало солнце и, отражаясь в зеркальных окнах Республиканского клуба, под которым находилось агентство Рексхолл, слепило так, что приходилось загораживать глаза ладонью. Омытое утренними майскими лучами, все вокруг сверкало — и грязные, провинциального пошиба лавчонки в этой части Бродвея, и желто-зеленые такси. Мы спустились в метро и вышли на Сорок второй улице. Я показала работникам агентства диплом бакалавра по специальности «английский язык и литература» (с отличием), полученный в Лондонском университете, свидетельство о победе в конкурсе на лучший рассказ и грамоту за успехи в рисовании, после чего заявила, что «ищу интересную работу». Меня попросили заполнить анкету и, ознакомившись с ней, посоветовали освоить стенографию и машинопись, годик-другой пожить в Америке,

набраться опыта и тогда прийти еще раз.

— Америка — страна неограниченных возможностей для тех, кто умеет управляться с продукцией Ай-Би-Эм[102], — заметил вечером Пауль.

Сам он работал в очень известном нью-йоркском исследовательском центре. Поначалу Пауль пытался найти работу в лаборатории, там знания по медицине ему очень пригодились бы, но диплом Венского университета в США не котировался. Все же чиновники из отдела кадров заинтересовались его опытом по части скотоводства, приобретенным в Сосуа, и предложили работу при подопытных животных. Пауль поинтересовался, есть ли у него шанс добиться повышения и перевода в лабораторию, и в ответ услышал: невозможно сказать заранее, где и когда подвернется такой случай.

Мама нашла место на Пятой авеню, на кухне под одним из ресторанов известной в Нью-Йорке сети. Мама помогала готовить закуски. По ее собственным словам, она раньше и не слыхивала о фирменных блюдах, которыми гордился ресторан, и даже когда сама научилась их готовить,

---

[102] Примечания: 102

Ай-Би-Эм (IBM) — концерн по производству электронной техники; существует с 1925 г.

не узнавала на слух их американских названий из-за помех в переговорной трубке, а работавшая рядом сердитая негритянка не желала ей ничего объяснять. Мама опасалась, что потеряет работу, и по вечерам возвращалась домой в слезах от волнения и усталости.

Мне подвернулась канцелярская работа за сорок долларов в неделю на обувной фабрике в Квинсе. Я сидела за длинным столом и вместе с другими работницами заносила поступающие заказы на розовые картонные листы. Слева от меня сидела тучная прыщавая блондинка по имени Шарлин. Я рассказала ей, что только что приехала из Доминиканской Республики, где преподавала английский, что я австрийка, но десять лет жила в Англии. Шарлин презрительно глянула на меня холодными голубыми глазами и пробурчала своей подружке, что лучше бы приезжие со своими дурацкими акцентами убирались туда, откуда приперлись. В обязанности Шарлин входило записывать, что рабочие хотят заказать на обед, а я должна была приносить еду из закусочной этажом ниже. Но Шарлин всегда дожидалась ровно двенадцати часов, так что я поневоле теряла десять минут законного обеденного перерыва. Вскоре я обнаружила, что если немножко помеш-

кать, я попадаю в толпу рабочих, стекающихся к раздаточной с других этажей, и вредина Шарлин теряет целых двадцать минут перерыва. Помню охвативший меня восторг, но рано я радовалась, потому что она нанесла ответный удар. Наша месть становилась все изощреннее.

По ночам мне снилось, что мы с Шарлин объясняемся и кидаемся друг другу в объятия, но каждое утро перед уходом на работу меня рвало. В обед, чтобы не видеть повернутой ко мне отвратно жирной спины, я уходила с фабрики и бродила по промышленному району, переступая через рельсы заброшенной узкоколейки и не встречая ни единой живой души. Как-то двое рабочих в синих комбинезонах, пивших кофе из термоса на ступеньках проржавелого вагона, помахали мне руками. И у меня сразу поднялось настроение. Потом я неожиданно вышла к воде и в отдалении увидела на берегу гигантское прямоугольное здание Организации Объединенных Наций; казалось, оно стоит буквально на собственном отражении. Я побежала обратно, на свое рабочее место, мысленно сочиняя письмо лондонским друзьям.

Возвращаясь вечером домой, я заметила, что за кухонным окном стоит бабушка, а когда я вышла

из лифта, она уже открывала мне дверь.

— Зачем поджидать нас у окна? — спросила я, целуя бабушку. — Могла бы и посидеть.

— Твоя мама запаздывает!

— На сколько? Всего лишь на одиннадцать минут!

— Мало ли что могло с ней случиться! — не унималась бабушка.

— Что ж, давай прикинем, — я начала загибать пальцы, подсчитывая поводы для задержки. — Может быть, у нее затянулся разговор с заведующим; или она решила пройтись по Пятой авеню — полюбоваться витринами, а может, поезд метро остановился между станциями…

— Думаешь, что-то случилось в подземке? — всполошилась бабушка, устремилась к кухонному окну и вдруг воскликнула: — Вон она! И Пауль тоже.

И махала им рукой, пока они не скрылись в подъезде. Тогда она перешла к двери в холл и уставилась на красный огонек лифта, который вез ее детей домой.

— А я испекла штрудель с маком, — объявила бабушка. — Стол уже накрыт.

Но Пауль сказал, что ему надо принять душ, переодеться, а потом он поедет ужинать к Дольфу.

В свое время, прибыв по американской квоте в Нью-Йорк, Пауль первым делом стал искать Дольфа в манхэттенской телефонной книге. И нашел. Дольф, как выяснилось, женился. И по-прежнему писал стихи — на немецком, но читать их было некому. Пауль, изголодавшийся по тесной дружбе и умной беседе, время от времени навещал его, и всякий раз бабушка огорчалась и пыталась его отговорить:

— Твой драгоценный Дольф, как всегда, ничего не соображает: требует, чтобы ты, отработав целый день, еще куда-то ехал. У тебя измученный вид.

— Мамочка, я прекрасно себя чувствую.

— Тогда поешь, а уж потом поезжай. Небось, его жене и дела нет до твоего желудка, а он у тебя не самый здоровый.

— Она прекрасно готовит. Очень вкусно.

Бабушка проводила сына до выхода, убедилась, что он не забыл носового платка и прочих необходимых вещей, и, как всегда, попросила:

— Возвращайся поскорее!

Когда мы сели ужинать, бабушка сказала:

— Не пойму я Пауля. Как он может ходить к другу, которому в голову не приходит пригласить к себе его мать, сестру и племянницу?

— Бабуля, — не выдержала я, — о чем бы ты разговаривала с Дольфом?

— Лора, солнышко, — умоляюще глядя на меня, сказала мама: она боялась, что я нагрублю бабушке. И предложила пойти посидеть в треугольном скверике, который бабушка окрестила Dreieck[103].

Фрау Хомберг, жившая в том доме, где бабушка поселилась по приезде в Америку, подсела к нам.

— Вот, значит, какие у вас дочка и внучка, — сказала она и обратилась ко мне: — А почему ты не гуляешь с молодым человеком?

— Нет у нее молодого человека, — проворчала бабушка. — Очень уж она разборчива.

— Пойду прогуляюсь, — сказала я. — А ты за меня не волнуйся.

Но на самом деле волновалась-то *я.* Однажды я на мгновение заглянула в отворенную дверь, но тут же кто-то зашел внутрь и прикрыл ее за собой. Тем не менее увиденная картина намертво врезалась в мою память: на высоком табурете сидела, покачивая ногой, женщина; к ней, опершись на локоть, склонился мужчина. Не исключено, что я прочла про подобную сцену в книжке. Вече-

---

[103] Примечания: 103
Треугольником (*нем.*).

рами, особенно в субботу, я мечтала отыскать такую дверь, но в немногие известные мне по кинофильмам бары одиноким женщинам вход был закрыт. Кроме того, я понятия не имела, как называются тамошние напитки. Так что никто не подойдет и не склонится ко мне, опираясь на стойку. Покосившись на свою лодыжку, я засомневалась, достаточно ли она хороша, чтобы раскачивать ею. Мама снова позвала нас с бабушкой в скверик подышать воздухом.

— Я? Ни за что! Я ухожу гулять.

— Куда ж ты пойдешь? — спросила бабушка, провожая меня до порога.

— Еще не знаю.

— А когда вернешься?

— Раз я не знаю, куда иду, трудно сказать, когда вернусь.

— Лора, солнышко! — взмолилась мама.

— Почему ты не хочешь сказать, куда идешь? — поразилась бабушка.

— Потому что мне, бабуля, уже двадцать три года и меня может занести в такое место, которое тебе придется не по вкусу, — отрезала я. Подозреваю, что ее интерес к моей личной жизни раздражал бы меня меньше, будь у меня и впрямь личная жизнь, достойная пристального

внимания.

— Спасибо, внученька, — сказала бабушка, сердито тараща глаза. — Будет о чем размышлять ночью, поджидая тебя.

— А ты обо мне не думай. Мне не нужно, чтобы ты меня ждала.

— Обещаю тебе, больше ни разу не спрошу, куда ты идешь, — сказала бабушка. — А самое лучшее для меня — лечь и умереть. — И удалилась в гостиную.

— Беги поцелуй ее, — шепнула мне мама, но бабушка уже раскладывала пасьянс и даже не взглянула в мою сторону.

Я доехала на метро до Таймс-сквера и дальше пошла пешком; вокруг сияли, мерцали, бежали, прыгали, гасли и снова загорались бесчисленные огни рекламы. Хочешь не хочешь, а поверишь звонкой фразе: «Таймс-сквер — перепутье земных дорог», думала я. Зрелище этих огней напомнило мне венскую ярмарку, на которую наша служанка Польди водила меня в долгие рождественские праздники; особенно врезались в память пестрые палатки сельских торгашей. Я шагала и не без самодовольства философствовала, сочиняя письмо в Лондон про черепашек по пятнадцать центов за штуку, и на крошечной спинке каждой

из них алой краской написано: «Привет из Нью-Йорка»; про техасские шляпы, на тулье которых сидящая за швейной машинкой торговка тут же нашьет из волнистой тесьмы ваши инициалы, и всего-то за тридцать центов. Толстая девица в синем атласном платье и украшенной цветами шляпе указывала всем на окошко рядом с тиром: там толпились зеваки, наблюдая, как негр в высоченном поварском колпаке жарит над огнем сосиски.

По дороге я заметила книжный магазин и решила войти. В ярком электрическом свете бросились в глаза заглавия, от которых я невольно поежилась: мне было бы стыдно, если кто-нибудь застал бы меня у этих стеллажей, однако вскоре я наткнулась на книжку с завораживающим названием: «Ежегодник писателей», в нем оказался перечень писательских клубов: один в Антиохии[104], три там же, в Калифорнии, и один в Манхэттене. Я списала манхэттенский адрес и, вернувшись домой, сочинила остроумное письмо в клуб. (А потом неделями с удовольствием вспоминала свои находки.)

— У фрау Хомберг есть племянник, очень ми-

---

[104] Примечания: 104
Антиохия — город в штате Калифорния, США.

лый молодой человек. Она ему про нашу Лору подробно рассказала, — ни к кому не обращаясь, объявила бабушка; она все еще не простила меня.

— Он, небось, себя не помнит от счастья, — сказала я.

— Он намерен жениться, — сообщила маме бабушка.

— Помогай ему Бог, — бросила я.

— Лора, солнышко, почему бы тебе не познакомиться с этим юношей? — предложила мама. — Вдруг он тебе понравится?

— А кто сказал, что я не хочу с ним встретиться? — отозвалась я и стала ждать.

В пятницу к нам пришел Тони Лустиг и пригласил меня в ближайший кинотеатр. У него было приятное лицо с карими еврейскими глазами, точно такими, как у всех братьев моей бабушки. Из рукавов темно-синего пиджака торчали голые запястья, без намека на манжеты. Не помню, какой фильм мы смотрели, но отчетливо помню, как мы шли по проходу после сеанса и у меня уже вертелась на языке фраза: «До чего же пустой фильмец!», но Тони меня опередил:

— Отличная картина, скажи?

Я велела себе прикусить язык. Стояла чудесная

летняя ночь. Мы вышли на Бродвей. Я спросила Тони, чем он занимается.

— Когда я только приехал сюда, удалось получить место Packerlschupfer, — ответил Тони, употребив венское словечко, буквально значащее «тот, кто распределяет по местам небольшие пакеты», то есть помощник товароведа. — Потом нанялся в кафе, убирал посуду со столов. Сейчас работаю официантом, а по вечерам хожу на курсы гостиничного дела. А ты?

— В Доминиканской Республике давала уроки английского. Вообще-то я окончила Лондонский университет, — сказала я, но, испугавшись, что опять выставлю себя интеллектуалкой, добавила: — А сейчас я всего лишь канцелярская крыса, и то никудышная. Но имею намерение стать писателем.

— Ого! — воскликнул Тони. — Так ты писатель? О чем же ты пишешь?

— О девушке, которая откладывает все деньги, до последнего цента, на платье, в котором ее нос не будет выглядеть чересчур длинным и острым.

— Но платье носа ведь не изменит, — заметил Тони.

— Верно, а дело в том, что всякий раз это не то платье. И она опять откладывает деньги, а сама

потихоньку стареет, но твердит свое: «Сегодня утром меня чуточку прихватил ревматизм, вот почему я так скверно выгляжу. А завтра на щеках снова заиграет румянец, кожа разгладится, нос станет короче… Так что даже очки с него съедут».

— И чем же все кончится?

— Она умрет.

— Ох! А про счастливых людей ты хоть иногда пишешь?

— Не верю, что они существуют на свете. Ты когда последний раз видел счастливого человека?

— А я вот счастлив, — ответил Тони.

— Прекрасный молодой человек, — заявила назавтра бабушка; в ее голосе слышался вопрос.

— Очень приятный юноша, куда приятнее меня, — подхватила я. — Только чуток глуповат.

— Бедная наша Лора, снобизм ее погубит! — заметил Пауль.

— Лора никогда не выйдет замуж, — сказала бабушка.

— Лора, солнышко, ты слишком скора на критику, — пожурила меня мама. — Разве за один-единственный вечер узнаешь человека? Пускай даже он тебе не пара, зато он может познакомить тебя с другими людьми. С чего-то же

надо начинать, верно?

— Я понимаю, мамочка.

— Что ты хочешь сказать? Помалкивай, мамочка, да?

— Нет, всего лишь прошу вас, сделайте милость, позвольте мне самой строить свою жизнь, не торопите меня, — вот что я хочу сказать. И пожалуйста, за меня не волнуйтесь.

— Ты совершенно права, — начала мама, с беспокойством поглядывая на бабушку; бабушка, однако, ничуть не обиделась, а весело засмеялась.

— Я как раз сию минуту и перестала волноваться, — сообщила она и сложила на коленях руки, показывая, что теперь ради меня она и пальцем не пошевельнет.

В ту же субботу вечером я напомнила Паулю про его обещание помочь мне переставить мебель. Мы передвинули все предметы до единого, и, оглядев результат, бабушка заявила, что, на ее взгляд, комната выглядит ничуть не лучше, чем прежде, когда вещи стояли там, куда она их поставила перед нашим приездом.

Я пустилась в объяснения:

— Дело в том, что невозможно увидеть взаиморасположение предметов на плоскости и в

пространстве, пока не изменишь позицию каждого из них. Пауль, дорогой, может, подвинем пианино сюда, а кушетки поставим параллельно? Тогда стол станет под окном.

Но и эта перестановка не дала ощущения ни порядка, ни элегантности, а главное — пространства, чего я так жаждала.

— Что, если кушетки подвинуть к окну под углом друг к другу? — предложила я, но тут терпение Пауля лопнуло.

— У бабули разболелась голова, твоя мама замучилась вконец, да и я тоже. Выбирай: можно оставить все, как есть…

— Как есть — совсем не то, что нужно! — возразила я.

— Тогда вернем все на прежние места.

— Но ведь гостиная выглядела *уродски!* — и в ужасе поняла, что даже это не подействовало на Пауля. Он угрожающе расправил плечи, лицо его исказилось.

— Это — квартира твоей бабули, — процедил он, — здесь живут четыре человека, а ты — лишь одна из них. Что, по-твоему, важнее: твой тонкий вкус или покой всех остальных? Выбирай!

Я убежала в ванную и заплакала оттого, что мне придется и дальше жить в такой неприглядной

обстановке, а еще потому, что Пауль устроил мне головомойку.

Наутро, когда я вошла в кухню, он штудировал страницу в «Санди таймс» с объявлениями о приеме на работу. Он рассказал, что на неделе в обеденный перерыв заглянул в лабораторию — спросить, не может ли он быть чем-нибудь полезен. Ему поручили вымыть пробирки, и он сразу уронил ведро — всё в дребезги!

— Хочу отослать объявление в газету, — сказал Пауль, — «Ищу работу с высокой зарплатой для мужчины, немолодого, косорукого, без трудовых навыков и с талантом к безделью».

— Одолжи мне страницу, где вакансии для женщин, — попросила я. — Давно пытаюсь найти объявление со словами «Письм. речь» или «Дипл. ун-та». Мне все кажется, что есть где-то увлекательная работа в кругу красивых, добрых и интересных людей.

Пауль признался, что в своих поисках имел в виду и меня; сам же он горько сожалеет, что у него нет навыков физического труда, и настоятельно советовал мне, не теряя времени, освоить какое-нибудь ремесло.

— Я и сама подумывала пойти на какие-нибудь вечерние курсы. Например, сравнительной тео-

логии, — задумчиво сказала я.

— Нет-нет! Совсем не то. Лучше что-нибудь вроде стенографии или машинописи. С единственным условием — чтобы ремесло как-то соответствовало твоим талантам и склонностям. Промышленная графика, к примеру?..

— Вот еще, промышленная графика! Пауль, дорогой, я тебя, наверно, жутко раздражаю, да? — вдруг выпалила я.

— Жутко, — подтвердил Пауль. — Мы с твоей мамой обсуждали тебя и пришли к выводу, что нам жаль того мужчину, который взвалит на себя такой груз. Но, хотя хлопот с тобой не оберешься, они окупятся с лихвой.

— Где он, тот мужчина? — сказала я.

Тони больше не позвонил. Я неделями силилась вспомнить, что именно сказал Пауль; в голове вертелись два варианта: то ли «мужчина, который *захочет* взвалить на себя этот груз», то ли «мужчина, который *решился бы* взвалить на себя этот груз».

Не прошло и трех недель, как бабушка, вернувшись с треугольного скверика, сообщила: Тони Лустиг помолвлен. Бабушка уже видела его избранницу: она старше Тони, и зубы у нее торчат изо рта.

Однажды, открыв почтовый ящик, я обнаружила там свое остроумное письмо в писательский клуб; на конверте стоял штамп: «Адрес неизвестен». Я обшарила ящик, но больше ничего не нашла. Соседний почтовый ящик стоял нараспашку, я пошарила и там и замерла в страхе: уж не теряю ли я рассудок?

Зимой я поступила на вечерние курсы стенографии и машинописи, а весной моего второго года в Нью-Йорке получила работу в фирме по связям с общественностью, располагавшейся на Мэдисон-авеню. Хозяев фирмы прельстил мой британский акцент, и поначалу они явно решили, что заполучить такого работника всего за сорок долларов в неделю — большая удача. Фирму организовали двое мужчин, один — невротик, другой — добряк. Добряк печатал свои письма сам; убедившись, что печатаю я скверно, невротик последовал его примеру. Их клиентами были: «Датское китовое мясо», «Курсы переподготовки по мужскому магнетизму» и «Кампания за отправку Колокола свободы[105] на Всемирную ярмарку на Филиппинах»; работой они нас не перегружали. Начальник-невротик

[105] Примечания: 105

Колокол свободы — колокол в г. Филадельфия, символ американской независимости и свободы; отлит в 1752 г. в Лондоне.

требовал, чтобы у меня был неизменно занятой вид. Ничего, если в свободное время я буду писать рассказы? — спросила я и услышала: «Это будет прекрасно».

В обеденный перерыв я гуляла то по одной, то по другой стороне Мэдисон-авеню и, шагая то на юг, то на север, жадно разглядывала витрины ведущих домов моды и изысканных антикварных магазиков. Дело кончилось тем, что я решила покрасить мебель в нашей квартире.

— Как бы не промахнуться с цветом, — задумчиво сказала я. — Какой выбрать?

— Коричневый, — твердо сказала бабушка.

— Коричневый?! Под дерево? Ни за что! Краска есть краска, ее скрывать нелепо. Красный и синий смотрятся не слишком элегантно. Может быть, серый?..

— > Ни в одном американском доме серой мебели не увидишь, — сказала бабушка.

— *Тебе-то* откуда знать?

— Представь себе, знаю, — парировала бабушка. — Я же слышу, что люди говорят.

— Где? В треугольнике? Фрау Хомберг сообщила?

— Я бывала в разных домах.

— К примеру, в доме фрау Амалии Крюгер. Ну-

ка, вспомни, бабуля, когда ты была в настоящем американском доме?

— А вот была, была, — твердила бабушка.

— Бабуля, ну разреши мне покрасить мебель в серый цвет! Вот увидишь, получится гораздо красивее, — умоляла я; бабушка взмахнула правой рукой, давая понять: она сдается.

Неделю я мучилась, выбирая нужный оттенок, и в конце концов квартиру заполнили массивные и шаткие серые комоды, а бабушка слегла от волнений и запаха скипидара, особенно мучительного в августовскую жару.

Осенью Пауль женился на Сузе, сестре Дольфа, в Вене он с ней учился в одной школе. Они сняли в Бронксе квартиру. Мама переселилась в спальню бабушки, я осталась в гостиной одна и, как безумная, без конца передвигала там мебель. Когда из двух кушеток у меня получился, как мне казалось, симпатичный уголок, я своими руками сшила из мешковины два оранжево-красных покрывала. Бабушка, правда, говорила, что сидеть на них неприятно, такие они колючие. Купленный на распродаже датский кофейный столик тикового дерева ее тоже не устраивал: очень уж низенький, неудобно раскладывать пасьянс. Тогда мама перетащила в их спальню старый

кухонный стол, и с тех пор бабушка проводила там почти все время.

Мама подыскала себе место в пекарне на Бродвее, работать приходилось допоздна, и она купила бабушке огромный квадратный черный телевизор, чтобы та могла коротать у него долгие вечера.

— Этот симпатяга Либераче[106], он ведь еврей, да? — уточняла бабушка.

— Ой, бабуля, нет, конечно! Это итальянская фамилия.

— Думаю, все-таки еврей, — не сдавалась бабушка. — А вот этот… — она тыкала пальцем в экран: там ведущий представлял публике крошечную собачонку в балетной пачке, семенившую на задних лапках, — *этот* мне не нравится. Он антисемит.

— Дав его программе постоянно участвуют евреи, — возразила я. — С чего ты взяла, что он антисемит?

— Мне одного взгляда достаточно, — сказала бабушка.

— Но ты же ни слова не понимаешь из того, что он говорит. Как ты можешь судить?

---

[106] Примечания: 106

Владзи Валентино Либераче (1919–1987) — американский пианист, певец и шоумен.

— У меня на них чутье, — объяснила бабушка, помавая в воздухе правой рукой; этим жестом она отметала любые логические доводы.

В субботу бабушка сообщила:

— Фрау Хомберг рассказала мне про одну симпатичную молодую особу, они с ней раньше работали на швейной фабрике. Словом, эта женщина ходит в клуб на Бродвее, встречает там много очень приятных молодых евреев. Они слушают лекции, занимаются интересными вещами. Посещают студии разных художников, ездят на скотобазы, а летом устраивают пикники. Она даст мне адрес для Лоры.

— Не хочу я ездить на скотобазы и пикники с самыми распрекрасными молодыми евреями, — заявила я. — А вот ты, мамочка, — другое дело! Тебе необходимо хоть изредка выходить из дома.

— А я и хожу, — сказала мама. — Вот в прошлое воскресенье мы с твоей бабулей ходили к фрау Хомберг пить чай.

— Да уж! — подхватила бабушка. — Фрау Хомберг специально пригласила своего брата, он вдовец, а ты все время лялькалась с малышом Тони Лустига.

— Muttilein[107], согласись, малютка совершенно очаровательный, чего не скажешь про брата фрау Хомберг, с его писклявым голосом и вонючими сигарами.

— Мамуля, может быть, тебе стоило познакомиться с ним поближе? Вдруг он гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд, — поддержала я бабушку. — И у него, наверно, много знакомых. Надо же с чего-то начинать. У бабули, по крайней мере, есть телевизор.

— О бабуле можешь не волноваться, твоя бабуля все равно скоро умрет, — сказала бабушка и удалилась в спальню.

— Mutti! Лора! Я понятия не имею, куда тут можно пойти, — жалобно сказала мама.

— А клубы на что?! — у меня уже лопалось терпение.

Моя мама давно научилась не встревать в мои дела, а я так и не отвыкла давать ей советы.

После этого бабушка стала частенько уходить из дому одна. Осенью у Пауля родился сынишка, которого назвали Питером, и каждую неделю бабушка ездила в Бронкс с двумя пересадками на метро, а потом еще на автобусе.

---

[107] Примечания: 107
Мамочка (*нем.*).

Из конторы по связям с общественностью я вылетела с треском; такой славной работенки у меня больше никогда не было. Произошло это так: начальник-неврастеник положил передо мной лист бумаги с именем и номером телефона и попросил связать его с нужным ему человеком, а я в ответ сказала:

— Одну минуточку, только допишу абзац.

Я решила попытать счастья в промышленной графике. Меня наняли в крошечную заштатную студию работницей на все руки — ученицей, продавщицей, секретаршей и мойщицей бутылок в одном лице, — все за тридцать долларов в неделю.

— Ты меня держись, — посоветовал хозяин, — я из тебя сделаю дизайнера.

— Считаете, у меня талант?

— Насчет таланта не переживай. Главное, смотри в оба. Я сам тебе скажу, на что сейчас спрос. Ты у меня станешь дизайнером, не сомневайся.

У него, как я полагаю, было повышенное кровяное давление. Этот могутный краснолицый поляк по фамилии Полячек пребывал в твердой уверенности, что чем громче орешь, тем большего от людей добиваешься.

— Да ты гаркни на него! — взревел он, услышав,

как я, заикаясь от смущения, беседую с клиентом по телефону. — А теперь сядь и рисуй.

— Я думала, вы хотите…

— Не думай. Рисуй.

На помощь мне, когда босс отвернулся, пришла высокая статная девушка по имени Марджери: она научила меня смешивать краски; а ведущий дизайнер миссис Шапиро шепнула, что у начальника золотое сердце, у него просто голос громкий. Миссис Шапиро напоминала мою мать — тоже маленькая и кругленькая, с хорошей кожей и счастливыми глазами юной девушки. Иногда за ней заходил муж, тоже маленький, кругленький, с розовыми щеками и таким же счастливым выражением лица. Миссис Шапиро, чуть стесняясь переполнявшей ее нежности, рассказывала про двоих детей-подростков и про выжившую из ума свекровь, которая жила вместе с ними в маленьком домике в Квинсе. Как-то после работы я пошла следом за ней и пригласила ее выпить со мной чашечку кофе.

— Я за вами наблюдаю, — призналась я. — У вас такой счастливый вид, а я всегда утверждала, что счастливых людей не бывает.

В ответ миссис Шапиро пообещала принести

мне журнал «Вуманз оун»[108] за прошлый месяц. Там была напечатана статья о том, что нужно как можно больше отдавать другим людям, и счастье непременно к тебе вернется. У нее самой так было, добавила она.

Студия находилась на углу Бродвея и Сороковой улицы, в самом центре района, известного под названием «Швейный квартал», от него до «Перекрестка земных дорог» совсем недалеко. Той осенью в каждый обеденный перерыв я шла гулять по Бродвею, потом по Седьмой авеню, — потом на восток и обратно на запад. Постепенно я полюбила Нью-Йорк. Я уже давно перестала слать в Лондон пространные описания всего, что попадалось мне на глаза. Тем более что Англия ни разу на них не отозвалась.

Однажды Марджери пригласила меня сходить в субботу на танцевальный вечер Общества еврейской молодежи:

— Соглашайся: мне ужасно хочется пойти, но одна я точно не решусь.

Я поджидала Марджери на тротуаре возле одной из убогих гостиниц в дальнем конце Бродвея, и сразу заметила, что вид у нее испуганный. Она

---

[108] Примечания: 108

«Вуманз оун» (Woman's Own) — популярный британский женский журнал, издается с 1932 г.

призналась, что перед каждым танцевальным вечером ее рвет.

— Меня тоже! Каждое утро перед уходом на работу! — воскликнула я; это сходство роднило меня с ней. — Я все время боюсь, что нарисую что-то не так, как надо, и испорчу композиции Полячека.

— А меня рвет только перед танцами, — сказала Марджери. — Скорее, занимай вон те два стула! Чтобы мы не стояли столбом, если нас никто не пригласит.

Зал был большой, полутемный. В противоположном конце подпирала стену кучка парней; вдруг один от них отделился и, точно падающая звезда, через всю танцплощадку двинулся к нам. Я опустила глаза. Но его выбор пал на Марджери, и, пока он вел ее танцевать, она обернулась и беспомощно пожала плечами. Великолепно сложенная, она была на голову выше своего кавалера, плюгавца с лицом хорька; вызывающе яркий, просторный — на три размера больше нужного — пиджак прикрывал его узкие плечи и жалкую спину.

Какой-то тип с багровым щетинистым подбородком схватил меня за запястье и крутанул что есть силы, будто калитку, которую решил

захлопнуть. Глядя в пространство и собрав губы в трубочку, словно собрался насвистывать песенку, мой кавалер нацелился подбородком в мое плечо — ни дать ни взять Герцогиня из «Алисы в стране чудес». Мы закружились в танце. Я считала, что партнерам положено беседовать, и сказала, что впервые танцую в Америке, потому что росла в Англии, а потом преподавала английский в Доминиканской Республике. После чего спросила партнера, чем он занимается.

— Электрик я, — буркнул он.

Я ломала голову, что бы еще сказать, но тут музыка смолкла, он выпустил меня и ушел.

Плюгавец привел Марджери обратно и сел рядом; они вроде бы оживленно беседовали. Потом снова пошли танцевать. Передо мной опять вырос электрик, без единого слова схватил меня и прижал к себе. Он тяжело дышал, я чувствовала, как, наваливаясь на меня, он напрягается, и слегка отстранилась. «Но нельзя же всегда так», — мелькнула мысль, и я попыталась немного расслабиться. Партнер не заметил моих метаний; тем не менее я, видимо, ему подошла как партнерша, потому что после танца он назвал меня красотулькой и отошел, цокая языком.

В понедельник мы с Марджери встретились в

студии, и она рассказала, что партнер вызвался ее проводить, но в метро начал распускать руки. И добавила, что по субботам в нашем районе Манхэттена можно сходить потанцевать в другое место: там и народ собирается куда более симпатичный, много прихожан ближней синагоги. Но в субботу, когда мы с Марджери встретились возле двери в танцзал, на пороге возник плюгавец с лицом хорька; тут же, как из-под земли, вырос электрик и, крутанув меня за запястье, спросил в упор:

— Красотулька! Ты куда запропастилась в прошлую субботу? Ишь ты, красулька-красотулька эдакая.

Я отказалась танцевать с ним следующий танец, что означает, объяснила я Марджери, ссылаясь на авторитет Джейн Остин, что этот танец я уже не смогу танцевать ни с кем.

— Почему это? — удивилась Марджери. — Почему не пойти, если тебя пригласят?

Она сказала, что летом собирается поехать в «Гроссингер»[109], и добавила, что через неделю ей стукнет двадцать девять.

— Что такое «Гроссингер»? — спросила я.

---

[109] Примечания: 109

«Гроссингер» — курортный комплекс в Катскиллах, недалеко от Нью-Йорка, излюбленное место отдыха нью-йоркских евреев.

На Рождество мне позвонил человек, назвавшийся Доналдом. Ни имя, ни голос не были мне знакомы; говорил он невнятно, будто у него насморк. На ум пришел только один мужчина — электрик; я испугалась.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Что же вы звоните, если даже не знаете, как меня зовут?

— Я твой номер наугад набрал, — признался он. — Рождество же, вот я и выпил чуток. Не пьян, а так, под градусом. Не хочешь сказать, как тебя зовут, и не надо. Но хотя бы поговорить со мной минутку можешь?

— Ну, могу.

— У тебя очень приятный акцент. Ты не американка, да?

— Я из Вены, — брякнула я, испугалась, что сказала лишнее, и все же добавила: — Но росла я в Англии.

— Я тоже беженец, — сказал собеседник. — Из Сан-Франциско. Разреши мне иногда позванивать тебе, ладно? Просто поговорить. Скажем, раз в две недели?

— По-моему, лучше не надо. Все равно, желаю вам счастливого Рождества. До свиданья.

До свиданья, — отозвался он. — Бывай.

Я еще прижимала к уху трубку, когда в ней раздались гудки.

В тот год мне казалось, что весь город состоит из плохо освещенных каморок, и в одной из них сидит у телефона мой хмельной собеседник, точь-в-точь как моя бабушка, которая коротала в спальне у телевизора долгие зимние вечера; виделись мне и бесчисленные танцзалы, где мужчины подпирают стены и сидят похожие на Марджери девушки, которых выворачивает наизнанку перед тем, как они отправляются на танцы заводить знакомства. В те дни меня рвало не только утром перед работой, но и субботними вечерами, если я никуда не шла. Однажды стошнило, когда пришло письмо из Англии, но часто — без всякой причины.

У меня шел нескончаемый спор с миссис Шапиро. Я пыталась убедить ее, что, *в сущности,* она вовсе не счастлива.

— Просто у вас бывают мгновения, даже часы, когда вам кажется, что вы *ощущаете* себя счастливой.

На что миссис Шапиро говорила, что обдумала мои слова, но все же не обнаружила в душе никаких признаков того, что она, в сущности, несчастна.

* * *

В мае я с наслаждением рассорилась с мистером Полячеком, бросила студию и поступила на новую работу с зарплатой в шестьдесят долларов в неделю.

А в июле познакомилась с Клэр. Когда автобус номер пять, кренясь на повороте, свернул на идущую к реке Семьдесят вторую улицу, она обернулась ко мне и сообщила, что она актриса, только что приехала из Рима, где ей предлагали главную роль в фильме «Горький рис»[110], но ее двоюродный брат Витторио де Сика[111], объяснил, что ей было бы очень полезно поработать в Голливуде, вот она и приехала. Рядом стоял ее чемодан, через руку был перекинут плащ. Прическа у нее была девчоночья, — лоб открыт, волосы до плеч, а главное — прекрасное лицо, без малейшего намека на косметику.

— Вообще-то я англичанка, — сказала она, и я очень обрадовалась; правда, сначала мне показа-

---

[110] Примечания: 110

«Горький рис» — итальянский фильм 1949 г. режиссера Джузеппе де Сантиса.

[111] Примечания: 111

Витторио де Сика (1901–1974) — итальянский режиссер и актер, одна из ключевых фигур итальянского неореализма.

лось, будто в ее английской речи промелькнуло гортанное «р», которое свойственно жителям Центральной Европы и очень похоже на мое собственное.

— Мне уже три года не доводилось разговаривать с настоящим англичанином или англичанкой! — сказала я. — А ведь я полжизни прожила в Англии.

— Пошли ко мне. Дом где-то тут, рядом.

Мы двинулись к Вест-Энд-авеню, и по дороге Клэр рассказала, что один знакомый художник предложил ей пожить в его комнате.

— Мы случайно разговорились в римском аэропорту: он улетал в Грецию и, услышав, что я лечу в Нью-Йорк, отдал мне ключи от квартиры.

В пустой раскаленной солнцем комнате стоял прогорклый запах постного масла. Всей обстановки — только холодильник и тахта, покрытая алой махровой накидкой. Клэр, даром что пышка, раскинулась на тахте с умопомрачительной грацией, не забыв прихватить телефон, по которому она тут же позвонила и попросила позвать Элию Казана[112].

— Загляни-ка в морозильник, — сказала она

[112] Примечания: 112

Элия Казан, наст. имя Элиас Казанджоглу, (1909–2003) — американский режиссер театра и кино.

мне, прикрыв трубку ладошкой. — Он говорил, там есть пачка мороженого.

Элия Казан куда-то вышел; Клэр оставила свои имя, фамилию и номер телефона.

— Надо непременно свести тебя с ним, — сказала она. — Как только немножко разживусь деньгами, устрою вечеринку.

— Где ж ты познакомилась с Элией Казаном? — спросила я.

— Еще не познакомилась, — ответила Клэр. — Хочу, чтобы он дал мне какую-нибудь рольку, на эти деньги я смогу добраться до Голливуда. Витторио приедет туда только осенью.

Затренькал телефон. По отрывочным фразам Клэр я поняла, что звонит приятель хозяина комнаты.

— В Греции, — сказала Клэр. — Вернется не раньше сентября. Все равно приезжай, можешь заночевать здесь. И если не трудно, купи по дороге чего-нибудь съестного, ладно? У меня тут подружка, и мы с ней уже приканчиваем мороженое…

Повесив трубку, она задумчиво сказала:

— По-моему, у него нет денег на гостиницу. И вообще, я сторонница свободной любви, а ты?

— Я? Ну да, конечно, — сказала я, зачарованная

этой глобальной свободой отношений во всем — от ключей и еды до постели, но, по моим ощущениям, мне там места не было. Я встала.

— Куда это ты собралась? А вдруг он тебе понравится? И потом, у него, наверно, много знакомых в городе, — сказала Клэр, беззастенчиво наступая на мою самую больную мозоль. — Тебе нужно идти? Позвони мне как-нибудь.

Но в субботу вечером, за целых три дня до того, как, по моим расчетам, было бы прилично позвонить Клэр и пригласить ее на чаепитие по-английски, она позвонила сама и позвала меня на вечеринку, которую устраивали два студента-пакистанца с ее этажа. «Возможно, они тебе понравятся», — завершила она разговор.

— Уже десятый час, — заметила бабушка. Куда я иду, она уже не спрашивала. — Хотелось бы знать, когда твоя мама явится домой.

— Как всегда, бабуля. В четверть двенадцатого.

— Ты деньги взяла? А ключи?

— Бабуля, с десяти лет я ухожу из дома и возвращаюсь совершенно самостоятельно. А сейчас мне уже двадцать шесть.

— Потерпи, я скоро умру, — сказала она. — Докучать тебе буду недолго.

Она удалилась в свою комнату и закрыла дверь.

С того вечера она больше никогда не провожала меня к выходу и не спрашивала, захватила ли я все, что нужно. Помню, что мне этого не хватало.

Дверь открыл очень смуглый, очень молодой человек с необыкновенно большими удлиненными глазами, весь какой-то томно-расслабленный, в розовом полиэтиленовом фартуке. Клэр помогает готовить карри, объяснил он и провел меня через комнату, где весело болтала молодежь, в кухню. Жара там была тропическая.

Взгромоздившись на рифленую доску для сушки посуды, Клэр заглядывала на верхнюю полку шкафа. От раковины поднимался пар, и казалось, что прелестная головка Клэр плавает в белых клубах под самым потолком.

— Это моя подруга Лора, — сказала она. — Лора тоже англичанка. А это — Абдулла Шах, — и она указала на другого мужчину, не столь смуглого, не столь восхитительно высокого и молодого. Абдулла что-то помешивал в горшочке. — Бедные ребята, у них нет посуды. Завтра, Мухаммад, — обратилась она к юноше, который привел меня на кухню, — завтра мы с тобой сходим в «Вулворт».

Мне стало ясно, что дивный юноша предназначен Клэр, а меня пригласили для Абдуллы. Он взглянул на меня и произнес с безупречным

оксфордским акцентом:

— Здравствуйте, как поживаете?

Потом я сидела на полу рядом со студентом из Израиля и его девушкой-венгеркой, ела чудовищно острое блюдо, щедро приправленное карри, и судорожно глотала воздух, чтобы охладить пылающее горло. Вошел Абдулла с тарелкой в руке и сел на стул за моей спиной. Он ел молча, сосредоточенно, однако я чувствовала, что он прислушивается к разговору, и разразилась цветистой тирадой, бичующей американскую текстильную промышленность.

— Она же целиком ориентируется на прибыль. Сейчас якобы год сюжетных рисунков на темы древнего Рима. Если на прошлой неделе хорошо продавались ткани с гладиаторами на фоне акведука, в трех основных тонах: розовом, морской волны и черном, значит, на этой неделе появятся рисунки колесниц на фоне Колизея, в тех же тонах — черном, розовом и морской волны.

Краем глаза я видела, что Абдулла зевнул, поднялся и понес тарелку на кухню. Однако вскоре вернулся, стал сзади меня и сказал:

— Пошли.

У выхода нас перехватил толстый молодой индиец.

— Куда это ты отправился? — спросил он. — Нам же надо о деле поговорить.

— Тогда идем с нами, — неохотно предложил Абдулла. — Здесь слишком жарко.

— Я хотел рассказать про те стиральные машины, — начал толстяк, и мы втроем зашагали по неосвещенной дорожке вдоль Риверсайд-драйв. С одной стороны чернели деревья, с другой тянулись заполненные людьми скамейки, в темных уголках целовались парочки; на одной лавке, растянувшись во весь рост, спал старик; выбрав местечко под фонарем, студент читал книгу. Пожилая чета прогуливала двух маленьких собачек, и до меня долетели слова жены: «Grauslich heiss» (жуткая жара); какой у нее до боли знакомый австрийский выговор, подумала я, шагая между двух выходцев с Востока.

— Так вот, у моего знакомого есть приятель, у него прачечная с такими машинами, и он огребает по двести сорок долларов в неделю чистыми.

— Неплохо, — отозвался Абдулла.

— Но ему срочно нужны деньги. Он готов продать дело по дешевке, за пять тысяч долларов, на две тысячи меньше, чем мог бы взять.

На некоторое время повисло молчание.

— Выходит, нам нужно три тысячи долларов.

— Небо-то какое розовое, — заметил Абдулла, подняв глаза.

— Розово-фиолетовое. Я сразу заметила, — поспешила вставить я.

— Похоже, мы переборщили с карри, — Абдулла вздохнул.

— Ну, я, пожалуй, вернусь на вечеринку, — сказал заметно повеселевший индиец. — По-моему, это предложение не лишено смысла. Обмозгуй его и звякни мне.

— Ладно, договорились. Спокойной ночи.

— «Спрай» для жарки. «Спрай» для выпечки. Спасу нет от мерзкой рекламы, — сказала я.

— Зато небо от нее приобретает прелестный розовато-фиолетовый оттенок, — сказал Абдулла. Он зевнул и извинился: — Не помню, когда последний раз нормально спал. С самого приезда в Нью-Йорк живу на износ: целыми днями бесплатно вкалываю на радиостанции «Голос Америки»; вечером устраиваю вечеринки, но друзей как не было, так и нет. Каждый год получаю очередной никчемный диплом. Приехал сюда с оксфордским дипломом бакалавра по английскому языку и литературе, уже здесь получил степень магистра по геологии в Мичиганском университете, а

сейчас в Колумбийском университете[113] пишу докторскую по политологии…

— Прекрасно, но я все же спрошу: зачем?

— Потому что приехал по студенческой визе, и, если хотя бы на полчаса перестану учиться, меня отправят на родину.

— И что — это очень плохо?

— Ужасно. Я живу на чужбине уже одиннадцать лет — еще азиат, но уже на западный манер. Заведи я дома такой же разговор, как сейчас с тобой, меня просто не поняли бы. А ведь у меня там семья. Пакистанские женщины просто невыносимы.

— А американки?

— Они — прелесть, — Абдулла сдержанно усмехнулся, должно быть, мысленно перебирая свои романы.

Он позвонил на следующий вечер и попросил разрешения зайти после лекций.

— Как?! В такую поздноту? Уже десять часов вечера! — возмутилась бабушка. (К Абдулле и его неурочным визитам она не сменила гнев на милость и впоследствии.)

Он захватил с собой книгу, которую ему необ-

---

[113] Примечания: 113

Колумбийский университет города Нью-Йорка — один из известнейших университетов США.

ходимо было прочесть для курсовой работы (срок сдачи прошел две недели назад!), и попросил меня проконспектировать ее. Абдулла знал, что делает: чем больше сил я на него тратила, тем сильнее к нему привязывалась.

Клэр стала неотъемлемой частью студенческой общины; она заполнила кухонные полки пакистанцев посудой, а холодильники — едой, которую сама готовила и вместе с ними ела. Потом «Элия» пригласил ее на ужин в «Сарди»[114], где она познакомилась с неким «Харолдом» — он жил в Стратфорде и был фантастически богат.

— Он от меня без ума, а его зять в Шекспировском театре очень важная птица, — рассказывала она.

— Думаешь, Харолд тебя осчастливит?

— В восемьдесят три года? Где ему, бедняжке, сама понимаешь… Но я его обожаю; он хочет пристроить меня в труппу на следующий сезон. И зимой я смогу жить в его доме.

Клэр собрала чемодан, сняла с вешалки плащ и заняла у Абдуллы денег на билет — Мохаммад сидел без работы, поскольку с головой ушел в изучение кинопроизводства, — и мы всей компа-

[114] Примечания: 114

«Сарди» — фешенебельный ресторан, расположенный в так называемом театральном районе Нью-Йорка, близ Бродвея.

нией поехали на автовокзал.

— А как твой двоюродный брат относится к таким планам? — спросила я.

— Какой двоюродный брат? У меня нет родственников.

— Мне кажется, ты упоминала Витторио де Сика… — промямлила я и смолкла. Кровь бросилась мне в лицо: внезапно все многочисленные мелкие неувязки в увлекательных рассказах Клэр разом получили объяснение.

— А, Витторио де Сика! — воскликнула Клэр. — Так он же в Голливуде.

Когда я упомянула имя из грез, которым она предавалась на прошлой неделе, Клэр удивленно уставилась на меня: она уже с головой ушла в настоящее. Расцеловавшись поочередно с Мохаммедом, Абдуллой и мной, она помахала нам изящной ручкой и, роняя теплые слезы, укатила из моей жизни точно так же, как и ворвалась в нее, — на автобусе.

Примерно в это время я сделала неутешительное умозаключение: мало того, что американская школа дизайна никуда не годится, но и я — никудышный дизайнер. К этому выводу я пришла, строго и придирчиво наблюдая за пером в моей руке: оно оставляло на бумаге такие безнадежно

избитые линии и образы, что им не светил даже коммерческий успех, а все потому, что душевный конфликт мешал мне профессионально овладеть ремеслом. Я оставила попытки «творить» и стала оттачивать навыки раппорта[115], которые лежат в основе рисунка по ткани. Когда изначальный рисунок художника гравируется на валиках, которые затем будут переносить его на ткань, он должен лечь так, чтобы его верхняя точка практически без зазора соприкасалась с нижней. Хотя я так и не набила руку и меня пугало каждое новое задание, я все же стала работать по заказам, и мне уже удавалось выкраивать несколько часов в день на писательство.

Осенью я поступила в Нью-Скул[116] на курсы для начинающих писателей. Никто из собравшихся за длинным столом мне не показался особо умным, но уже на первом занятии каждый выступил небанально, по-своему, и со временем все оказались весьма незаурядными людьми. В нашей группе была пара, Херб и Луиза, — оба светловолосые и очень высокие. Они неизменно

---

[115] Примечания: 115

Раппорт — повторяющаяся часть рисунка на ткани, обоях и т. п.

[116] Примечания: 116

Нью-Скул («Новая школа») — известный современный университет в Нью-Йорке.

садились рядом и смотрели не столько друг на друга, сколько в пространство, и на меня поглядывали очень приязненно. После того как я прочитала в классе свой рассказ, они пригласили меня в следующий четверг поужинать с ними до занятий. Мы пошли в мексиканский ресторан в Гринвич-Виллидж, и я забросала их вопросами.

— Представляете, за все время, что живу в Нью-Йорке, впервые ужинаю с настоящими рядовыми американцами, — призналась я.

На что Луиза сказала, что специально приехала в Нью-Йорк из городка, затерянного в штате Индиана, чтобы не приходилось каждый божий день ужинать с самыми настоящими американцами.

Херб, родившийся и выросший в том же городке, предложил:

— Раз Лора мечтает поближе узнать американцев, свози ее на следующий год к себе и познакомь с родней.

— Ой, как было бы здорово! — обрадовалась я. — А то в Нью-Йорке я если и завожу знакомства, то лишь с пакистанцами, индийцами и венграми, а также с израильтянами, немецкими и австрийскими евреями.

— Пакистанцы, индийцы и евреи! — с почте-

нием повторили Херб и Луиза. — Вы должны устроить вечеринку и познакомить нас с ними.

На занятиях, пока не пришел преподаватель, я разглагольствовала о недавно обнаруженном у себя изъяне — неспособности постичь Америку — исключительно ради старшего из сокурсников, негра средних лет по имени Картер Байю. Его могучее сложение и молчаливость привлекали внимание. Через неделю Картер пригласил меня поужинать с ним после занятий:

— Мы пойдем в одно местечко, где играют джаз, и я прочту тебе вводную лекцию про Америку и американцев. А учитель я отменный.

Он позвонил на следующий же день.

— Мы с тобой договорились на грядущий четверг, и оба забыли, что это — День благодарения, так что занятий не будет.

— Я не забыла. Я про это знать не знала.

— Ты разве не будешь праздновать вместе с семьей?

— Мы больше ничего не празднуем. Ни Рождества, потому что мы евреи, ни еврейских праздников, потому что на родине мы были ассимилированными австрийцами, ни австрийских праздников, потому что нас оттуда выгнали взашей как евреев, а отмечать американские

праздники мы еще не научились.

Помолчав, Картер сказал:

— А мне просто не с кем праздновать, так что давай гульнем вместе.

В ресторане Картер сказал официанту:

— Мы с моей дамой решили гульнуть, потому что сегодня — День благодарения. Ты что будешь? — обратился он ко мне.

— По-моему, у нас нет выбора. Наверно, индейку?

— Пожалуйста, ешь индейку. А я возьму Tournedos de Boeuf[117].

— Тогда я тоже, хоть и не знаю, что это такое.

— Два Tournedos de Boeuf, а еще принесите-ка нам бутылку шамбертен 49-го года, — сказал Картер официанту.

— Ты обратил внимание на жуткий плакат: краснолицая индейка в ужасе бежит от оголодавшего пуританина, замахнувшегося на нее огромным ножом? — спросила я. — Вот тебе и День благодарения.

Картер смотрел на меня, широко раскрыв блестящие карие глаза — так широко, что веки уже не прикрывали радужку. Он молчал, видимо,

---

[117] Примечания: 117
Говяжье филе, нарезанное кусками (*фр.*).

ожидая продолжения.

— Я стеснялась тебе признаться, — сказала я, — но мне очень, очень понравился твой рассказ про негра-журналиста, который женится на белой женщине-психиатре. Сильная вещь, подумала я.

— А еще ты подумала, что раз я негр и рассказы мои полны горечи, мы с тобой уютно посидим здесь, высмеивая День благодарения. Видишь ли, я все же американец. Во всяком случае, никем другим быть не могу, — говорил Картер, пронизывая меня, точно копьем, своими немигающими блестящими глазами. Кровь бросилась мне в лицо, застучала в висках, потом отхлынула, и мне показалось, что мы вышли из отлива вместе и мой первый урок окончен. — Хотя я заказываю французскую еду и вино, — продолжал Картер, — в этом нет ни капли злости, наоборот — нежность и отчасти бравада, очень свойственная американцам. Меня глубоко трогают и Рождество, и День благодарения, а если на праздник я и хлебну лишнего, то исключительно от одиночества. Я расстался с негритянским миром, женившись на белой женщине; заметь, на женщине, но не на мире белых. Позже я с ней развелся.

— Это очень похоже на историю моего приятеля-пакистанца, — сказала я. — Он прожил в

Америке одиннадцать лет, и теперь он уже не азиат, но все-таки и не западный человек.

— Нет, — возразил Картер, — совсем не похоже. В отличие от твоего приятеля, я отнюдь не порвал с родной культурой или, подобно тебе, с родной страной. Я одинок, но по-особому, по-американски. Когда ты сказала, что у тебя не осталось праздников, так что и отмечать нечего, твои слова меня глубоко тронули.

Я воззрилась на него. Ведь когда я говорила о том, что мы не отмечаем праздников, я, в общем-то, даже кичилась этой «свободой». Теперь же, неожиданно для себя, я растрогалась.

— Это и правда грустно. Моя мама работает в пекарне, и сейчас они там сбиваются с ног — это для них один из самых тяжелых вечеров в году; а моя бабушка смотрит телевизор, но не понимает ни единого слова.

— В таком случае давай принесем твоей бабушке цветов, — предложил Картер.

— Боюсь, она сочтет это расточительностью.

— Пускай, для этого мы ей их и подарим, — сказал Картер.

Я шла домой с опаской — кто его знает, как бабушка отнесется к этому дородному, немолодому темнокожему великану, но она поднялась

с кресла и, принимая букет мелких желтых роз, вежливо склонила голову, как было принято совсем в другую эпоху. Она даже попыталась завести беседу.

— Либераче. Spielt wunderbar[118], — сказала она, указывая на телевизор.

Картер посмотрел на меня.

— Она каждую неделю смотрит этот кошмар, — объяснила я. — И приговаривает: «Бог свидетель, он чудесно играет».

Картер повернулся к бабушке:

— Прекрасно, чудесно! — воскликнул он, перебирая пальцами невидимые клавиши и ритмично кивая головой.

Наконец-то бабушке встретился человек, с которым она могла поговорить.

— Либераче ist ein nobler Mann[119] (что по-английски означает «джентльмен»). Он всегда очень вежлив — совсем не то что те молодые люди, которые танцуют днем. Я их все-таки смотрю, но манеры у них плохие, — по-немецки сообщила бабушка Картеру.

Картер продолжал кивать и улыбаться. Ба-

---

[118] Примечания: 118
Чудесно играет (*нем.*).

[119] Примечания: 119
Благородный человек (*нем.*).

бушка застенчиво улыбнулась и тоже покивала головой. Когда он ушел, она и его назвала благородным человеком.

Через неделю я устроила вечеринку, радуясь, что в Нью-Йорке у меня уже немало знакомых и гостиная пустовать не будет. Бабушка твердила, что носа не высунет из своей комнаты, но все же нарядилась в лучшее шелковое платье и при каждом звонке во входную дверь выглядывала в коридор. Когда приехал Картер, она вышла из своей комнаты и, стоя у притолоки, с улыбкой кивнула ему, но Картер был заметно расстроен и взвинчен; не обратив внимания на мою бабушку, он прямиком направился в шумную, заполненную людьми гостиную.

* * *

Помню, в Вене, еще ребенком, я часто заходила в отцовский Herrenzimmer, усаживалась на сине-голубой напольный ковер и, не спуская глаз с часов в футляре красного дерева, пыталась ухватить рукой маленькую стрелку, медленно ползущую от одной цифры к следующей, но у меня ничего не получалось. Изредка, всегда случайно, мне все же удавалось поймать этот зримый часовой скачок во времени. Как-то, взглянув

на себя в зеркало, я заметила, что рядом с округлившейся щекой мой нос, по-прежнему длинный и острый, выглядит иначе. Благодаря Абдулле и течению времени в моих глазах за очками уже нет той острой тревоги, за которой скрывалось отчаяние. И тогда же я заметила, что бабушка моя резко постарела.

— Ничего удивительного, она же болела, — втолковывала я маме, перехватив ее взгляд на бабушку. — Через недельку бабуля оправится, и все будет, как прежде.

Однако бабушка заметно съежилась, движения стали более скованными — будто она экономила силы.

— Твоя мама придет с работы, она и сготовит ужин, — говорила она.

— Ты поедешь в Бронкс? — спросила я бабушку, когда у Пауля родился второй ребенок, Джон.

— Может, на той неделе съезжу, — ответила бабушка.

— А почему тогда ты надела шелковое платье?

— Скоро выступает Либераче.

— И что?

— Он же всегда выходит только в смокинге, — пояснила бабушка, повернула ручку телевизора, села перед ним в кресло и заулыбалась: на экране

появился Либераче, наигрывая музыкальную заставку к своей программе. Камера крупным планом, во весь экран, показала его физиономию с неизменной улыбочкой. Я с ужасом увидела, что бабушка, подняв руку, машет любимцу пальчиками.

— Бабуля, ты хоть знаешь, где сейчас Либераче? В Калифорнии. А Калифорния где, знаешь? За тысячу километров от Нью-Йорка.

— Но я же его вижу, — сказала бабушка.

— Ты ведь бывала в кино, да, бабуля? И видела, как фигуры движутся по экрану.

— Но он улыбается *мне*.

— Бабуля, он в камеру улыбается. Неужели ты не понимаешь? Человек стоит перед камерой и улыбается в объектив.

— А камера-то где?

— Нигде. В Калифорнии.

— Поди-ка сюда, Лора! Стань за мной. Видишь, он смотрит прямо на меня, — бабушка улыбнулась и кивнула Либераче.

— Сделай одолжение, бабуля. Подойди сюда на минутку. Ну пожалуйста!

— Я слишком устала.

— Ладно, тогда я просто разверну телевизор. Ну, гляди! Разве в этот ящик человек влезет? Бабуля!

А представь себе рояль!

— Разве ты сегодня не идешь куда-нибудь с Абдуллой? — поинтересовалась бабушка.

— Да я уже год с ним не встречаюсь. Где телепрограмма? А, вот: «Либераче». Смотри, что в скобках написано: «фильм». Значит, он и в Калифорнии не живьем выступает. Программу сняли много дней, может, даже много месяцев назад.

После этого случая я заметила, что бабушка больше не смотрит телевизор.

— Включить тебе телик, бабуля? Скоро начнется программа Либераче.

Бабушка молча подняла правую руку и отмахнулась. Ей уже было все равно.

— Он тебе больше не нравится?

— Он же на пленке, — проронила она.

— Бабуля, давай пройдемся до треугольника?

— Одеваться неохота. Может, завтра?

— Пошли, бабуля. Надо же иногда выходить из дому. Хочешь поехать к Паулю, полюбоваться на его мальчиков? Я поеду с тобой, хочешь? Сейчас принесу тебе шелковое платье. Ну, давай же, бабуля.

Бабушка медленно поднялась с кресла и сказала:

— Я скоро умру. Чего я жду?

— Я тоже умру. Как и все люди, — заметила я.

Такие разговоры я считала проявлением свойственного бабушке негативизма. Других объяснений я даже не рассматривала. И еще я заметила, что на улице, дожидаясь зеленого света, она куда внимательнее меня смотрит на светофор и осторожно ступает с тротуара на полную опасностей проезжую часть, — хотя я рискую больше: она-то жизнь, можно сказать, прожила.

Мы взяли такси.

— Я тут думала о Боге, — вдруг сказала бабушка.

— О чем-о чем? Ты что, бабуля, веришь в Бога?

— Бог… — задумчиво произнесла бабушка, смолкла и тряхнула правой рукой, как бы отмахиваясь от него.

Пауль исхудал, вид у него был усталый. В начале года он бросил работу по уходу за животными в исследовательском центре и нашел другую — в магазинчике одного нумизмата, где должен был разбирать и сортировать монеты. Дело это требовало большой дотошности, не слишком его интересовало, поэтому с обязанностями Пауль справлялся плохо, и хозяин лавочки на него покрикивал. Дома бойкие сыночки — старшему было четыре, младшему три — тоже не давали

покоя. Питер крутил ручку телевизора, беспрестанно включая и выключая его, а маленький Джон, как заводной, крутился вокруг своей оси. Бабушка не понимала ни слова из того, о чем по-английски щебетали ее внуки, и откровенно обрадовалась, когда пришло время возвращаться домой.

Мы зашли в детскую попрощаться; Пауль сидел между кроватками сыновей и, подыгрывая себе на миниатюрной мандолине, купленной на пятом этаже универмага «Мейси», пел малышам песенку, которую перевел для них с немецкого языка на английский:

По Гудзону плавает
Веселый крокодил
И хвостом виляет,
Что хватает сил.
Не мешай веселью,
Не бери ружье.
Купи-ка лучше булку
Да угости его.

Время от времени он откладывал мандолину в сторонку, за отсутствием открывалки продавливал пальцами две треугольные дырки в

воображаемой банке с пивом и из дыры, что побольше, делал глоток освежающей пенистой фантазии.

Однажды я принесла домой новый заказ и направилась прямиком к чертежной доске, которая теперь постоянно стояла в гостиной. Развернув принесенный лист, я вгляделась в замысловатое переплетение синих и малиновых линий с такой опаской и отвращением, что даже не обернулась, когда следом за мной в комнату вошла бабушка, лишь бросила: «Привет, бабуля!», хотя меня удивило, что она остановилась за моей спиной. Бабушка давным-давно перестала встречать меня в прихожей. Вскоре до меня дошло, что она ушла. Я поспешила в ее спальню. Она сидела на стуле перед безмолвным телевизором.

— Бабуля, ты сготовила ужин или хочешь, чтобы я им занялась? Мамочка ведь придет поздно.

— Сготовь ты, — сказала бабушка.

Когда я принесла еду, бабушка сидела в той же позе.

— Бабуля, может, лучше развернуть стул? А, бабуля?

Она положила правую руку на край стола, как будто хотела на нее опереться, но продолжала сидеть.

— Бабуля!

Бабушка медленно поднялась со стула, да так и осталась стоять.

— Повернись, бабуля. — Я пододвинула ей стул, она опустилась на него. — Ты есть будешь?

Она взяла в руку вилку, но ко рту не поднесла.

— Бабуля, тебе нехорошо?

Ее правая рука дернулась — жалкое подобие ее привычного жеста, выражающего отказ и смирение. Я спросила, не хочет ли она прилечь, она ответила: «Хочу» — и, опершись на меня, двинулась к кровати, но шла так медленно, точно забыла, как переставляют ноги. Я ее разула, но у бабушки не было сил поднять ноги на кровать. Я позвонила маме; к ее приходу бабушка лишилась речи. Мама вызвала врача.

Мама отпросилась с работы и стала ухаживать за бабушкой. Речь к ней вернулась, но, казалось, она не находит темы, ради которой стоило бы напрягаться, и отказывается от еды, потому что ее надо пережевывать. Тем не менее вскоре она стала садиться в кровати, а спустя неделю уже вставала, но ходить не могла, с трудом, волоча ноги, делала несколько шажков.

— Ты же не можешь с ней сидеть неотлучно, — втолковывала я маме. — На работе это терпеть

не станут.

— Знаю.

— И вообще, это ненормально, что ты тратишь жизнь на уход за больными — сначала за папой, потом за профессором Шмайдигом, потом за дедулей, а теперь вот за бабулей…

— Знаю, — повторила мама.

Лицо у нее пылало. Глаза казались больше обычного от навернувшихся слез, и вскоре они ручьями потекли по щекам.

— Я, конечно, по большей части сижу дома, но время от времени мне приходится ездить за новым заказом, потом отвозить его, и как мне быть? Ее ведь нельзя оставить ни на минуту.

— Нет-нет, — сказала мама. Ты так жить не сможешь. Придется отдать ее в дом престарелых.

— Мамочка, ей будет совсем не плохо, — убеждала я маму. — Там вышколенный, опытный персонал, вокруг — старики. Там ей одиночество не грозит.

— Это верно, — согласилась мама, продолжая плакать.

Раз в неделю я ездила навещать бабушку. Особняк из буроватого песчаника, переоборудованный в дом престарелых, находился в двух шагах от западной границы Центрального парка.

Бабушка обычно сидела в кресле возле кровати. Я усаживалась рядом, разглядывала обои с зелеными и желтыми хризантемами и червеобразными зелеными листочками по серому фону, ища стыки в повторяющихся рисунках.

— Ну, как? Вам тепло? — спрашивала чернокожая грузная няня у миссис Келли — та в дикую августовскую жару напялила на себя два свитера, ноги обернула в пальто и никому не давала приблизиться к закрытому окну. Сунув последнюю ложку яблочного пюре в раскрытый рот бабушкиной соседки с младенчески-розовым лицом, негритянка похвалила:

— Золото, а не бабка. Никогда никому не досаждает. Не то что вы, миссис Манкевиц. Ишь, разгулялась, сумасбродка этакая! Ну-ка, прикройся! — скомандовала она, обращаясь к умиравшей от диабета старухе, и подоткнула ей одеяло. — А вы как сегодня себя чувствуете? — обратилась она к бабушке и погладила ее по голове.

Как только няня отвернулась, бабушка презрительно поморщилась и сказала:

— Она не понимает ни единого слова из того, что я ей говорю. Зато ночная няня — немка. Тоже мне, Америка! — Она обвела глазами палату, и ее взгляд остановился на миссис Манкевиц. Та,

снова откинув простыню и одеяло, болтала в воздухе тощими обрубками ампутированных по колено ног. — Ничего хорошего в Америке нет.

— До свиданья, бабуля, — попрощалась я. — У меня на Риверсайд-драйв свидание с другом. — Бабушка ни о чем не спросила, и я продолжила: — Его зовут Дэвид.

— Приходи поскорее, — сказала она.

До сих пор этот угол Семьдесят четвертой улицы будоражит мне душу, от непролитых слез ноет лоб. Со вздохом облегчения я вышла из дома престарелых и радостно смотрела на город, изнемогавший в послеполуденном пекле. За моей спиной пышно зеленел Центральный парк, юная девица переходила Коламбус-авеню, поводя худыми плечиками и шурша пестрой юбкой, расписанной оранжевыми, черными и бирюзовыми галерами на фоне пирамид. Я вздрогнула: рисунок показался знакомым, и я даже прошла следом за девчонкой целый квартал, чтобы получше его рассмотреть… Да, только моя рука была способна так коряво закруглить нос галеры — ну конечно, это был тот самый «сюжетный» рисунок из древнеегипетской серии, за которым последовала древнеримская серия, ткань, несомненно, была расписана в тот единственный год,

когда я работала в студии Полячека.

Я свернула на Амстердам-авеню, сбитая с толку внезапно нахлынувшей тоской, в которой смешались давно знакомые мне одиночество, стыд, подступающая тошнота. Дожидаясь зеленого света на углу Бродвея, я заглянула себе в душу, пытаясь понять, что *теперь-то* со мной не так. Краем глаза заметила большой шатер перед отелем Х. и во всех подробностях вспомнила скупо освещенный танцевальный зал и себя, сознательно, в порядке опыта, томно-податливую в объятиях электрика, зануды и хама. В Нью-Йорке полно моих воспоминаний о прошлом и не меньше — моих набивных рисунков на ткани, которые разгуливают по его улицам: к примеру, на Пятьдесят седьмой есть контора по продаже автомашин, у ее хозяина та же фамилия, что и у редактора, отвергнувшего мой первый рассказ, и всякий раз, проезжая на автобусе по Пятой авеню, я вижу на вывеске эту фамилию и испытываю неловкость, теперь уже совсем слабенькую, так что даже не задумываюсь о ее причине. Только когда наше прошлое впитается в улицы, в стены домов, в самый воздух Нью-Йорка, вот тогда, мне кажется, мы из чужаков превращаемся в граждан этой страны.

На светофоре вспыхнул зеленый свет, я пересекла Бродвей. На Вест-Энд-авеню меня овеял ветерок с реки, и я увидела Дэвида, он махал мне рукой с лавочки под разросшимися деревьями.

Бабушка умерла ночью накануне восемьдесят первого дня рождения; похоронили ее на огромном кладбище в Нью-Джерси. Мама живет одна на Сто пятьдесят седьмой улице. Мы с Дэвидом поженились и переехали в квартиру в Манхэттене. Подобно собачонке, которая крутится волчком, вырывая подходящую по размеру ямку, я бегала по антикварным магазинам, пока не отыскала обеденный стол английской работы — восемнадцатый век, с откидной доской.

— А ты не боишься, что стол времен королевы Анны будет не вполне уместен на Вест-Семьдесят второй улице? — спросил Дэвид.

— Боюсь, — ответила я, — но пусть будет, он мне необходим.

Так мы начали жить своим домом.

Я все время смотрю, что происходит вокруг. Война идет, но пока что холодная и за океаном. Из моих родных никто сейчас не болеет, каждый день я улучаю несколько часов и пишу, и у нас есть друзья. Мой муж тоже еврей, но он родился в Америке, и ту пору жизни, в которую мы

вступили, он принимает без тревоги, как должное. Другое дело я: теперь я примерно в том же возрасте, что и мама, когда в Австрию пришел Гитлер, у меня самой растут дети, поэтому я не без удивления и опаски хожу по острову, давшему мне все блага, и не забываю, что со всех сторон ему может грозить беда.

Коротко об авторе

Лора Сегал (урожденная Грозманн) (р.1928) — американская писательница, переводчица, преподаватель, автор детских книг.

Родилась в Вене, в благополучной еврейской семье. Отец ее был главным бухгалтером большого банка. В 1938 году родителям удалось устроить девочку на детский транспорт — так называли поезда, которыми вывозили детей из стран, где к власти пришли нацисты. И она попала в Англию, там ей давали приют семьи самого разного социального статуса и достатка. Способной и целеустремленной девушке удалось окончить Лондонский университет. Но в 1951 г. ей пришлось переехать в Доминиканскую Республику, куда уже иммигрировала ее семья, там она сначала жила в сельскохозяйственной коммуне, затем перебивалась частными уроками английского. А через три года, получив американскую визу, она уехала в США, где работала на самых разных малоинтересных должностях, тем временем продолжая писать, чем занималась с юности.

Рассказы Лоры Сегал долго отвергали разные

журналы, но первый ее роман «У чужих людей» (1964) напечатал в виде серии рассказов «Нью-Йоркер». Изданные затем отдельной книгой, «У чужих людей» имели успех, и Лора Сегал засела за вторую и, по мнению критики, самую сильную свою книгу «Ее первый американец». Однако после смерти мужа, чтобы содержать семью, ей пришлось плотно заняться преподаванием (в Колумбийском, Иллинойском университетах, Принстоне и т. д.), поэтому «Ее первый американец» писался очень долго. Вышел роман лишь в 1985 г. и был восторженно встречен критикой, объявившей его лучшей попыткой создания «Великого Американского Романа».

Лора Сегал написала также книги «Лусинелла» (1976), «Хлеб изгнания» (1985). В 2007 г. был издан сборник рассказов «Шекспирова кухня», вошедший в число финалистов на Пулитцеровскую премию.

В 2013 году Лора Сегал опубликовала роман «Полцарства».

Лора Сегал — постоянный автор «Нью-Йоркера». Многие ее рассказы неоднократно включались в сборники «Лучших американских рассказов» и рассказов, получивших премию Пен / О. Генри.

Основная тема ее книг — процесс вживания в

чужую страну, который неизбежно приходится пройти всем беженцам, а также попытки людей разных культур понять друг друга.



Книга американской писательницы Лоры Сегал (1928) «У чужих людей» основана на личном опыте: в 1938 году девочку из благополучной ев-

рейской семьи отправили на детском транспорте — «поезде спасения» — из Австрии, где стали хозяйничать нацисты, в Англию, откуда она попала в Доминиканскую Республику, затем в США.

История ее жизни у различных благодетелей, в другой среде, другой стране рассказана практически с документальной точностью, что делает это свидетельство уникальным.